Людмила
ТРЕТЬЯКОВА

Красавицы не умирают

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Красавицы не умирают»... Эта книга Людмилы Третьяковой, как и первая — «Российские богини», посвящена женщинам. Трудные судьбы прекрасных дам убеждают: умение оставаться сильными перед неизбежными испытаниями, решимость, с которой они ищут свое счастье, пригодились им гораздо больше, чем их прославленная красота. Их имена и образы возникают из прошлого внезапно. Свиданье с ними кажется невозможным, но так или иначе оно случается. Библиотечные полки, сцена, кинофильмы, стихи, музеи, города и улицы, хранящие легенды, учебники, биографии великих людей — оттуда они приходят к нам и надолго остаются в памяти.

- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ВОСПОМИНАНИЕ О МАРКИЗЕ...
- ЖЕНЩИНЫ РОДА ЮСУПОВЫХ
- УМЕРЕТЬ ЗА ШАРЛОТТУ
- ЖЕНА АКТЕРА ЩЕПКИНА
- ПИСЬМО ДЛЯ АЛЬФОНСИНЫ
- ЗАГАДОЧНАЯ ФОРМУЛА ЛЮБВИ
- УБИЙСТВО В МАЙЕРЛИНГЕ
- ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА
- ТАНЕЦ С ПОКРЫВАЛАМИ
- ДОЧКИ-МАТЕРИ
- ТРИ ЕКАТЕРИНЫ ПЕТРА БАГРАТИОНА
- ПОРТРЕТ ИЗ МУЗЕЯ ОРСЭ
- КАТЯ ДЕСНИЦКАЯ, ПРИНЦЕССА СИАМА
- НИМФЫ КОРОЛЯ ЛЮДВИГА
- ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Красавицы не умирают... Их имена и образы возникают из прошлого внезапно. Свиданье с ними кажется невозможным, но так или иначе оно случается. Библиотечные полки, сцена, кинофильмы, стихи, музеи, города и улицы, хранящие легенды, учебники, биографии великих людей — оттуда они приходят к нам и надолго остаются в памяти.

Почему? Быть может, потому, что их судьба заставляет размышлять о своей собственной. Различия между нами, живыми, и теми, кто украсил собой прошедшие века, отнюдь не велики. Даты в календаре, моды, прически... Остальное, что происходит с женщинами на этой земле, когда бы им ни довелось родиться, укладывается во все тот же неизменный треугольник: жизнь — любовь — смерть...

Красавицы не умирают... Впрочем, есть ли уверенность, что героини нашей книги действительно получили этот первейший дар от Бога? Да и что такое красота?

Сколько искренних стараний объяснить, описать, рассказать — и как скромен итог! Более всего, быть может, повезло той, из-за которой началась Троянская война. «Когда Елена вошла, старцы встали». Что к этому добавить?

Не глаза, волосы или тело, красоту которых наперебой, из века в век воспевали поэты и художники, а впечатление, произведенное женщиной, чувства, которые она умеет внушить к себе, — вот, что вернее всего говорит о ее внешности.

В одном из петербургских музеев хранится фотография совершенно обыкновенной на первый взгляд дамы. Ее имя Наталия Рокотова. Что там было: темперамент, бездна обаяния, та манящая сила, за которую все прощается и перед которой умолкает рассудок, — Бог весть, но только из-за этой женщины погибли на дуэли двенадцать человек! Можно ли сомневаться, что они в ней видели идеал?

«Каждый должен согласиться, — писал Кант, — что суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, очень пристрастно...»

Согласимся. В слове «пристрастие» сокрыто раскаленное слово «страсть». И мы действительно увидим наших героинь глазами отнюдь не равнодушных к ним людей.

Знаменитой парижской куртизанкой Альфонсиной Плесси околдован молодой и пылкий Александр Дюма-сын. Серов любуется улыбкой княгини Юсуповой. У храброго Багратиона дрожат руки, когда он вскрывает письмо от дорогой ему женщины

Екатерины Долгорукой. Старик Державин очарован графиней Литта, а великий Брюллов ее внучкой — Юлией Самойловой. В ней для художника воплотилась вся красота мирозданья. Какой уж тут «малейший интерес»!

Вот оно — самое верное зеркало для каждой женщины: глаза влюбленного мужчины. Мы такие, какими нас видят любимые.

Надо отдать должное нашим героиням: они ценили свою красоту, заботились о ней и в самые трагические моменты жизни не забывали в себе женщину. Поразительный пример тому — счет за покупку нового чепчика, оставшийся после гибели на гильотине Шарлотты Корде. Даже перед казнью она заботилась о своей привлекательности.

Что уж говорить о тех, для которых красота была основой жизненного успеха. Прославленное очарование знаменитой мадам Помпадур, по мнению скептиков, было плодом ее собственных усилий, вкуса и изобретательности. Но что же тут плохого? Куда почетнее иметь талант преображения, нежели быть рантье, стригущим купоны за счет слепой щедрости природы. Не потому ли маркиза Помпадур при всей ее сомнительной славе королевской фаворитки остается символом женского всемогущества? Ибо, по словам П.А.Вяземского, «искусство нравиться есть тайна, которая, даруемая ли природой или похищаемая упорным усилием, в обоих случаях достойна уважения и зависти».

...Красота не избавляет от жизненных испытаний. Напротив, оставаясь из века в век заветной мечтой каждой женщины, она сплошь и рядом приговаривает ее к еще более трудной судьбе.

Красота — приманка. Красота — искушение. Красота — чаще рок, а вовсе не залог того, что тебя будут вечно любить и оберегать. А как часто именно этот желанный дар делает женщину игрушкой собственных страстей и ненасытной любительницей острых ощущений! В упоении собственной красотой и молодостью не замечается, что опасность всегда рядом и она неотвратима. Эта опасность — время... И вот уже слышится вслед тихое и сожалеющее:

А ведь когда-то не только поэт, но и страус
Ей отдавали на шляпки нежные перья...

Далеко не все героини этой книги были верными женами, нежными матерями и терпеливыми хранительницами домашнего очага. Кто-то из них предпочитал другое:

Быть женщиной — великий шаг,

Сводить с ума — геройство...

...Мужчины из века в век старались наставить своих подруг на путь истинный. Делалось это из лучших побуждений: по собственному опыту они знали, что укромная бухта безопаснее открытого моря. «Всегда и везде первым женским достоинством была скромность», — пишет Карамзин. «Лучшая судьба женщины — тихо работать для тех, кто ведет», — утверждает Солженицын.

Возможно, все это и правда, но, похоже, как раз те из женщин, о которых есть что написать, менее всего следовали чужим советам. Надо признать — они были не охотницы задавать вопросы: как надо жить? кого порицать? кого считать умницей?

...Один умудренный жизнью человек, экономист и писатель Николай Шмелев, написал в своей книге так: «И не верьте никому, будь это хоть девяностолетний старец и трижды академик, если он скажет, что хоть что-то понимает в том, как устроена человеческая жизнь. Никто из нас ничего не знает и не понимает...»

Как часто мы не в состоянии разобраться в собственных поступках, ответить себе, почему поступили так, а не иначе! Что уж говорить о тех, кого давно нет... Последуем примеру Чаадаева: «Будем размышлять о фактах, которые нам известны, и постараемся держать в уме больше живых образов, чем мертвого материала...»

ВОСПОМИНАНИЕ О МАРКИЗЕ…

Откуда столько силы ты берешь,
Чтоб властвовать в бессилье надо мной?
Я собственными глазами внушаю ложь,
Клянусь им, что не светел свет дневной.
Так бесконечно обаянье зла,
Уверенность и власть греховных сил,
Что я, прощая черные дела,
Твой грех, как добродетель, полюбил.

В.Шекспир

Восемнадцатый век посвятил себя женщинам. Лучшим доказательством тому служит искусство. Раскройте книги и альбомы, вглядитесь в любое художественное собрание. Обилие женских портретов говорит само за себя. Потеснены монархи, кардиналы, военачальники и принцы. Не слишком заметны мужи науки, философы, поэты и авантюристы, коих было немало в том веке. Царит дочь Евы — смело, с победной улыбкой на устах, во всеоружии непременного обаяния и обязательной любезности.

Освобождаясь от вечного страха инквизиции на Западе, а на Востоке от сонного однообразия полутюремной жизни, женщина впервые поняла, что родовые муки и небрежная снисходительность мужа далеко не все, что ей предназначено. Она сама может быть владычицей, карать и миловать, разорять и благодетельствовать. А кого она пожелает для себя: нищего студента с монмартрской мансарды или герцога Бекингемского, — это ее дело. Жанна Антуанетта Пуассон пожелала короля Франции.

Кто она такая — Жанна Антуанетта? Происхождение девицы Пуассон смутно. Одни пишут, что она была дочерью крестьянина. Другие ее отцом называют проворовавшегося служащего, сбежавшего и от сурового приговора, и от своей семьи за границу. Есть версия, что красивую и сговорчивую мадам Пуассон наградил дочерью видный финансист Норман де Турмеен. Во всяком случае, он очень опекал родившуюся в 1721 году малышку, щедро давал деньги на ее воспитание.

Это походило на огранку алмаза: Жанну Антуанетту Бог наградил многими способностями. У нее был прекрасный голос. Она играла на клавесине и на лютне, хорошо рисовала. Могла бы украсить любую сцену как балерина и драматическая актриса.

Мадемуазель Пуассон едва исполнилось пятнадцать лет, когда она обвенчалась в церкви Святого Евтихия с Норманом Этиолем, племянником любовника матери и своего вероятного отца. Жених был некрасив, маленького роста, но богат и влюблен в свою невесту. Для нее же, как оказалось, этот брак явился не более чем промежуточной станцией между пунктами «А» и «Б». Под пунктом «Б» значился королевский дворец, разумеется, вкупе с королем. Юность не видит разницы между сказкой и реальностью. В том, что рано или поздно она окажется в этом пункте, Антуанетта не сомневалась. Когда ей было девять лет, гадалка нагадала, что она станет фавориткой короля.

Впрочем, жизнь с мужем шла своим чередом и без особых конфликтов. Более того, жена господина Этиоля была безупречна и, привлекая внимание многих мужчин, решительно отсекала дорогу к своему алькову: «Только с королем я могла бы изменить моему мужу».

Мужчинам свойственно пропускать мимо ушей болтовню жен. Норман страдал тем же недостатком, чреватым непредсказуемыми последствиями. Он усмехался: с таким же успехом его хорошенькая супруга могла мечтать о совращении Папы Римского. Когда же появилась на свет маленькая Александра, он, умиляясь бушевавшему в жене океану материнских чувств, совсем уверовал в непоколебимость своего семейного счастья.

Однако что для одних женщин — финал, для других —— только начало. Антуанетта посчитала, что за все хорошее отблагодарила мужа сполна. И приостановившееся было движение к пункту «Б» возобновилось.

Ее стали часто видеть в местах, где охотился Людовик XV. Если бы он и не обратил внимания на «нимфу сенарских лесов», как стали называть Антуанетту, то это сделали бы его приближенные. Однако король умел обходиться без подсказок: неизвестная дама в амазонке цвета утренней зари и с соколом на руке, затянутой в перчатку, как полагалось когда-то в средневековье, была мгновенно замечена его искушенным глазом.

В другой раз из густой чащи наперерез королевской карете, едва не столкнувшись с ней, выехал изящный фаэтон. Им правила богиня с белокурыми развевающимися волосами, обнаженными плечами и грудью. Так мадам Этиоль подражала Клеопатре, явившейся Марку Антонию в образе Венеры.

Людовик, долго не поддававшийся на лесные соблазны, дрогнул. Вдобавок одна из придворных дам сказала королю, любившему, когда его любили, что на сей раз ему удалось покорить даже таинственную лесную нимфу. Услышав это,

герцогиня де Шатору, тогдашняя фаворитка короля, с такой силой наступила даме на ногу, что та едва не потеряла сознание от боли. Охотнице же за высочайшей дичью намекнули, чтобы она впредь держалась подальше от королевского маршрута.

Антуанетта, опасаясь за свою жизнь, затаилась. Но весть о внезапной кончине герцогини де Шатору заставила ее удвоить силы, дабы прийти к вакантному месту первой. Тем более что ей исполнилось уже двадцать четыре года.

В Париже был устроен большой бал в честь помолвки сына короля. Торжество шло своим ходом, а изящная маска в костюме Дианы-охотницы неотрывно наблюдала за Людовиком. Тот пребывал в скуке. Таинственная незнакомка завела с королем остроумный, легкий разговор, разом согнавший с того сонливость. Это не было похоже на обычные дамские глупости, его донимавшие. Заинтригованный, он хотел было заглянуть под маску, но незнакомка, прервавшись на полуслове, исчезла так же внезапно, как и появилась.

Через несколько дней, на спектакле Итальянской оперы, мадам Этиоль сидела в ложе, которая оказалась очень близко к королевской. Людовик узнал смех незнакомки, покинувшей его на дворцовом маскараде. Он принял меры, чтобы этого не произошло сейчас. Мадам Этиоль предупредили, что король желает с ней поужинать. Трюфеля, поданные к столу, надо думать, не интересовали ни того, ни другого...

Дебют Антуанетты на поприще любви был, однако, омрачен. Верные люди передали ей впечатление короля: дама весьма пикантна, но кажется слишком рациональной и властной. В ней мало мягкости. Так не ведут себя истинно влюбленные.

Антуанетта была в ужасе, неделя шла за неделей, а король не посылал за ней. Надо что-то придумать! И вот до Людовика дошли слухи, что, несмотря на всю страсть к его величеству, мадам Этиоль, изменив мужу, думает о смерти.

Какая порядочность! Это было так необычно и интересно. Как бегун, начавший с фальстарта, получает вторую попытку, так и мадам Этиоль удостоилась второй аудиенции. В объятиях короля она заливалась слезами, убедив его, что сознательно идет на гибель, — муж никогда не простит ей измены и убьет ее. Король был взволнован и разрешил несчастной укрыться в стенах Версаля.

Когда Людовик отправился на театр военных действий, Антуанетта не повторила ошибок прежних фавориток. Она не последовала за королем. Заронив в его сердце искорку страсти, она справедливо рассудила, что ветер военных дорог раздует ее в большой костер. Расчет оказался верным. Король постоянно

справлялся о здоровье мадам Этиоль. К его удовольствию, ему сообщали, что она живет сущей затворницей и единственное ее занятие — каждодневные, закапанные слезами письма к нему. Чем еще можно более тронуть суровое солдатское сердце?

Скоро Антуанетта получила высочайшую бумагу, где она уже именовалась маркизой Помпадур. По возвращении из похода король объявил ее официальной фавориткой. Именно так она была представлена двору. Мечта свершилась, но Антуанетта не собиралась почивать на лаврах. Она понимала: заняв покои бывших любовниц короля, нельзя быть уверенной, что задержишься в них надолго. К тому же поселиться в Версале не означало властвовать в нем. Антуанетте хотелось второго. Для этого ей, защищенной лишь мимолетной прихотью короля, надо было вооружиться. Но чем?

Красота — не гарантия королевских милостей. Тем более что Людовик был избалован обилием прекрасных лиц. Одним больше, одним меньше — это, в сущности, не играло роли. Самый роскошный замок, красивая статуя, картина в конце концов надоедают, и от них стараются избавиться. В отличие от большинства женщин Антуанетта это хорошо понимала. Ее красота: чудные глаза, густые белокурые волосы, стройная фигура — все-таки не то, на что стоило сделать ставку.

Маркиза выбрала оружие, которым, в силу разных обстоятельств и по природной лености, не владела ни одна из дам королевского окружения. Умная, наделенная художественным вкусом, она быстро нашла ту пружину, от завода которой стрелки дворцовых часов побежали быстрее. Антуанетта открыла ворота Версаля актерам, драматургам, певцам, композиторам — живое искусство хлынуло сюда говорливым оживленным потоком. Самые чопорные из вельмож вынуждены были признать, что во дворце стало легче дышать.

Маркиза Помпадур

Два раза в неделю в салоне маркизы собирались не только признанные мэтры, но и талантливые новички. Она искренне любила литературу, живопись. Среди ее гостей были Бушардон, Монтескье, Берне, Фрагонар, Ванлоо, Грез, Буше. На этих вечерах возникали интересные разговоры, разгорались горячие споры. Маркиза принимала в них живейшее участие, потихоньку приучая и короля к столь необычной для него компании.

Когда-то в замке своего мужа она ставила спектакли и играла в них. Теперь, получив бОльшие возможности, Антуанетта задумала создать настоящий театр.

Здание по проектам и рисункам маркизы построил архитектор Гарбиэль, постоянный посетитель ее салона. Разумеется, вдохновительницей постановок и первой актрисой была она сама. Знать, поначалу шокированная увлечением Антуанетты, скоро считала за честь играть в ее театре, где, кстати, обнаружил свой сценический талант и герцог Ришелье.

Часы, проведенные на сцене, наверное, были самыми счастливыми для маркизы Помпадур. Здесь Антуанетта смогла в полной мере показать свое искусство, которым владела в совершенстве и которое дало ей безраздельную власть над Людовиком, — она всегда была разной. Ее хрупкий образ, к изумлению короля, как бы вмещал в себя множество женщин разных характеров и темпераментов, но всегда заметных, любопытных, влекущих. Она была то простодушной пастушкой, то гордой римлянкой, то затворницей гарема, то

предводительницей амазонок. Какой поток изысканного женского обольщения наполнял зал!

Людовик, вопреки этикету, во время представления сидел на обычном деревянном стуле. Он хохотал, как все. Он подносил к глазам кружевной платок из тонкого батиста, как все. Среди сорока зрителей, на которых был рассчитан зал, в это время он чувствовал себя подданным Его Величества Искусства — как все.

Такие новшества королю нравились. Они трогали в его душе самому ему неведомые струны. И все это благодаря маркизе. Ну как тут не восхититься и не сказать: «Вы самая очаровательная женщина Франции!»? Что после одного из спектаклей Людовик и сделал.

Главное в жизни не терять головы. Королевский комплимент не только не заставил фаворитку сбросить обороты, но, кажется, удвоил ее бешеную энергию. Разве можно надеяться на постоянство мужского сердца? И вот, опасаясь, как бы король не заскучал, Антуанетта увлекает его в путешествие по незнакомым местам. Людовик открывает новые для себя города своего королевства и с затаенной признательностью к маркизе принимает бурные приветствия от подданных. Мысль о том, что эти путешествия задуманы не зря и его подруга намерена царить не только на сцене, не только в его сердце, но и во всей Франции, конечно же, не приходит ему в голову.

Между тем маркиза вникает в дела королевства, знакомится с влиятельными людьми, стараясь точно определить, кто есть кто на шахматной доске политики. Во что бы то ни стало ей нужно упрочить свое влияние во дворце. Ясно — придворные ее ненавидят как низкородную выскочку, в которой все: от общения с худородными музыкантами до мыслей, подхваченных у вольнодумца Вольтера, с которым она дружит, — дерзко и вызывающе.

Маркиза не ждет, она действует. И вот уже отправлен в отставку министр финансов. Изгнан из Парижа за насмешливые куплеты о ней любимец короля, государственный секретарь граф де Морена. Не на жизнь, а на смерть схватилась фаворитка короля с министром иностранных дел. Через нее Германия добивается союза с Францией и втягивает ее в Семилетнюю, крайне неудачную войну. Но даже этот промах не умаляет влияние негласной правительницы Франции на короля.

Представшая перед потомками беззаботной бабочкой, которая прожигала жизнь в праздности и любовных утехах, одним словом, достойной подругой легкомысленного короля, заявлявшего: «После нас хоть потоп», маркиза Помпадур никогда не была таковою.

Чего не знала знаменитая фаворитка Людовика XV, так это бездействия. По ее замыслу основывается военное училище. За постройкой здания она следит сама, выполняя эскизы некоторых его украшений.

В Версале она устраивает типографию, где при ее содействии печатаются произведения Корнеля и Вольтера.

Мадам Помпадур положила начало крупнейшим художественным собраниям, перед смертью позаботившись об их сохранности для будущего.

Кто не слышал о знаменитом севрском фарфоре, гордости французского искусства? Но мало кто знает, что у истоков его создания стояла мадам Помпадур.

По ее инициативе в 1756 году в Севре появляются два великолепных здания для художников и работников завода. Маркиза часто бывает в этих стенах, она ободряет людей, занятых новым для них делом, дает им советы, помогает в выборе красок и форм. Прекрасный розовый цвет фарфора, полученный в то время, назвали в честь маркизы «Rose Pompadur».

Считая Севр своим детищем, маркиза делала все, чтобы соотечественники не бегали по заморским лавкам, а почаще заглядывали в собственные. В Версале она устраивает выставку севрских мастеров, торгует на ней сама и рекламирует товар настолько убедительно, что мало у кого хватает духа отойти от прилавка без покупки.

Но, давая выход творческому дерзанию других и поддерживая таланты, которые впоследствии стали гордостью Франции, маркиза Помпадур и сама не оставалась в стороне. Она работала в таком трудоемком жанре, как офорт, занималась гравюрой, резьбой по камню. По сравнению с произведениями мастеров-профессионалов ее работы не бог весть какого художественного достоинства, но все-таки считаются интересными.

* * *

Удары судьбы страшны своей неожиданностью. Дочь Антуанетты, похожая на мать характером и внешностью, была главным предметом ее забот и надежд. Готовя ей блестящую будущность, маркиза добилась, чтобы к ней обращались как к особе королевской крови, по имени: Александра. И вот здоровая, веселая десятилетняя девочка неожиданно умирает. Обезумевшая от горя мать подозревала, что это дело рук ее врагов, но врачи при вскрытии не обнаружили яда.

Сама маркиза жила в постоянном страхе, что ее отравят, и никогда не начинала есть первой. Даже близким людям она не доверяла. И не напрасно. Ее родственница и ближайшая подруга оказалась любовницей заклятого врага, по наущению которого

ловко шпионила за ней. Подобного горького опыта у маркизы хватало, что и заставило ее однажды написать: «Кроме счастья быть с королем, которое, конечно, меня во всем утешает, все остальное только ткань из злобы, пошлости — вообще из всех грехов, на которые способно бедное человечество. Хороший материал для размышления, особенно для тех, кто, как я, родился философствующим над всем».

В другом письме она говорит: «Всюду, где есть люди, вы найдете ложь и все пороки, на какие они способны. Жить в одиночестве было бы очень скучно, потому нужно терпеть их недостатки и делать вид, что их не замечаешь».

Так она и делала: не обращала внимания на измены короля. Более того, страшась появления соперницы, которая завладеет им окончательно, мадам Помпадур решилась на поступок, сильно повредивший ее исторической репутации.

С ее поощрения в отдаленном углу Версальского парка было устроено нечто вроде дома свиданий для короля. Туда доставлялись молодые красивые девушки — привезенные из глуши, никогда не видевшие Людовика и поэтому не подозревавшие, кто с ними проводит ночь. Длинная вереница скромных простушек была не страшна маркизе. «Мне нужно его сердце», — говорила она о короле.

И действительно, королевская страсть время от времени вспыхивала снова, но ненадолго. Зеркала, которыми маркиза так любила окружать себя, теперь свидетельствовали, что ее сияющий образ стал меркнуть и ни на какое золото в мире нельзя купить того, чем обладает вон та молоденькая замарашка — дочь садовника, которая обрезает розы под ее окном и время от времени подставляет солнцу свеженькую мордашку.

...Вечная борьба — с врагами, желавшими ее устранения, с собственным нездоровьем, с душой, уязвленной изменами короля, — утомила маркизу. Она понимала: ее время как фаворитки истекло. Всемогущего любовника ей не удержать. Как быть? И Антуанетта добровольно покинула интимные покои короля, где царствовала пять лет. А дальше? А дальше она более чем на десять лет приняла на себя обязанности его друга и поверенной во всех государственных делах. Как бы ставя точку в своем королевском романе, маркиза велела изобразить себя в виде богини Дружбы и поставить в аллее парка, где все полнилось воспоминаниями о прошедшей любви.

Цепи, которыми Антуанетта когда-то приковала к себе короля, были прочны. Людовик долго не мог от них освободиться. Идут годы. Он навещает стареющую подругу, по-прежнему внимательно прислушивается к ее советам и суждениям. К этим

встречам Антуанетта тщательно готовится. Король не должен видеть, как болезнь точит ее, как трудно ей удержать последние следы былого очарования.

...В 1764 году, когда маркизе шел 44-й год, силы покинули ее. Умирала она во дворце, где по этикету на это имели право только члены королевского семейства. Почувствовав приближение конца, маркиза велела надеть на себя монашеское платье. На нее нашло спокойствие, которого она никогда не ведала в своей жизни, называя ее «вечной борьбой». Можно ли бороться со смертью? Но отказать себе в последнем удовольствии она не могла.

Маркизу приподняли на кровати, обложив подушками. Подали перо, бумагу. Последние минуты ее жизни прошли небесполезно: Антуанетта набросала рисунок фронтона церкви во имя Святой Магдалины. Той самой Магдалины, которую хотели забить камнями за распутство. А Христос сказал, что бросить камень может лишь тот, кто сам праведен и безгрешен. И никто не бросил...

ЖЕНЩИНЫ РОДА ЮСУПОВЫХ

Из темных недр, из заточенья
Всех выпускать на белый свет —
Пусть думы, шепоты, виденья
Узнают вновь, что смерти нет.
Как знать, дождусь ли я ответа,
Прочтут ли эти письмена?
Но сладко мне перед рассветом
Будить родные имена.

А.Герцен

...Драгоценные камни сверкали и переливались. Они хранили в себе не только тайны своего происхождения, но и волнующие истории земной жизни. Кто только не брал в руки, не любовался, не тешил тщеславие, не выставлял напоказ как свидетельство могущества эти бесценные побрякушки!

Татьяна Васильевна Юсупова справедливо гордилась своей коллекцией. Все собранное, найденное, купленное и перекупленное за огромные деньги могло соперничать с сокровищами королей.

Впрочем, многое из шкатулок княгини и в самом деле принадлежало ранее сильным мира сего. Здесь осели поистине легендарные вещи, но все их превосходила жемчужина под названием «Перегрина». Ее пожалели оправить в золото — такого невиданного размера и идеальной формы она была. Имена хозяев, владевших этой редкостью до Юсуповых, говорили сами за себя.

В древности, по легенде, «Перегрина» принадлежала царице Клеопатре и была парной той, из которой царица Египта приготовила самый дорогой напиток в мире, растворив жемчужину в уксусе. Потом «Перегрина» украсила сокровищницу испанского короля Филиппа II и, наконец, попала к Юсуповым. Муж Татьяны Васильевны так же, как и жена, любил диковинные камушки и предоставлял княгине неограниченный кредит для ее приобретений. Год от года сокровищница Юсуповых пополнялась. Там, кроме всего прочего, находился знаменитый бриллиант «Полярная звезда», причудливой формы алмаз «Голова барана», огромный сапфир, камни из корон европейских монархов. Это

была действительно удивительная коллекция.

Оказалось, что страсть к «камушкам» единственное, что сближало супругов. А ведь поначалу брак фрейлины Екатерины II с одним из богатейших людей России обещал быть вполне удачным!

...Татьяна Васильевна была младшей из пяти сестер Энгельгардт, племянниц Потемкина. Красивые девушки пользовались незавидной репутацией добровольных наложниц всесильного дядюшки, получивших от него за любовь и ласки большое приданое. В обществе считали, что как раз младшая «мало уступала сестрам в красоте и много превосходила их в нравственных качествах».

Татьяна Васильевна Юсупова

Неизвестно, что заставило пригожую девицу в шестнадцать лет выйти за человека на двадцать пять лет старше ее. Жених, генерал-поручик Михаил Сергеевич Потемкин, был дальняя родня всесильному «дядюшке», а к венцу невесту убирала сама императрица. Брак был недолгий — Потемкин утонул, оставив жене двоих детей.

Вслед за ним умер Потемкин-дядюшка. В память некогда обожаемого «Грица» Екатерина не обошла своими попечениями двадцатичетырехлетнюю вдову и сосватала ей князя Юсупова.

Воистину императрица действовала от сердца, ибо трудно было найти более блестящего жениха. Энциклопедически образованный человек, государственный ум, дипломат, друг-

приятель европейских монархов, ученых и писателей, милейший, остроумный собеседник, галантный кавалер, радушный хозяин, первый щеголь, любитель редкостей и книг — князь Николай Борисович действительно княжил в этом мире.

Это был истинный вельможа, чрезвычайно приветливый и простой в обращении со всеми, даже со слугами. Встречаясь с незнакомыми людьми на аллеях своей летней резиденции Архангельское, куда разрешалось входить каждому, он издали снимал шляпу и вежливо раскланивался.

Вольтер, познакомившись с князем, был очарован им и в письмах Екатерине II наговорил массу комплиментов: счастлива императрица, имеющая таких подданных.

Демонстрируя свое уважение ценителю искусств, Наполеон предоставил в распоряжение князя императорскую ложу. Обитатели Тюильри весьма удивились: до сих пор подобной привилегией пользовались исключительно особы королевской крови.

Однажды, приехав в театр, Юсупов был остановлен вежливым вопросом человека, охранявшего вход в императорскую ложу: «Вы король?» — «Нет, — ответил Юсупов. — Я русский князь». Дверь была с поклоном открыта...

Екатерина II всегда доверяла Юсупову и была с ним исключительно нежна. Говорили, что спальню князя украшала картина, где она и ее советник были изображены в виде Венеры и Аполлона. Такая аллегория показалась новому царю Павлу I нескромной, и он якобы приказал Юсупову уничтожить картину. Сомнительно, чтобы гордый князь его послушался. Он слишком веровал в свою счастливую звезду. И действительно, прежние любимцы Екатерины почти все подверглись опале — сын-император, как известно, не дружил с мамашей. Князь же Николай Борисович получил при Павле I чин действительного тайного советника, Андреевскую ленту и несколько весьма престижных должностей. При следующем императоре — Александре I — звезда Юсупова сияла так же ярко. И при Николае I ему жилось прекрасно. На протяжении четырех царствований российский Крез, не ведавший, сколько у него имений и крепостных душ, находил время и для добросовестной службы Отечеству, и для отдохновения.

В дни рождения жена князя Татьяна Васильевна получала подарки баснословной цены, но главное — оригинальные. Однажды Николай Борисович преподнес ей целую коллекцию прекрасных статуй и ваз из итальянского мрамора. Их расставили в парке Архангельского, и Татьяна Васильевна могла ежедневно взирать на знаки внимания галантного супруга. В другой раз он

купил еще невиданных в России экзотических птиц и животных, стоило ей лишь обмолвиться о зверинце.

Императрица, узнав о планах очаровательной супруги Юсупова, прислала семейство тибетских верблюдов.

Каждый приезд княжеской четы из дворца московского во дворец подмосковный обставлялся пышно. Архангельское их встречало пушечными выстрелами, а многочисленная челядь кланялась в ноги. В честь матушки-княгини провозглашались здравицы.

Молодая Юсупова проявила себя как женщина энергичная и деловая. Ее заботами имение мужа благоустраивалось и расцветало. Громадные средства князя были к ее услугам. Современники сравнивали Архангельское с Версалем, а его хозяйку стоило сравнить с королевой, единовластно правившей этой подмосковной страной роскоши. Супруги Юсуповы были в состоянии себе позволить все, до чего только могла додуматься изощренная фантазия.

Парк стал, собственно, уже и не парком, а произведением искусства. Сотни крепостных с утра до вечера ухаживали за ним. Чтобы они не отвлекались на заботы о хлебе насущном, князь, изгнавший зерновые культуры с благословенных земель Архангельского, закупал их в соседних имениях.

Едва ли кто из приезжавших сюда гостей мог сдержать возглас изумления. В зимнем саду среди цветущих апельсиновых деревьев били фонтаны и летали райские птицы. Специальная система отопления создавала в огромных оранжереях климат Средиземноморья. Изумленный гость, находясь за стеклянными стенами, как бы из итальянского полдня мог слушать завывания российских метелей.

Говорили, что в княжеских прудах рыба была мечена золотыми кольцами, а каждый полдень из отдаленного уголка парка выпускали орла, который парил над главным дворцом с развевающимся княжеским штандартом на шпиле.

Главный дворец был переполнен собраниями живописи, фарфора. В его залах не умолкал гомон бесконечных праздников. Юсуповы славились широким гостеприимством и «лукулловыми» обедами. Изысканные запахи французской кулинарии смешивались с ароматом срезанных в оранжереях цветов и духами нарядных дам. Скрипки виртуозничали. Сотни свечей в хрустальных люстрах, отражаясь в зеркалах, делали еще более ослепительным общество, веселившееся на маскарадах и балах. И казалось, в этом, обособленном от всего мира, царстве беспечности нет и никогда не найдется места ни малейшему огорчению, ни одной слезинке.

Увы! Юсупов обладал одним свойством, которое в конце концов разбило жизнь Татьяне Васильевне. Его главной и всепоглощающей страстью была страсть к женщинам. Галантный кавалер, имевший приятную наружность, Николай Борисович знал успех у дам. Если уверяли, что внебрачные дети французского короля Людовика XV могли бы составить население целого города, то, надо думать, король Архангельского не уступал ему в амурном марафоне.

До поры до времени молодая супруга увлекала его, но время шло, и князь пресытился семейной идиллией. Воздержание окончилось. Князь вернулся к прежним забавам.

Конечно, приключения со знатными дамами в Европе и дома все-таки требовали соблюдения определенных приличий. Свои же крепостные — иное дело. Хорошенькие рабыни безропотно угождали эротическим склонностям князя, и прекрасные декорации театра в Архангельском видели много такого, о чем потом долго шушукались в Москве. Говорили, что, наблюдая из зала за крепостными танцовщицами, Юсупов в какой-то момент делал знак, и они сбрасывали одежды, оставаясь абсолютно обнаженными.

Несмотря на разговоры о непристойных дивертисментах и оргиях в Архангельском, Юсупова продолжали воспринимать как милого оригинала, не сумевшего откреститься от замашек своих предков, восточных владык. Те же, разумеется, имели гаремы и прекрасных невольниц со всех концов земли. С явной симпатией описывает неверного мужа Татьяны Васильевны московская барыня Е.П.Янькова:

«Князь Николай Борисович Юсупов был один из самых известных вельмож, когда-либо живших в Москве, один из последних старожилов екатерининского двора и вельможа в полном смысле… Так как Юсупов был восточного происхождения, то и не мудрено, что он был великий женолюбец: у него в деревенском его доме была одна комната, где находилось, говорят, собрание трехсот портретов всех тех красавиц, благорасположением которых он пользовался».

То, что со стороны казалось легко объяснимым, для бедной жены сделалось источником непрекращающихся мук. Татьяна Васильевна перестала бывать в свете, ибо постоянно ловила на себе внимательные взгляды. Брошенной жене, конечно же, сочувствуют, но при всем том подозревают в ней какой-то тайный изъян, понудивший супруга искать иных удовольствий.

Княгиня Юсупова замкнулась. Она даже не захотела жить в роскошном дворце Архангельского и выстроила себе небольшой

дом в парке. Ее жизнь сосредоточилась на детях от первого брака и сыне Борисе, рожденном от Николая Борисовича.

Правда, княгиня не отказывала себе в удовольствии общаться с теми немногими людьми, чьи таланты ценила чрезвычайно высоко. В этом узком кругу бывали Державин, Крылов, Жуковский, Пушкин, очарованный романтической атмосферой Архангельского.

Державин, глубоко уважая Юсупову и сочувствуя ее переживаниям, посвятил ей стихотворение «К матери, которая сама воспитывает детей своих». Слово «сама» особо подчеркнуто: в те времена чад в богатых семействах воспитывали гувернантки и гувернеры. Обычно родовитые отпрыски лишь прикладывались к родительской ручке с пожеланиями «доброго утра» и «доброй ночи». На том общение с батюшкой и матушкой заканчивалось.

Но дети подрастали, все меньше нуждались в матери, и Татьяна Васильевна пыталась восполнить душевное одиночество заботами о других людях.

Суммы, которые Татьяна Васильевна отдавала нуждающимся, были по тем временам громадные. М.И.Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы», уделив несколько страниц княгине Юсуповой, писал, что ее пожертвования порой составляли «двадцать и более тысяч».

Имя Татьяны Васильевны связано с одним происшествием, которое наделало много шума в Петербурге. Оно послужило сюжетом для пьесы и стало известно даже во Франции.

...Отец девушки, которую звали Парашей, по злому навету был лишен имущества и сослан с семьей в Сибирь. Суровая жизнь поставила ссыльных на край гибели, но юная дочь несчастного не могла успокоиться: почему в мире торжествует злоба и несправедливость, почему так легко лишить человека честного имени?

И вот одна-одинешенька, без денег и теплой одежды, то идя пешком, то подсаживаясь на телегу к какому-нибудь доброхоту, Параша добирается в конце концов до Петербурга. Более того, она вознамерилась лично передать челобитную императору. В 1804 году долгожданная встреча, несмотря на все препятствия, состоялась. Дело было пересмотрено, и правда восторжествовала.

Разумеется, в коротком изложении все это звучит рождественской пасторалью. Недаром спектакль «Параша Сибирячка» пользовался ни с чем не сравнимой популярностью. Люди любят почти сказочные истории со счастливым концом. Но ведь все это произошло на самом деле! И не надо иметь богатое воображение, чтобы представить, каково досталось девушке. Так вот, самое деятельное участие в ее судьбе приняла Татьяна

Васильевна: и приласкала, и обогрела, и деньгами ссудила. И этот случай был не единственным. Известно имя еще одного человека — без кола, без двора, — кому княгиня не дала умереть под забором. Звали его Борис Федоров. Обыкновенное имя, обыкновенный человек. И стал этот человек поэтом, драматургом, романистом, критиком, словом — литератором. Звезд с неба не хватал — это правда, но все-таки прожил совсем небесполезную жизнь во многом благодаря «скупой старухе Юсуповой». Да-да, именно так скорое на расправу людское мнение окрестило Татьяну Васильевну. Действительно, балов Юсупова не устраивала, в долг не давала, очень порицала мотов и беспечных хозяев-помещиков, у которых народ по деревням, особенно весною, соломою да подаяниями питался.

Кстати, Юсупова прекрасно понимала, что обилие барских закромов зависит от того, как живет крестьянин, хорошо ли ест, крепко ли его хозяйство. Заботясь о благополучии своих 20 тысяч крепостных, Юсупова оказалась куда дальновиднее многих помещиков, выжимающих из своих деревень все до капли.

Татьяна Васильевна на удивление дельно вела хозяйство и получала немалый доход. Женщины ее времени были весьма далеки от вопросов экономики, реализации сельскохозяйственной продукции, прибыльного вложения капитала. На их фоне княгиня Юсупова выглядела редкою птицей, и за ней прочно утвердилась слава «дамы-финансиста». Соседи и знакомые ездили к ней потолковать о делах и получить совет в самых запутанных вопросах.

Занимаясь хозяйством и благотворительностью, Юсупова не забывала тем не менее о своей давней страсти: мастера-камнерезы по ее указанию занимались нанесением на полудрагоценные камни эмблем, девизов, надписей. Трудно было лучшим образом удружить княгине, нежели презентовать ей мудрое и краткое изречение, которое тут же увековечивалось на каком-нибудь агате. У Юсуповой образовалось таким образом целое собрание разных камней. Она была довольна — камнерезы получали работу, а потомки -— память о ней.

Татьяна Васильевна, не чуждая тщеславия, весьма опасалась, что после смерти ее скоро позабудут. Такие мысли подвигнули ее к поступку, весьма позабавившему москвичей. Все вдруг заметили, что шустрые мамзели с Кузнецкого моста зачастили в дом княгини. Татьяна Васильевна стала появляться в обществе в модных туалетах из дорогих тканей. На балах ей делали комплименты и бились в догадках, чему бы приписать такое неожиданное щегольство. Княгиня простодушно раскрыла секрет: «Вот умру, так что мои люди будут донашивать? Пусть уж в новом

пощеголяют — меня лишний раз вспомнят».

Если дворовым девушкам предназначалась одежка с барского плеча, то молодой невестке, жене сына, урожденной Нарышкиной, Татьяна Васильевна оставила бесподобную «Перегрину», шкатулки с алмазами и предания о своей невеселой женской доле. Впрочем, неверного мужа, которого пережила на десять лет, Юсупова вспоминала без сердечной досады. «Милосердный Бог посылает нам скорби для испытания нашей веры и терпения», — любила повторять она.

...Мужчины куда в меньшей степени охотники перебирать в памяти прошлое: старый князь Юсупов до последнего часа жил в свое удовольствие. Правда, его донимала любовница-француженка, служительница Мельпомены и верная подданная Бахуса. После посещения княжеских погребов мамзель била севрский фарфор, ругалась и швыряла в своего патрона туфлей. Тот все терпел из уважения к ее восемнадцати годам.

Николай Борисович так никогда и не утратил интереса к жизни. За пять месяцев до смерти его видели на вечере у Александра Сергеевича Пушкина, недавно женившегося.

Что ни говори, Юсуповы были схожи в своем жизнелюбии: Татьяна Васильевна умудрилась не превратиться в сварливую старуху и нудную моралистку. Когда она умерла, все удивились: да неужто ей было полных семьдесят два года? Еще вчера княгиня, сохранив отблески давнего очарования, покоряла живостью ума, сердца и любезностью в обхождении.

* * *

Знаток петербургского света граф В.А.Соллогуб вспоминал, что царствование Николая I, начавшееся так мрачно — восстание декабристов, казнь, ссылки, ужас в обеих столицах, — в конце концов несколько смягчилось. Жизнь обитателей уютных особняков вошла в свои обычные берега. «Празднества сменялись празднествами, — пишет он, — и отличались, как водится в этом случае, необыкновенным великолепием. В те времена имена светских красавиц не были еще достоянием газетчиков и упоминать о них в газетах считалось бы верхом неприличия, но в устах всех были слышны имена графини Завадовской, Фикельмон, урожденной графини Тизенгаузен, дочери в то время известной в петербургском свете Елизаветы Михайловны Хитрово, одной из пяти дочерей фельдмаршала Кутузова, фрейлины княжны Урусовой и девицы Нарышкиной, впоследствии княгини Юсуповой. Все четыре были красавицы писаные...»

Брак с сыном екатерининского вельможи добавил блеска представительнице знатного рода Нарышкиных: Зинаида Ивановна стала наследницей несметных юсуповских сокровищ.

По отзывам А.В.Мещерского, молодая княгиня Юсупова «по своей красоте, богатству и положению в обществе считалась звездой первой величины». Таким образом, драгоценный камень получил достойную оправу.

Зинаида Ивановна Юсупова

...Ничто так не дает женщине ощутить свое всевластие, как зеркало, отражающее прекрасное лицо, сундуки, полные сокровищ, и титул, заставляющий склоняться в поклоне. Как часто, однако, обладание слишком многим становится благодатной почвой для расцвета не лучших сторон характера. Счастливо одаренная судьбою, Зинаида Ивановна этого убереглась. Она была приветлива, проста в обращении и прямодушна, что так выгодно отличало ее от светских дам. Этой чертой Зинаида Ивановна покорила Александра Ивановича Тургенева: «Мила своей откровенностью...» Павел Андреевич Вяземский описывал жене бал у Голицыной, «украшенный Юсуповой». На этом балу, кстати, был и Александр Сергеевич Пушкин. Знакомство с Зинаидой Ивановной и ее мужем стало продолжением давних и теплых отношений со стариками Юсуповыми: «архангельским» князем и его женой.

Красота, ум, желание и умение заниматься делами полезными, созидать — все это соединилось в Зинаиде Ивановне. Она была истинной Юсуповой — если не по рождению, то по пристрастию к искусству и людям, его творящим. Юсуповы умели ценить не только матовое мерцанье «Перегрины», но и клочок

бумаги, исписанный рукою Бомарше.

Еще вельможный хозяин Архангельского начал собирать автографы, понимая, как важно уберечь в этих маленьких приметах человеческого скоротечного бытия память о талантах, которых, как и чистой воды бриллиантов, всегда мало.

Письма, книги с посвящениями, альбомы с рисунками и стихами. Даже обычные записки — все священно, к чему прикоснулась рука избранных Богом. Зинаида Ивановна с энтузиазмом продолжала пополнять семейную коллекцию. Теперь кроме полотен западных художников здесь все чаще появляются картины русских мастеров. Альбомы Юсуповой заполняются современниками, творившими русскую культуру. Это круг пушкинских литературных друзей и знакомых: П.А.Вяземский, И.А.Крылов, И.П.Мятлев, И.И.Козлов, В.А.Соллогуб.

Княгиня очень хотела иметь автограф Пушкина. И вот она получает конверт от Василия Андреевича Жуковского:

«Имею честь послать вам, княгиня, отрывок, писанный рукою Пушкина: это своего рода биография его друга Дельвига... Прилагаемый отрывок — моя собственность: я нашел его в своих бумагах и с удовольствием уступаю его вам. Теперь я уверен, что останусь в вашей памяти, ибо буду закреплен в ней именем Пушкина.

Жуковский».

...Подарок являлся бесценным, тем более что поэта уже не было в живых. Пять листков, исписанных летящим почерком, возвращали княгиню к недавнему прошлому. Год, другой назад... Январь тридцать седьмого. Черный январь. Обведенное траурной рамкой: «Солнце русской поэзии закатилось! Россия потеряла Пушкина...»

Эти напечатанные в «Современнике» строки вызвали в Петербурге разные чувства. Граф Уваров: «Солнце поэзии»! Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща». Какое такое это поприще! Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Писать стишки не значит еще... проходить великое поприще».

Да. Все так и было: общество разделилось на партию Пушкина и партию Дантеса. Для кого-то убийца — «бедный Жорж». Были и такие, которые, принадлежа к друзьям поэта, пребывали в растерянности, не подавая своего голоса в защиту его имени.

Тот самый Федоров, которому помогала старая княгиня Юсупова, свидетельствовал: «Зинаида Ивановна с жаром вступилась за славу Пушкина в петербургских салонах, не давая

никому усомниться в том, чью сторону она принимает». И в этом вся княгиня: самостоятельная, пылкая, всегда верная себе, своим антипатиям и своим привязанностям!

Зинаида Ивановна, как и свекровь, поддерживала отношения с ее подопечным Федоровым. Может быть, оно и не стоило упоминаний, но факт примечательный: среди светских знакомых, среди блистательного окружения — незнатный, малоизвестный, бедный поэт, человек явно не ее круга. С ним, литературным Башмачкиным, утонченная аристократка сохраняет дружеские отношения на долгие десятилетия! Страницы ее альбома так же открыты для скромного Федорова, как и для великих современников.

...В 1832 году художник Григорий Чернецов получил заказ от Николая I на создание огромной картины, изображающей парад на Царицыном лугу.

Пять лет отдал Чернецов этой работе. Он задался целью показать всех чем-нибудь примечательных современников-петербуржцев. Здесь люди разные, но не случайные. О каждом из них говорят в обществе: о Петре Телушкине, например, который в 1830 году без лесов, с помощью одной лишь веревки починил крест на шпиле Петропавловской колокольни.

В середине полотна Александр Сергеевич Пушкин вместе с Жуковским, Гнедичем и Крыловым, Алексей Николаевич Оленин, президент Императорской Академии художеств. Да разве о каждом из 223-х расскажешь? И надобности такой нет — в данном случае нас интересуют только прекрасные дамы, которых художник «пригласил на полотно».

Не забудем, что картину заказал сам Николай I. Это обязывало Чернецова быть особенно тактичным. Известно, что венценосец — большой поклонник женской красоты. Вот почему на картине только те, про кого говорили или писали: «знаменитая красавица», «славилась своей красотой», «одна из первых красавиц своего времени».

...Госпожа Кох стала героиней громкого происшествия в Петербурге. Ее, ученицу балетных классов театрального училища, похитил офицер Васильев для своего друга поручика князя Вяземского.

Дерзкий похититель был сурово наказан — его перевели на Кавказ под пули горцев, где он вскоре и погиб. Влюбленный князь, отсидев свое на гауптвахте, вышел на волю влюбляться дальше в воздушных жриц Терпсихоры. Тем более что девица Кох упорхнула в Копенгаген, страшась гнева Николая I: все знали, что театральное училище с его воспитанницами — вотчина мужской

половины императорской семьи.

...Вот хорошенькая балерина Екатерина Телешова. Среди ее многочисленных поклонников знаменитый генерал-герой Милорадович, который на потеху черноглазой прелестнице, как говорили, «кричал петухом». Александр Сергеевич Грибоедов писал в письме: «Телешова в три-четыре вечера меня с ума свела». Из-за нее случилась кровавая дуэль.

...Здесь же на картине актриса Анна Степанова. Ее прелестное лицо осталось не только у Чернецова, но и на изделиях императорских фарфоровых заводов. Ходили слухи, что она была любовницей Николая I. Умерла от чахотки совсем молодой, в двадцать два года.

Среди представительниц «большого света», разумеется, женщины тоже знаменитые, жизнь которых давала обильную пищу для разговоров. Взять хотя бы Татьяну Борисовну Потемкину. Красавица, каких поискать, она на балы не ездила и вообще сторонилась светских развлечений. Все свое время и огромные средства отдала благотворительности. В Петербурге не было богоугодного заведения, где не знали бы эту прелестную женщину с огромными грустными глазами. Император, как писали, «дал ей позволение обращаться непосредственно к нему всякий раз, когда это потребуется». Она и обращалась. Порой это давало совершенно неожиданные результаты. Однажды Потемкина выхлопотала прощение шестидесяти крестьянам, сосланным в Сибирь за бунт. Разумеется, неожиданное возвращение мужей к женам после долгого и, казалось, безвозвратного отсутствия породило много комичных и драматичных эпизодов.

У другой дамы с картины — Любови Васильевны Суворовой — была совсем иная репутация, нежели у Потемкиной. Жена внука знаменитого полководца была на редкость хороша собой и столь же легкомысленна. Пушкин упоминает о ней в своем дневнике 6 марта 1834 года: «В городе много говорят о связи молодой княгини Суворовой с графом Витгенштейном... Суворова очень глупа и очень смелая кокетка, если не хуже...»

Григорий Чернецов предоставил нам редкую возможность увидеть Зинаиду Ивановну в толпе своих соотечественников. Да и как художник мог обойти ее вниманием? Юсупова слишком заметна на фоне петербургской жизни тех лет. Современники упоминают в своих мемуарах ее дом, где давались едва ли не самые роскошные балы в городе. Она в самом расцвете — двадцать с небольшим лет! — своей тонкой, классической красоты. Разумеется, у нее масса поклонников, и среди них тот, имя которого светские сплетники стараются не упоминать, а

лишь подымают глаза к небу. Государь!..

Не близость ли имен венценосца и Юсуповой и определила ее место на картине Чернецова?

Престарелые красавицы обычно сжигали свою любовную переписку. Зинаида Ивановна с обычной для нее смелостью этим пренебрегла.

Царь предлагал княгине, между прочим, провести лето рядом с ним. Для этого павильон «Эрмитаж», который скрывался в тени лип Царскосельского парка, отдавался в полное ее распоряжение. Вероятно, Зинаиде Ивановне этого никак не хотелось. Княгиня отказывается от лестного предложения. Ее аргументы граничат с дерзостью: у нее достаточно имений, чтобы самой выбрать, где поселиться.

...Безусловно, Зинаида Ивановна была женщиной сильных страстей. Она в полной мере обладала способностью совершать из ряда вон выходящие поступки. Семейные предания сохранили историю о том, как великолепная красавица влюбилась в государственного преступника и, когда тот был приговорен к заключению в Свеаборгскую крепость, поехала за ним. Она купила дом на холме как раз напротив тюрьмы и могла каждый день видеть окно темницы своего возлюбленного.

В 1925 году правнук Зинаиды Ивановны Феликс Юсупов, живший в эмиграции в Париже, в одной из русских газет прочитал о том, что большевики, обыскивая их дом в Петрограде, «нашли в спальне прабабки потайную дверь, скрывавшую гроб с телом мужчины». «Я долго думал о тайне, окружавшей эту находку, — пишет Юсупов. — Мог ли это быть скелет того молодого революционера, которого она любила и прятала у себя до самой его смерти, после того, как облегчила его побег? Я вспоминал, что за много лет до того, когда я в этой самой спальне разбирал бумаги прабабки, я испытывал такое странное недомогание, что позвал лакея, чтобы не находиться там одному».

Как говорил князь Вяземский, если это и неправда, то хорошо придумано...

* * *

...Сменялись поколения и монархи, а среди российской аристократии семья Юсуповых продолжала сохранять наиболее видное место. Фантастическое богатство, помимо того, что было накоплено столетиями, к середине XIX века умножалось ежегодной прибылью в десять миллионов рублей.

Судьба распорядилась так, что в то время единственной наследницей рода — знатнейшего и богатейшего — была Зинаида Николаевна Юсупова. Она родилась в 1861 году. Кроме гувернантки и учителей, воспитанием девочки серьезно

занималась и ее мать Татьяна Александровна. Красивая, добрая, остроумная женщина, она отличалась, увы, плохим здоровьем. И, словно предвидя, что век ее будет недолгим, не баловала дочь и с малых лет приучала Зиночку к самостоятельности.

Феликс Юсупов вспоминал забавный случай, очевидно рассказанный ему матерью. Когда той было лет семь, мать поручила ей встретить и занять одного посланника. Важный гость явился в назначенный срок и, поджидая старшую Юсупову, не обращал внимания на младшую. Зиночка же старалась изо всех сил, предлагая то чай, то сигары, то бисквиты. Но все ее попытки угостить и развлечь посланника натыкались на досадливое «нет». Не зная, чем бы еще удружить гостю, девочка спросила: «Может быть, вы хотите писать?»

Когда ее мать появилась наконец в комнате, она увидела обескураженное личико дочери и господина, сотрясавшегося от хохота.

...Действительно, Татьяна Александровна умерла, так и не увидев дочь взрослой женщиной. Из худенькой малышки с серьезным личиком и аккуратно подстриженной головкой Зиночка превратилась в очаровательную девушку. Руки юной княжны Юсуповой искали молодые представители знатнейших, в том числе и монархических, семейств Европы. Разумеется, первая невеста России не знала недостатка в женихах и у себя дома.

Князь Юсупов, обожавший дочь, все более склонялся к тому, чтобы его зятем стал наследный болгарский принц Баттенберг. Но та упорно держалась мысли выбрать мужа по собственному усмотрению. Это вообще отличало Зинаиду Николаевну: обычно кроткая, уступчивая, в поворотные моменты жизни она, не слушаясь никого, поступала так, как подсказывали ей сердце и разум.

Не желая огорчать отца, княжна Юсупова согласилась-таки лично познакомиться с Баттенбергом. Того сопровождал молодой офицер граф Феликс Сумароков-Эльстон. В обязанности последнего входило представить принца будущей невесте и откланяться. Но в конце концов откланяться пришлось Баттенбергу, потому что Зинаида Николаевна с первого взгляда влюбилась в статного красавца Сумарокова-Эльстона.

Князь Николай Борисович перечить не стал, хотя в мечтах видел дочь на престоле, а не женой «простого офицера связи».

Граф же Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, женившись на Зинаиде Николаевне, единственной представительнице рода Юсуповых, получил право для себя и жены после смерти тестя, с декабря 1891 года, называться князьями Юсуповыми графами Сумароковыми-Эльстонами. Княжеский титул и фамилия

Юсуповых передавались только старшему в роде. С 1914 года по воле роковых обстоятельств, обрушившихся на семью, они перешли к единственному оставшемуся к тому времени в живых сыну супругов — Феликсу Феликсовичу.

...Феликс-младший появился на свет в 1887 году. Это был четвертый ребенок супругов. Двое сыновей умерли. Старшего, родившегося в 1883 году, назвали в честь деда, Николаем. Рождение одного из детей едва не стоило Зинаиде Николаевне жизни. Ее спасение приписывали Иоанну Кронштадтскому, который горячо молился у постели умирающей...

Жизнь Юсуповых определялась их высоким положением в обществе. Ни одно дворцовое или государственное торжество не обходилось без них. Между тем стремление молодой княгини ограничить себя насколько возможно узкими семейными рамками было очевидно. Кроме собственного дома, ей нравилось быть там, где жило и процветало искусство: в театрах, концертных залах, на выставках, на литературных вечерах. Здесь она чувствовала себя превосходно. Ее сын свидетельствовал, что у Зинаиды Николаевны были артистические способности. Она несомненно обладала комическим даром. Не случайно Станиславский, увидя княгиню в благотворительном спектакле, убеждал ее идти на сцену. Зинаида Николаевна великолепно танцевала — это осталось в памяти ее современников. А судя по ее письмам, владела легким и выразительным слогом. Удивительно, как на редкость щедра была природа к этой женщине!

...В 1897 году супруги Юсуповы отправились на торжества в Лондон, посвященные юбилею королевы Виктории. Великий князь Сергей, адъютантом которого был Юсупов, посоветовал Зинаиде Николаевне взять свои знаменитые украшения — драгоценности тогда были в большой моде при английском дворе.

Зинаида Николаевна уложила наиболее достойные экземпляры юсуповской ювелирной коллекции в саквояж из красной кожи, и тот благополучно отбыл на берега Темзы.

Одеваясь к торжеству в Виндзорском замке, она спросила драгоценности у горничной. Увы, красный саквояж как сквозь землю провалился. В этот вечер на роскошно одетой русской княгине не было ни единого украшения.

Недоразумение рассеялось на следующий день: саквояж с драгоценным содержимым случайно оказался в багаже у кого-то из гостей.

Тем не менее Зинаида Николаевна действительно не любила дорогих украшений. Не в ее правилах было поражать теми сокровищами, которые кроме нее имели, пожалуй, только царствующие особы.

Скромная элегантность, ничего лишнего — этому она следовала неукоснительно. «Чем больше Небо вам дало, — говорила она своим детям, — тем больше вы обязаны перед другими. Будьте скромны и, если имеете в чем-то превосходство, старайтесь не дать этого почувствовать тем, кто менее одарен».

Однако нелюбовь к внешним эффектам, возможно, диктовалась Зинаиде Николаевне ее тонким вкусом. Она отлично понимала, что ей идет. А судя по фотографиям и портретам, у нее был тип красоты, распространенный именно в России: не броский, не поражающий с первого взгляда, но — вот точное слово — пленительный! Такая красота может забрать в плен властно и надолго. Она не является плодом обычных женских ухищрений. Ее источник — внутренний свет. Именно такой описывает Пушкин свою любимую героиню Татьяну Ларину:

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она, казалось, верный снимок
Du comme il faut... (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)

И далее:

...с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

...Однако, когда того требовал престиж Отечества, Юсупова умела не ударить в грязь лицом, и плоды фамильной страсти к «камушкам» представали во всей своей красе глазам восхищенных иностранцев. Однажды в честь приезда родственницы испанского короля князь с княгиней дали прием в своем московском особняке в Харитоньевском переулке. Пожалуй, самым ярким впечатлением именитой гостьи стала хозяйка дома.

«Из всех праздников, дававшихся в мою честь, меня особо поразил данный княгиней Юсуповой. Княгиня была очень

красивой женщиной, она обладала такой замечательной красотой, которая остается символом эпохи; она жила в неслыханной роскоши, в окружении несравненной пышности, среди произведений искусства в чистейшем византийском стиле, в большом дворце, окна которого выходили в сумрачный город, полный колоколен. Пышная и кричащая роскошь русской жизни достигала здесь своей кульминации и переходила в самую чистую французскую элегантность. На приеме хозяйка дома была в придворном туалете, расшитом бриллиантами и чистейшим восточным жемчугом. Высокая, восхитительной пластической красоты, она носила кокошник, украшенный гигантскими жемчужинами и бриллиантами, драгоценностями, которые нашли бы место в царском венце и превращали его в целое состояние из драгоценных камней. Ослепительное сочетание фантастических драгоценностей Востока и Запада дополняло ансамбль. Жемчужное колье, массивные золотые браслеты с византийскими мотивами, подвески с жемчугом и бирюзой, кольца, сверкавшие всеми цветами, делали княгиню Юсупову похожей на императрицу...»

* * *

В 1898 году Валентин Александрович Серов писал в Зимнем дворце портрет Николая II. Накануне последнего сеанса безукоризненно вежливый монарх попросил у художника разрешение показать серовскую работу жене. Ну что тут было делать! И вот к назначенному часу появилась императрица. Она предложила мужу принять ту позу, в которой он был изображен на холсте, и стала внимательно сравнивать натуру с портретом. Серов рассказывал: «Было очевидно, что она ищет в нем промахов, и вскоре ей показалось, что нашла их. Взяла со стола кисть и стала ею указывать на какие-то погрешности: «Здесь не совсем верно, тут правее, там выше». Я долго крепился, но наконец не выдержал, подал ей палитру и сказал: «Пожалуйста, ваше величество, вы, видно, лучше меня умеете». Надо было видеть, что с ней сделалось. Вспыхнула, топнула ногой и быстро зашагала через открытую дверь павильона по дорожке ко дворцу. Царь бегом за ней, вижу, в чем-то ее уговаривает, она машет руками, что-то кричит и уходит в сильном возбуждении. Царь прибежал назад и начал извиняться за бестактность жены: «Знаете, она сама ведь художница, ученица Каульбаха, и в рисовании разбирается, уж вы извините».

Негодование на «художницу» скоро улеглось, но настроение у Серова оставалось мрачным. Чем обернется этот скандал? Эх, были бы деньги, ни за что бы он не связывался ни с Романовыми, ни с им подобными. Чем вельможнее был заказчик, тем меньше у

него было шансов понравиться Серову. Он не любил, не уважал этих властителей жизни, относился к ним с едва скрываемой иронией, часто придирался к ним более, чем они того заслуживали.

Придя на сеанс к Зинаиде Николаевне, Серов рассказал о стычке с царицей.

— Просто не понимаю, как это вышло и что теперь будет.

— Знаю, знаю, дорогой Валентин Александрович. Царь завтракал у меня и был очень озабочен. Знаете чем? Опасается, что вы больше не захотите писать его.

— И не буду!

Раздражение снова захлестнуло Серова. Он вскочил и, пожалуй, наговорил бы сейчас и Юсуповой бог знает чего, стоило ей начать переубеждать его.

Но она рассмеялась. Ее смех — точно серебряные колокольчики зазвенели — обезоружил Серова. Ему нравилась эта женщина. Он прощал ей ее громкое имя, богатство, завтраки в обществе царя в переполненном сокровищами дворце, где она жила.

В.Серов. Портрет Зинаиды Николаевны Юсуповой

Исследователь творчества Серова И.Грабарь, зная ершистость художника, подчеркивал, что, «отрицательно относясь к богатым и знатным, которых не выносил за чванство и самовлюбленность, Серов делал исключение для кн. Юсуповой». Феликс Юсупов

вспоминал, как Серов сказал ему, что если бы все богатые люди были похожи на его мать, то революций никогда не было бы.

В пользу искренней симпатии к Юсуповой говорит и письмо Валентина Александровича жене: «...славная княгиня, ее все хвалят очень, да и правда в ней есть что-то тонкое, хорошее». Приятным открытием было для Серова и то, что Зинаида Николаевна несомненно наделена художественным вкусом: «Она вообще понимающая». Их отношения избежали тех недоразумений, которых у Серова в его общении с богатыми заказчиками было предостаточно.

Когда, к примеру, Юсупова попросила Серова написать портрет ее отца Николая Борисовича по фотографии, то услышала прямой ответ: «Это очень тяжелая и неприятная работа». «Она соглашается и с этим», — замечает Серов. Остался без неприятных последствий и отказ художника писать портрет одного из сыновей в голубой венгерке, как ей того хотелось. Серов заменил эффектный мундир на обыкновенную штатскую куртку темно-серого цвета, и это не вызвало у Зинаиды Николаевны ни слова неудовольствия.

Напротив, время, что Серов провел в Архангельском, рисуя все семейство, судя по письму, было на редкость спокойным и безмятежным. Ничто всерьез не раздражало художника. В строчках, адресованных жене, Серов неизменно подчеркивает деликатность хозяев. Он удовлетворен полной творческой свободой, предоставленной ему. И, поругивая молодых князей за избалованность, слегка иронизируя над Юсуповым-старшим, Валентин Александрович по-прежнему с неизменным теплом отзывается о Зинаиде Николаевне.

Серов не раз писал Юсупову. Портретом, сделанным пастелью в то «архангельское» лето, Валентин Александрович был доволен: «Смех княгини немножко вышел». Он предвидел удачу: «Мне кажется, я знаю, как ее нужно сделать». На чем основывалась такая уверенность? «Как взять человека — это главное», — утверждал Серов. А этого человека — княгиню — он чувствовал, знал и в этом знании находил то, что действовало на него вдохновляюще. Прелесть внешняя продолжалась прелестью душевной — Серову не часто приходилось встречать подобное единство. Идея написать Юсупову именно пастелью пришла к художнику неслучайно. Этот материал — нежный, с неуловимыми переходами, игрой полутонов, как нельзя лучше мог передать неброское обаяние княгини.

Тот портрет Зинаиде Николаевне очень нравился. Он постоянно висел в ее любимом крымском имении Кореиз.

«То было одно из самых вдохновенных и совершенных

созданий Серова, занимавшее одно из первых мест в его художественном наследии, — отмечал И.Грабарь. — Я говорю — было, занимавших, ибо его уже нет: портрет погубили фашисты, когда занимали Ялту, куда он был направлен из Симферополя. Но он погиб бы, если бы оставался и там, так как Симферопольская галерея до последнего произведения уничтожена гитлеровцами».

К счастью, от превратностей российской истории уберегся другой серовский портрет, маслом, который висит нынче в Русском музее. Именно благодаря ему вот уже которое поколение россиян смотрит на княгиню Юсупову как на свою старую знакомую.

Этот портрет художник начал в 1900 году, когда Зинаиде Николаевне было тридцать девять лет. Серов обычно устанавливал себе сеансную норму — три месяца. Однако работа над этим портретом продолжалась. Усилий и терпения оба проявили немало. Княгиня позировала Серову в течение восьмидесяти сеансов. Художник не довольствовался внешним сходством и не считал работу оконченной до тех пор, пока с полотна не зазвучал пленявший его серебристый смех и не вспыхнули алмазными искрами необыкновенные глаза княгини.

В 1902 году портрет был показан на выставке в Москве и Петербурге. Не всем он понравился, но отзывы, кроме всего прочего, свидетельствовали о той высокой нравственной репутации, которая утвердилась за Зинаидой Николаевной.

«...В портрете у кн. Юсуповой вовсе не передана та безыскусственная обаятельность, которая так характерна для нее», — писали «Московские ведомости».

«Забудьте на минуту каталог и остановитесь перед портретом дамы в платье маркизы с напудренными волосами, слегка откинувшейся на диване, — призывает один из столичных журналов. — Кто она? Конечно, ей чужды подмостки театра, несмотря на некоторую деланность позы; у нее нет тщеславия, с которым выступают перед зрителями люди бриллиантов и роскошных туалетов, создаваемых портнихами, хотя отсутствие простоты в костюме и излишество блестящих аксессуаров и наводит на размышления, но спокойная уверенность в повороте головы, сильные очертания лица, чудные, проницательные, точно светящиеся глаза, мастерски художником написанные, подскажут, что это аристократка чистой крови, почти бесстрастная и полная отзывчивости, поразительно эффектная при отсутствии внешних эффектов и примиряющая серьезное внутреннее содержание с условной поверхностью».

Можно соглашаться или нет с этими отзывами, но вот что нельзя не отметить. Серов, строгий Серов, так не любящий

излишеств, с видимой охотой, азартно пишет свою природно скромную модель в эффектном, почти карнавальном костюме, играя изысканными цветосочетаниями, любуясь блеском драгоценностей, атласа, позолоты. Он словно спешит увековечить полдень женской красоты, это быстро проходящее, изменчивое — Серову ли о том не знать! — ощущение радости бытия и бесконечности жизни.

...Женщина счастлива, когда любит и любима. Модель Серова любит и любима. Муж, избранный ею, и два бесконечно обожаемых сына. В этих трех жизнях смысл ее существования. И женщина в роскошном наряде маркизы хочет лишь одного — чтобы так продолжалось вечно...

Через восемь лет все рухнет. Такой, какой она была когда-то, Зинаида Николаевна останется лишь на серовском портрете. Притихнут серебристые колокольчики ее голоса. Уже не будут сиять бриллиантовыми искрами чудесные глаза. Мать, потерявшая сына, не отойдет от этого горя никогда...

* * *

Молодые наследники доставляли родителям немало хлопот. Детские проказы сменялись отроческими, далеко не всегда безобидными. У Николая и Феликса было всего четыре года разницы в возрасте, что делало их подходящей, весьма сплоченной парой для проведения в жизнь таких замыслов, итогом которых становился визит полицейских чинов во дворец на Мойке.

Феликс Феликсович-старший время от времени устраивал сыновьям трепку и укорял жену в нехватке твердости. В какой-то мере это было справедливо: Зинаида Николаевна порой бывала слишком снисходительна.

Сыновья обожали мать и были с ней гораздо откровеннее и ближе, чем с отцом. Феликс Феликсович вспоминал, что они с братом не любили гостей, потому что те мешали общению с матерью. Среди шалостей, невыученных уроков, схваток с учителями и гувернерами, среди суеты светской жизни, которую вели родители, выпадали часы, которыми оба брата очень дорожили: это было время, когда братья и мать были предоставлены друг другу. Николай и Феликс спускались со своего третьего этажа в комнаты матери.

Это были самые нарядные и теплые комнаты, в полной мере отражавшие вкусы хозяйки. Зинаида Николаевна обожала цветы. Они заполняли все пространство, внося аромат вечного лета. В дни, когда княгиня принимала, были открыты двери в ее спальню, обтянутую голубым шелком и с мебелью из розового дерева. Эта

комната походила на музей: в длинных витринах хранились фамильные сокровища. Здесь лежали бриллиантовые серьги, принадлежавшие некогда французской королеве, алмазная и жемчужная диадемы итальянской королевы Каролины Мюрат, сестры Наполеона, шедевры ювелирного искусства, которыми некогда украшали себя навсегда уснувшие красавицы. В голубых стенах жил дух прошлых веков. Как знать, может быть, тени тех прекрасных дам, что так и не нашли в себе сил расстаться с милыми сердцу безделушками, неслышно скользили по паркету этой комнаты. Голубая спальня будила воображение. Феликс Юсупов был уверен, что она хранит какую-то тайну. Здесь часто слышали голос женщины, звавшей каждого по имени. Горничные прибегали, думая, что их зовет хозяйка, но комната была пуста. «Мы с братом, — вспоминал младший Юсупов, — много раз слышали эти таинственные призывы».

Впрочем, в юсуповском дворце любой уголок мог оказаться пристанищем таинственных теней. Малая гостиная княгини Юсуповой была меблирована вещами, некогда принадлежавшими Марии-Антуанетте. Живопись знаменитых французских мастеров Буше, Фрагонара, Ватто, Робера, Греза освещалась люстрой из горного хрусталя, когда-то висевшей в будуаре маркизы Помпадур. Столики и витрины были заполнены безделушками из редких камней, оправленных в золото.

Всю свою полную превратностей жизнь младший сын Зинаиды Николаевны Феликс вспоминал волшебные мгновенья вечеров, проведенных с матерью, когда накрывали круглый стол, освещенный хрустальными канделябрами, и отблески огней плясали на севрском фарфоре и серебре. Но главное, была близость этой изящной милой женщины, которую двум сорванцам повезло называть своей матерью. «Мы испытывали тогда минуты полного счастья, — вспоминал Феликс Феликсович. — Нам было невозможно в тот миг предвидеть или просто представить себе несчастья, ожидавшие нас в будущем».

...Младший считал, что мать больше любит Николая. По своим задаткам он и впрямь был похож на Зинаиду Николаевну. Он очень увлекался театром, из друзей и знакомых собрал труппу и, ломая сопротивление отца, устраивал спектакли во дворце на Мойке. У Николая был прекрасный баритон, и он пел, аккомпанируя себе на гитаре, пробовал себя в литературе и печатался под псевдонимом Роков.

Внешностью Николай походил на отца, высокого, статного, до старости красивого брюнета. Он учился в Петербургском университете и получил диплом юриста. Личная жизнь его ничем не отличалась от той, что вели богатые щеголи. Одно увлечение

сменяло другое. Во время поездки в Париж он, познакомившись с роскошной куртизанкой Манон Лотти, совершенно потерял голову. Только требование родителей вернуться в Россию заставило Николая прервать разорительную связь.

Впрочем, это оказалось дорогой не только к родному порогу, но и навстречу новой страсти, ставшей для него роковой. Николай влюбился в молодую красивую особу, графиню Марию Гейден, которую он называл Мариной, но она была уже помолвлена. Любовь была взаимной. Девушка предложила ему бежать с ней, однако вмешались родители невесты, и свадьба все же состоялась.

Юсуповы вздохнули свободно — сын вроде бы успокоился. Неожиданно Николай объявил, что едет в Париж, где проходили гастроли русской оперы с Шаляпиным. Истинная цель поездки стала сразу родителям ясна — Марина, ставшая графиней Мантейфель, в то время находилась там. Никакие уговоры не помогли — Николай уехал.

Зинаида Николаевна поручила Феликсу следовать за братом и держать их с мужем в курсе дел. Ничего утешительного сообщить родителям Феликс не мог: Николай встретился с Мариной, ее муж, вероятно, знает об их отношениях...

Чем может кончиться эта история? Зинаида Николаевна холодела от одной мысли, что угроза дуэли надвигается вместе с днем двадцатишестилетия сына. Был особый, трагический смысл в этом сближении.

Семейное предание гласило, что над родом Юсуповых тяготеет кара за то, что их предки изменили магометанству и приняли православие. Суть этого проклятья заключалась в том, что все — кроме одного — наследники, родившиеся в семье, не проживут больше двадцати шести лет.

...Накануне поединка вечером Николай пришел к матери и успокоил ее: все устроилось. Готовая верить малейшей надежде, Зинаида Николаевна ложилась спать: для нее это была первая спокойная ночь после тех бесконечных, что она провела в тяжелых предчувствиях.

В эту ночь сын писал прощальное письмо своей возлюбленной. Он не сомневался, что будет убит.

«Дорогая моя Марина! Если когда-нибудь это письмо попадет к тебе в руки, меня не будет уже в живых... Я тебя любил, моя маленькая Марина, за то, что ты не похожа на других, что ты не захотела думать и поступать, как это делали другие, и смело шла вперед той дорогой, которую ты находила правильной. Таких людей в обществе не любят, их забрасывают грязью, в них кидают камнями, и тебе, слабой маленькой женщине, одной не совладать

с ним. Твоя жизнь испорчена так же, как и моя. Мы встретились с тобой на наше уже несчастье и погубили друг друга. Ты никогда не будешь счастлива, т.к. вряд ли найдется другой человек, который так поймет тебя, как сделал я. Я тебя понял тем легче, что у нас масса сходных с тобою сторон. Как мы могли бы быть с тобой счастливы...

Отчего ты так далеко? Ты не услышишь меня, когда последний раз произнесу твое имя. У меня даже нет твоей фотографии, чтоб поцеловать ее. Единственную вещь, которую я от тебя имею, — это маленькая прядь твоих волос, которую я храню, как святыню.

Вот и все. Я не боюсь смерти, но мне тяжело умереть далеко от тебя, не увидав тебя в последний раз.

Прощай навсегда, я люблю тебя».

...Дуэль состоялась в семь часов утра на Крестовском острове. Николай и муж Марины, граф Мантейфель, разошлись на тридцать шагов. По сигналу Юсупов выстрелил в воздух. Его противник промахнулся и потребовал повторного выстрела, теперь уже с дистанции пятнадцати шагов. Юсупов снова выстрелил в воздух. Мантейфель прицелился и убил его наповал. До двадцатишестилетия Николаю не хватило шести месяцев жизни.

Вот как описывает Феликс Юсупов 22 июня 1908 года во дворце на Мойке:

«Утром мой лакей Иван вбежал ко мне: «Идите скорее, ваше сиятельство, случилось ужасное несчастье!»

Охваченный страшным предчувствием, я выпрыгнул из кровати и побежал к матери. На лестнице толпились слуги с искаженными лицами, но никто не отвечал на мои вопросы. Раздирающие крики раздавались из комнаты отца.

Я вошел и увидел его, очень бледного, перед носилками, где было распростерто тело Николая. Мать, стоявшая перед ним на коленях, казалась лишившейся рассудка.

Мы с большим трудом оторвали ее от тела сына и уложили в постель. Немного успокоившись, она позвала меня, но, увидев, приняла за брата. Это была невыносимая сцена, заставившая меня похолодеть от горя и ужаса. Затем мать впала в прострацию. Когда она пришла в себя, то не отпускала меня ни на секунду».

...Было что-то чудовищное в буйном июньском цветении в Архангельском и черной процессии, что двигалась к мраморной усыпальнице. Ее отстроили совсем недавно, но и в страшном сне не могло присниться отцу с матерью, что первым под мраморный свод ляжет их сын.

* * *

Прошло лето. Осень. В тот год снег выпал рано, в ноябре. Пора было перебираться в город, а Зинаида Николаевна все не находила сил покинуть Архангельское. Феликсу она пишет: «Могила хорошо устроена, и впечатление такое же спокойное, светлое, утешительное!..» Княгиня зовет сына к себе. И понятно почему — с гибелью Николая в ней поселился суеверный страх. Ей необходимо постоянное общение с сыном, и она пишет ему часто, делясь мельчайшими подробностями своей подраненной жизни... Всякий раз рука, привыкшая выводить: «Милые мои дети!», вздрагивает на строке «Дорогой мой мальчик». Отныне и навсегда Феликс останется самым близким человеком для княгини. Сын ответит ей тем же. Их духовная связь, общность вкусов сквозит и в большом, и в малом. Зинаида Николаевна, например, просит сына, находящегося в Париже, выбирать для нее шляпки, туфли. Обсуждает, разумеется, и куда более важные проблемы, иногда, опасаясь перлюстрации, прибегает к иносказаниям, намекам, будучи уверенной, что сын ее поймет.

В мемуарной литературе не так уж много внимания уделено матерям. Как правило, они остаются в воспоминаниях, а дальше их образы как бы отходят на второй план, растворяются, чтобы уступить место молодым подругам выросших сыновей.

В семье Юсуповых получилось по-иному. Кажется, в жизни младшего сына Зинаиды Николаевны не было женщины, которой бы он восхищался более, чем ею. Для Феликса Феликсовича-младшего мать — первый и самый надежный друг. Идеал нравственности и идеал эстетический. Уже будучи совсем пожилым человеком, он вспоминает то чувство восторга, которое вызывала у него красота матери, — чувство, не притуплявшееся никогда. Вечно молодая, прекрасная, она стояла у него перед глазами: «Особенно я помню платье из бархата абрикосового цвета, дополненное соболем... Чтобы дополнить этот туалет, она выбрала украшение из бриллиантов и черного жемчуга».

Похоже, для Феликса навсегда осталась загадкой нежная и неизменная привязанность его матери к отцу. По мнению сына, его родители были полной противоположностью друг другу. Более того, молодой князь считал, что, если бы Зинаида Николаевна не отошла в семейную тень ради мужа и детей, ее ждало бы большое общественное будущее. Она же определила свое место раз и навсегда, не ища, не мучая себя, не мучая никого, не желая ничего большего.

Зинаида Николаевна всегда рядом с мужем. Она едет туда, куда требует его служба, терпит его знакомых, ей неинтересных, она снисходительна к характеру Феликса Феликсовича, по-солдатски прямому, порой резкому, не без чудачеств. Человек,

для которого служба прежде и превыше всего, князь Юсупов-старший начисто лишен той романтической жилки, которая так смягчает неизбежные тернии любого супружества.

В Зинаиду Николаевну продолжали влюбляться. Скажу больше — ее не могли разлюбить.

Однажды в их особняке раздался грохот. Перепуганная прислуга прижалась к стенам. Прямо по паркету в княжеские покои влетел всадник на арабском скакуне. На глазах у всех он бросил к ногам Зинаиды Николаевны роскошный букет роз. Это был князь Витгенштейн, один из придворных витязей, мечта великосветских дам, по-прежнему влюбленный в очаровательную княгиню. Возмущенный муж запретил ему появляться в их доме. Но страсть лихого всадника, вероятно, и впрямь была нешуточной. Много лет спустя, встретив уже взрослого Феликса Юсупова, он долго всматривался в него и с какой-то сладкой мукой в конце концов сказал: «Боже, как вы похожи на свою мать!..»

* * *

Из тех княгинь Юсуповых, в летопись жизни которых мы заглянули, Зинаида Николаевна — воплощение хранительницы очага, матери, супруги. Тут не было никакого насилия над собою. Она, богатейшая женщина России, титулованная красавица, не хотела для себя никакой особой судьбы, нежели той, какую выбрала сама. Ее добротой, тактом и сердечностью держался дом, где у всех были непростые характеры.

Дом Юсуповых — это не только Зинаида Николаевна, ее муж и дети. Это и слуги, гувернантки, учителя. Одним словом, то множество людей, отношения с которыми волей-неволей определяли настроение в большом доме. И здесь, благодаря ей, было много человечности и благородства.

По воспоминаниям, к праздникам каждый человек под юсуповской крышей получал подарок. Причем было принято, что между слугами и их домочадцами гуляла специальная бумага, где каждый мог написать, что хотел бы получить.

Однажды служивший у них молодой араб Али попросил в подарок «блестящую игрушку». Когда стали выяснять, что же это такое, оказалось, что он имеет в виду бриллиантовую диадему хозяйки, которую княгиня надевала, отправляясь на бал в Зимний дворец. Увидев ее однажды с диадемой на голове, Али, посчитав княгиню божеством, упал на паркет, и его никак не могли поднять.

У Юсуповых слуги жили подолгу, старились и умирали в их доме. Их метрдотель Петр более шестидесяти лет провел у Юсуповых. Он гордился тем, что ему поручалось обслуживать

самых именитых гостей. Под конец жизни он уже ослабел, стал подслеповат и частенько проливал вино на скатерть.

...Последний, как оказалось, прием Николая II в доме на Мойке от старика постарались скрыть. И император, заметив, что Петра нет, сказал Зинаиде Николаевне, что на этот раз у скатерти есть шансы остаться чистой. Однако какими-то судьбами старый метрдотель узнал о высоком госте. В кое-как надетой манишке, шаркающими шагами он добрался до своего «рабочего места» и стал, как обычно, за креслом государя. Николай II, не желая конфузить старика, поддерживал его руку, когда тот наливал вино.

...Зинаиде Николаевне пришлось взять в свои руки не только дом, но и все обширное хозяйство Юсуповых. Муж, которому она поначалу передала все дела, не выказал к ним особого интереса. Оставшиеся бумаги свидетельствуют, что все постройки, перестройки, ремонты и прочие хлопоты ложились на княгиню. «Семь я», — могла бы сказать о себе Зинаида Николаевна. Такой она была в молодости. Такой оставалось и в тяжелое двадцатилетие, что княгине выпало прожить в эмиграции. Не было тогда уже ни молодости, ни здоровья, ни «блестящих игрушек», ни «Перегрины», ни просто денег. Сердце же надорвалось новой утратой: Зинаида Николаевна на чужбине похоронила мужа. И теперь она жила ради сына, невестки и подрастающей внучки, чтобы в 1939 году навек найти покой под простым крестом на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Ее любимых — сына, обеих Ирин, невестку и внучку, — похоронят в одной могиле с нею.

* * *

Но мы забежали вперед... В 1911 году Зинаиде Николаевне исполнилось пятьдесят лет. По-прежнему хрупкая, изящная, она сильно поседела. Время от времени на нее нападала страшная тоска. В письмах Феликсу часто появляется одна и та же мысль: «Я же не особенно важно себя чувствую, то лучше, то хуже, то сильнее, то слабее, верно, теперь так и будет». Похоже, в своей непроходящей тоске по старшему сыну Зинаида Николаевна не боялась смерти. Но она очень переживала, что Феликс неприкаян, не спешит обзаводиться семьей. Ей же хотелось иного: «Главное утешение для меня — знать, что ты не один, а имеешь при себе хорошего и милого друга». Без устали и, надо сказать, без успеха мать просит сына побороть пристрастие к рассеянной жизни, неохоту к серьезным занятиям. Она постоянно напоминает о том, что лишь созидательная жизнь достойна человека. «Не играй в карты, ограничь веселое времяпрепровождение, работай мозгами». Но не материнские наставления, которые чаще всего

бывают бесполезны, а суровые испытания заставили-таки его, баловня, совсем по-другому взглянуть на жизнь. В этом смысле революция и суровая доля эмигранта пошли Юсупову на пользу. На склоне лет Феликс Юсупов сам удивлялся, как долго не оставляло его ребячество.

«Я привез из Англии целую коллекцию животных для Архангельского: быка, четырех коров, шесть свиней и множество петухов, кур и кроликов. Большие животные были отправлены прямо в Дувр, чтобы там их погрузили на суда, но я оставил с собой ящики с птицей и кроликами, которые разместили в подвале отеля «Карлтон». Я не отказал себе в удовольствии открыть ящики и выпустить животных в отель. Это было великолепно! В одно мгновение они разбежались повсюду; петухи и куры взлетали и кудахтали, кролики пищали и гадили; персонал, расторопный, как полагается, бегал за ними, управляющий свирепствовал, клиенты были ошеломлены. Короче, полный успех!»

* * *

...Однажды в один из визитов к княгине великий князь Александр Михайлович завел разговор о возможном браке своей дочери Ирины с Феликсом. Между молодыми людьми уже давно все было слажено. Венчание состоялось в феврале 1914 года в церкви Аничкова дворца. После в одном из залов молодые долго принимали поздравления царя с царицей и многочисленных гостей. Наконец Феликс и Ирина, молодая княгиня Юсупова, отправились в особняк на Мойке, где Зинаида Николаевна и Феликс Феликсович-старший встретили их хлебом-солью.

Ирина доводилась племянницей Николаю II. Вдовствующая императрица Мария Федоровна из всех внуков особенно была привязана именно к ней. Таким образом, Юсуповы теперь находились в родстве с царствующей династией.

Однако отношения между Зинаидой Николаевной и царствующей четой оставляли желать лучшего. Первая размолвка между княгиней и императрицей Александрой Федоровной произошла во время их разговора еще в 1912 году. Зинаида Николаевна горячо доказывала необходимость удалить Распутина от двора.

Императрица была неприятно поражена. Каждый, посмевший заговорить о «святом старце» в таком тоне, рисковал нажить врага в ее лице. Княгине это, вероятно, было хорошо известно. Но Зинаида Николаевна не успокаивалась и при каждом удобном случае продолжала выказывать свое отвращение к Распутину, возмущаться людьми, подпавшими под его влияние. Это темная сила, говорила она, которая опутала русский трон.

Когда слова княгини доходили до императрицы, ее бледное лицо заливала краска негодования. Убрать Распутина? Нет, нет и нет! Он чудотворец, спасающий жизнь ее бедного сына. Неприятнее всего то, что Юсупова настраивает против него и родную сестру императрицы, Елизавету Федоровну. Подруги объединились в своей ненависти, везде и всюду твердят свое: убрать, убрать Распутина... Теперь при встречах с Юсуповой императрица каждой интонацией дает понять, что между ними пролегла пропасть. Несомненно, ее отношение влияло и на царя.

Лишь позже, перед трагической гибелью в Ипатьевском доме, Николай II, как писал Феликс Юсупов, через знакомого человека передал Зинаиде Николаевне, что она была права и он сожалеет, что не внял ее словам.

...Мысль убить Распутина, избавить Россию от ненавистного «старца» Юсупов вынашивал долго и не без сомнений. Но когда решился, то начал действовать энергично. Самым трудным делом было заманить Распутина в их дворец на Мойку. Тот не хотел ненароком повстречаться с Зинаидой Николаевной.

— Не люблю я твою мамашу, — говорил он Феликсу. — Она меня ненавидит. Она подруга Лизаветы. Обе против меня интригуют и клевещут на меня. Царица сама мне часто повторяла, что они мне враги.

Все происшедшее в юсуповском особняке в одну из последних ночей уходящего 1916 года теперь хорошо известно.

...Зинаида Николаевна во время убийства Распутина была в Крыму. Вместе с ней там находилась невестка с маленькой внучкой, тоже Ириной. И вдруг — сообщение из Петербурга. Первая мысль: что с Феликсом, как он? Зинаида Николаевна не знала, что императрица требовала от царя расстрелять участников заговора. К счастью, этого не произошло. Тесть Юсупова сообщил, что по приказу царя Феликс арестован и в сопровождении чинов тайной полиции отправлен в ссылку, в курское имение. Пришла телеграмма от подруги Зинаиды Николаевны, великой княгини Елизаветы Федоровны: «Мои молитвы и мысли с вами всеми. Благослови Господь вашего дорогого сына за его патриотический поступок».

Зинаида Николаевна слишком хорошо знала Феликса, чтобы заблуждаться относительно его состояния. Безусловно, он подавлен — на его руках кровь. Он — убийца. Сознание этого может довести до умопомешательства. В тяжелый час мать должна быть вместе с сыном. Она скажет: «Ты принес себя в жертву, ты убил чудовище, терзавшее твою страну. Ты прав. Я горжусь тобой...»

Не мешкая, Зинаида Николаевна с мужем и Ирина выехали в

Ракитное. Конечно, такой демарш царская чета не могла истолковать иначе, как полной солидарностью с заговорщиком-сыном. Все семейство было заодно. И в этом супруги Романовы не обманывались.

Ракитное. Они вместе. Живы. Здоровы. Что там ссылка! Она обернулась счастливой полосой тем, кому слишком скоро предстояло сказать Родине «прощай!». Природа радовала Юсуповых картинами их последней русской зимы. Ах, какая это была зима! С обильными снегами, голубым небом, когда в голове звучит пушкинское «мороз и солнце — день чудесный», когда кажется, что все тяжелое, мутное осталось позади, а этого бескрайнего сияющего простора, чистого воздуха, наполняющего грудь, им хватит на всю оставшуюся жизнь...

* * *

«Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась Россия к началу революции... Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш».

Пространная цитата из бунинских «Окаянных дней» дает возможность увидеть Петербург таким, каким увидела его Зинаида Николаевна, вернувшись из курского имения. Их встретил шофер с красной лентой на кокарде. Зинаида Николаевна гневно сказала: «Сними этот ужас!» Автомобиль помчался по улицам.

...Цвейг верно заметил: этот город был предназначен «для великолепия и роскоши, для князей и великих князей, для изящества гвардейских полков, для расточительности русского богатства». И вот декорации переменились. Ушли полки. Ушло богатство. Нынешний Петербург, как героинь отыгранной пьесы, отторгал княгинь с их романтическими приключениями, домами, заполненными хрупким фарфором, с их ненужной, не в тон наступавшему времени красотою. Город как бы и сам отрекался от себя, старого, назвавшись Петроградом. Марсово поле, таким, каким его видел художник Чернецов, рисовавший гулявшую там прабабку Феликса княгиню Зинаиду Ивановну, в сущности, исчезло. Теперь это место бугрилось могилами жертв революционных выступлений. Почему-то решили, что покойникам под перезвон трамваев, что побегут скоро невдалеке, лежать будет веселее. Наступало время нелепостей.

...Дом Юсуповых на Мойке пока не трогали, хотя то там, то здесь слышались разговоры, что «солдатики шалят». Еще в 1900 году супруги Юсуповы составили завещание, в котором писали, что «в случае внезапного прекращения рода нашего все наше движимое и недвижимое имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, собранных нашими предками и нами... завещаем в собственность государства...».

То, что «внезапное прекращение рода» может случиться ежечасно и отнюдь не по воле Божьей, становилось все очевиднее. Весной семнадцатого года Юсуповы перебрались в Крым — он был еще свободен от красных.

Какое-то время выручало то, что их фамилию революционные матросики знали. Иногда даже Феликсу-младшему выражали симпатию. Но молодая княгиня Юсупова — Ирина — была в их глазах «слишком Романова».

Однажды ее отец великий князь Александр проснулся и увидел у своего лба дуло пистолета. Ирина поехала в Петроград за помощью к Керенскому. Ей пришлось месяц пробиваться к главе Временного правительства.

Но встреча вышла забавная. Когда молодая княгиня Юсупова-Романова вошла в Зимний дворец, она нашла там еще старых служителей, с которыми раскланивалась, как с добрыми знакомыми. Глава Временного правительства расположился в бывшем рабочем кабинете Александра II. Он предложил присесть. Та, словно ненароком, устроилась в кресле своего предка. Керенскому ничего не оставалось делать, как занять место для посетителей. Он дал Юсуповой понять, что ничего не может сделать для «крымчан».

Феликс Юсупов, побывав в Петрограде, пытался спасти фамильные драгоценности. Из особняка на Мойке с помощью верного слуги Григория Бужинского он перевез их в Москву и спрятал в тайнике под лестницей дома в Харитоньевском переулке.

Когда питерские «экспроприаторы» пришли за драгоценностями, они взялись за Бужинского. Тот умер от ужасных пыток, так и не сказав ничего. Сокровища Юсуповых нашли случайно, восемь лет спустя, во время ремонта, который новая власть делала в московском княжеском доме.

В тот приезд в Москву молодой Юсупов виделся с подругой своей матери великой княгиней Елизаветой Федоровной. Она приняла его у себя в Марфо-Мариинской обители, настоятельницей которой была. Эта встреча оказалась последней — Елизавете Федоровне предстояла скорая и страшная гибель в шахте Алапаевска.

...Временное правительство пало. Красный террор начался теперь и в Крыму. Вот выдержка из воспоминаний Феликса Юсупова: «Ужасное избиение морских офицеров произошло в Севастополе, грабежи и убийства множились по всему полуострову. Банды матросов врывались во все дома, насиловали женщин и детей перед их мужьями и родителями. Людей замучивали до смерти. Мне случалось встречать многих из этих матросов, на их волосатой груди висели колье из жемчуга и бриллиантов, руки были покрыты кольцами и браслетами. Среди них были мальчишки лет пятнадцати. Многие были напудрены и накрашены. Казалось, что видишь адский маскарад. В Ялте мятежные матросы привязывали большие камни к ногам расстрелянных и бросали в море. Водолаз, осматривавший позже дно бухты, обезумел, увидев все эти трупы, стоящие стоймя и покачивающиеся, как водоросли, при движении моря. Ложась вечером, мы никогда не были уверены, что утром будем живы...»

13 апреля 1919 года Юсуповы покинули Россию.

УМЕРЕТЬ ЗА ШАРЛОТТУ

Не легкий жребий, не отрадный,
Был вынут для тебя судьбой,
И рано с жизнью беспощадной
Вступила ты в неравный бой.
Нет, жизнь тебя не победила,
И ты в отчаянной борьбе
Ни разу, друг, не изменила
Ни правде сердца, ни себе.

Ф.Тютчев

Я попала на площадь Согласия на утро после рождественской ночи. Вдоволь нагулявшись, Париж отсыпался. На всем огромном пространстве не было ни души. Можно было, не огорчая московской безалаберностью здешних полицейских, бродить как душе угодно, презирая дорожную разметку. Я дошла до середины площади и остановилась.

Чуть больше двухсот лет назад как раз на этом самом месте стоял высокий постамент. Он был сколочен из досок и назывался эшафотом. В июльский день 1793 года здесь все было запружено до отказа.

«Проклятая!» — орали тысячи глоток. Лишь один человек из всей негодующей толпы молчал. Он смотрел на девушку, которая стояла на эшафоте.

* * *

...Дилижанс из Канн вышел по расписанию, что странно для страны на втором году революции. Правда, здесь, на юге Франции, суровость нового режима была менее ощутима. Те, кто были не согласны с положением дел в Париже, стремились сюда, подальше от гильотины.

Но молодая женщина в коричневом дорожном костюме и с маленьким ридикюлем, пристроенном на коленях, стремилась как раз в Париж. Ей было незачем брать с собой больше: она ехала в революционную столицу для того, чтобы умереть.

...Мари Шарлотта Корде д'Армон была дочерью захудалого нормандского дворянина. Родилась в 1768 году, воспитывалась в монастыре. Пишут, что революционным вольнодумством Шарлотта заразилась в родном доме от отца. Тому давно не нравились порядки дряхлой паразитической монархии. В семейных разговорах он ругал кучку жиреющих аристократов, что

намертво вцепились в ножки трона.

Шарлотта Корде

Шарлотта с сочувствием встретила час национального пробуждения. Даже революционные жестокости на первых порах не вызывали у нее протеста. Вот-вот, думала она, впрочем, как и многие французы, на смену нерассуждающим экстремистам придут люди гуманные, бескорыстные, не запятнанные кровью.

Розовый туман рассеялся быстро. Ликование сменилось ужасом. Все были за Республику, не замечая, что новорожденная красавица захлебывается в крови. Вчерашние единомышленники волокли друг друга на гильотину. Обыкновенным гражданам тоже не полагалось стоять в стороне от всеобщей мясорубки. Последним толчком, подтолкнувшим Шарлотту к парижскому дилижансу, было заявление гражданина Марата, главы партии якобинцев, захвативших власть в Национальном собрании, о том, что для упрочения Республики надо уложить на гильотину тысячу, две, десять, двадцать («Сколько еще?» — «Чем больше, тем лучше!») французов.

...Перед уходом из родного дома Шарлотта оставила записку о том, что уезжает в Англию и просит простить ее.

Расчет Шарлотты был прост. Она проберется в Конвент, где заседает чудовище Марат, и поразит его карающей рукой Немезиды. Разъяренная толпа набросится на нее и прикончит, избавляя судей от лишнего разбирательства. Кто она? Как ее

зовут? Мертвое тело не выдаст тайны. Могла ли Шарлотта подумать, что ее замысел потребует большего мужества и выдержки, чем те, которые она предполагала в себе, отправляясь в Париж?

Прибыв в столицу, она сняла комнату в гостинице, немного отдохнула и, наконец, отправилась узнать о ближайшем собрании в Конвенте. Ей сказали, что Марата там не будет. Он заперся в своей квартире на улице Кордельер, переживая очередное наступление болезней, терзающих его тело.

Это неожиданное препятствие не изменило планов Шарлотты. Просто усложнилась задача, и она, гуляя в соседнем с гостиницей саду, ждала, когда ее ум, отточенный ненавистью, подскажет ей дальнейший ход.

Целый день прошел в ожидании новой идеи, а на следующее утро, едва зевающие торговцы открыли ставни своих заведений, Шарлотта оказалась в скобяной лавке. Она выбрала нож с тонким лезвием и заостренным концом. Такими хозяйки обычно орудуют в кухне, срезая пленку с мяса и печени. Пожелав покупательнице беречь свои пальчики, толстяк за прилавком сбросил в ящик монеты и заскучал в ожидании следующих посетителей.

* * *

«Единственная страсть, которая пожирала мою душу, была любовь к славе», — признавался Жан-Поль Марат. За этой жар-птицей он тщетно гонялся до сорока шести лет — возраст, когда пожинают урожай, а не засеивают поле тем, что попадется под руку.

Марат метался. Он расставлял силки для птицы-славы. Но она была хитрее его. Жан-Поль терял терпение. В пять лет он хотел стать школьным учителем, в пятнадцать — профессором, в восемнадцать писателем и, по его словам, «гением-изобретателем» — в двадцать. С возрастом люди обычно трезвее оценивают свои возможности.

Вот этого качества будущий трибун революции был лишен начисто.

В семнадцать лет Марат решил ехать в Сибирь, в Тобольск, для астрономических наблюдений. Однако потом он передумал, и на месте запальчивого звездочета в России оказался его родной брат Давид. В 1806 году тот принял русское подданство и был назначен профессором Царскосельского лицея. Здесь преподавал французскую литературу сорванцам по фамилии Пушкин, Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер и их приятелям. Давида Ивановича Будри — так называли брата «пламенного революционера» — лицеисты любили, почитая в нем «человека образованного ума, благородного сердца, примерной кротости нрава и добродушия».

Разумеется, в нашем рассказе мы могли бы обойтись и без Давида Ивановича, однако трудно устоять перед возможностью лишний раз убедиться в справедливости сказанного когда-то: «Бывают странные сближенья...»

А вот родственник пушкинского учителя не отличался ни кротостью нрава, ни добродушием. Разумеется, прав тот, кто заметит, что таковые качества вообще не характерны для людей, сделавших своей профессией революцию. Но дело в том, что тридцать лет созидательной жизни Марат потратил вовсе не на социальные преобразования. Посмотрим, чем и как он занимался.

Быстро охладев к созвездиям, астроном принялся за физику. Марат моет кости старине Ньютону и требует революции в точных науках, считая, что она «может быть только полезна и доставит славу Франции». Однако переворот в физике — дело более замысловатое, чем то же самое в отдельно взятой стране. В итоге физик-революционер освистан.

Следующая жертва Марата — анатомия. В своей квартире он создал специальный зал для препарирования трупов. Этого мало: в нем зреет потребность экспериментировать над живыми существами. Рвущийся к научной славе естествоиспытатель ловко парирует упреки знакомых, не симпатизирующих подобным занятиям: «Вы говорите, что не любите видеть невинных животных под скальпелем. Мое сердце столь же мягко, как и ваше, и я также не люблю видеть страдания бедных тварей. Но было бы совершенно невозможно понять тайну изумительных и необъяснимых чудес человеческого тела, если не пытаться застигнуть природу в процессе ее работы. Между тем этой цели нельзя достигнуть, не причиняя немного зла, чтобы сделать много добра. Только таким образом можно стать благодетелем человеческого рода...» Благодетель утверждает, что не сделал бы важных открытий, «если бы не резал головы и члены массы животных». И вот «открытия» сделаны. Марат искал душу и нашел ее в коре мозга. Старик Вольтер съязвил: «Лучше было бы сказать, что ее квартира неизвестна, чем утверждать, что она в таком-то углу... Предоставьте этот вопрос милосердному Господу Богу; он заказывал ей ее помещение, но не производил вас в ее квартирмейстеры».

Подобные доводы, разумеется, не останавливают «благодетеля человечества», занявшегося теперь уже медициной. Его называли «врачом неизлечимых». «Марат — шарлатан, продающий всякую дрянь как средство, исцеляющее все болезни», — писали современники. Не случись революции, пришлось бы ему разделить анекдотическую славу составителей «эликсиров жизни и молодости» под предводительством господина

Калиостро.

Горькие разочарования и насмешки швыряют Марата за письменный стол. Он, тратя последние деньги и осаждая издателей, наскрипел пером около десяти томов в надежде «разрушить многие общепринятые воззрения своего времени». Даже терпеливые исследователи признаются, что едва ли в состоянии их перелистать.

Журналы, газеты, издательства были так напуганы одним только именем плодовитого автора, что Марат начал хитрить и посылал рукописи анонимно. Однако все было тщетно: он всюду получал по носу. Тот, кто замахивался на титул «благодетеля человечества», по словам французского историка Г.Тэна, «тридцать лет скитался по Европе, прозябал в Париже, всеми освистанный и непризнанный, снедаемый завистью ко всем великим мира сего, постоянный кандидат и постоянный неудачник».

Какие гигантские усилия совершал Марат, на какие ухищрения только ни шел, дабы выдрать хотя бы перо из заветного хвоста птицы-славы. И все тщетно! Он пишет авторитетным ученым: «...мои открытия по свету опрокинули труды целого столетия». Его не удостаивают даже ответом. Он, занимая там и сям, собирает деньги и посылает их в Академию Лиона для назначения ему премии за присланную работу. В другую посылает два доклада на одну и ту же тему. Осточертев французам, пытается добиться признания в Испании. Ищет спонсоров, рассылает письма меценатам и даже своему, вскоре обезглавленному революцией, королю. Ничего не добившись, обвиняет весь мир «во всемогущей интриге». От огорчений, бессонных ночей, плохой пищи и беспорядочной жизни незадолго до революции Марат серьезно заболел и едва не умер. Пролил бы кто о нем хоть одну слезу? Ни одна женщина не снизошла до заботы о нем, не родила ему ребенка, не позаботилась о крове. В дальнейшем художники изо всех сил старались придать чертам Марата некое благообразие. Тщетно. Лишь Давид, талантливый и авторитетный, в своей знаменитой картине «Смерть Марата» решил прибегнуть к радикальным средствам, изобразив некую отвлеченную фигуру, на манер эллинского героя, увенчанного эффектной чалмой.

...Между тем Марату в конце концов повезло. Он таки дождался своего звездного часа. Грянула революция.

* * *

Не сразу толпа признала Марата. И только когда сердца нищих и голодных людей охватило разочарование результатами революционных реформ, которые, в сущности, ничего не меняли в

их беспросветной жизни, взоры обратились в его сторону. Присмотревшись, люди увидели, что он ходит, как они, почти в тряпье, с грязной повязкой на голове. Дом его пуст, холоден, и даже мыши там нечем поживиться. Все как у них. В глазах подозрительных сограждан это ли не высшая добродетель? «Он наш! Он такой же, как мы! Он понимает наши нужды!» Измученный, сбитый с толку народ, уже не веря вождям в пудреных париках, словно сирота, искал, на чье же плечо положить голову. И нашел. Гражданин Марат хорошо все объясняет и, главное, знает, кто виноват в том, что революционная повозка никак не въедет в рай.

«Оглянитесь!» — гремел Марат. Он мог говорить часами, яростно и с таким ожесточением, что казалось, жилы на его шее лопнут. Оратор презирал изящную словесность, и его язык, шершавый, жесткий, каркающий голос, демонический хохот, выразительная жестикуляция действовали на толпу завораживающе.

«Оглянитесь! Вас предали! Вы голодаете, а лавки распирает от товаров. Ваше правительство, хлюпики и трусы, боится навести революционный порядок. Они предали наше дело аристократам, ростовщикам, спекулянтам, присосавшимся к телу трудового человека. Пока мы не стрясем с себя эту нечисть... Всех подозрительных — на эшафот. Будем очищаться! В этом спасение революции... Трепещите! Гильотина работает исправно». И вот уже в Нанте палач выбился из сил, рубя головы. Есть и другие методы «очищения». Расстреливали маленьких детей и женщин с грудными младенцами.

Дневная норма в 120 человек доходит до 500. В Вандее революционные каратели не выдержали и возмутились. Но специальная «рота Марата» именем своего вождя продолжала творить правое революционное дело. Ночь с 14 на 15 декабря 1793 года стала последней в жизни 138 человек.

Такой же ночью вдоль сонных вод Луары медленно движется барка. По сигналу ее днище раздвигается, и плавучий гроб с 90 священниками, закрытыми в трюмах, уходит на дно.

Впрочем, зачем губить барку? Значительно проще столкнуть в воду безоружных людей и поливать их свинцом до тех пор, пока затихнут вопли несчастных. Матери молили пощадить маленьких детей. «Из волчат вырастут волки», — отвечала бравая «рота Марата».

А потом сыграли «республиканскую свадьбу». Связывали попарно юношей и девушек и бросали в воду. «Именем Революции!»

В городе Ментоне, ставшем несколько позднее модным

курортом, наладили производство париков и кожевенных изделий. Парики выделывали из волос гильотинированных женщин. Другое же... Дадим слово знающим людям: «В Ментоне существовала кожевенная мастерская для выделки человеческих кож; из кожи тех гильотинированных, которых находили достойными обдирания, выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши». Кожа мужчин, как отмечалось, ничем не отличалась от кожи молоденькой серны. А вот женская была слишком мягка и почти ни на что не годилась.

Воистину правы некоторые историки, утверждавшие, что питерская «Чрезвычайка» была лишь слабой подражательницей ретивых мальчиков Марата в красных шерстяных колпаках.

Лозунг «Революция без конца» требовал своего оправдания. Места повешенных аристократов и священников не могли пустовать. Хватали людей с «подозрительным выражением лица». Не правда ли, истребление врагов по такому признаку надолго оттягивает финал революции? Она действительно становится бесконечной. «...Немного зла, чтобы сделать много добра».

СПРАВКА

Перед празднованием 200-летия революции во Франции в 1993 году с помощью ЭВМ был проведен анализ социального состава жертв якобинского террора, «революции без конца», на чем настаивал Марат. Вот какие получились результаты. «Враги нации» - дворяне составили всего 9% погибших. 91% — рядовые участники революции, ее плоть и кровь, которым и было обещано «светлое будущее». Из этого числа 28% составляли крестьяне, 30% — рабочие.

* * *

Письмо, отправленное по почте, либо пропало, либо его не передали Марату. Если бы Корде нервничала, то она воспользовалась бы этим, чтобы отказаться от задуманного. Но похоже, Шарлотта обладала необыкновенной выдержкой и решимостью. Ей и в голову не пришло ничего подобного. Напротив, она словно подгоняла себя и, воротясь в номер гостиницы «Провиданс», немедля села писать второе письмо.

«Париж, 13 июня, 2 год Республики.

Гражданину Марату.

Сегодня утром, Марат, я писала вам. Получили ли вы мое письмо? Я не думаю, чтобы вы его получили, потому что меня не допустили к вам. Уведомите меня, могу ли я надеяться видеть вас хоть на одну минуту. Снова повторяю вам, что я приехала из Канн и желаю сообщить тайны, очень важные для безопасности Республики. Кроме того, я подвергаюсь преследованиям за свою

преданность свободе и поэтому несчастна. Мне кажется, что уже одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы иметь право рассчитывать на ваше содействие.

Шарлотта Корде».

Чтобы действовать наверняка, она решила отправиться к дому Марата и через близких лиц передать ему письмо. Расчет девушки состоял в том, что слова «тайны», «безопасность Республики» произведут на него такое же действие, как красная тряпка на быка.

Раскрытие заговора — это еще одно очищение Республики от скверны, аресты врагов революции, их смерть на эшафоте и — новое торжество «друга народа». Вот видите, он не дремлет, всегда на страже. Таким образом Шарлотта хотела выманить дикого зверя из его логова, а лучше — самой попасть туда.

Шарлотта подошла к дому № 20 на улице Кордельер, на пороге жилища Марата появилась его любовница Симона Эврар. Когда мужчина из смешного неуча превращается во всенародного идола, у него появляются права на все, даже на любовь. Эта женщина была чуть ли не вдвое моложе Марата и невероятно ему преданна. Симона подозрительно взглянула на незнакомку в платье из белого канифаса, в легкой накидке и в шляпке, отделанной трехцветной тесьмой. Эту моду завели поборницы революции, но женщина-страж не клюнула на такую наживку. Она держала Шарлотту у порога, загораживая вход и задавая один вопрос за другим. Чем с большим старанием Шарлотта уговаривала ее, тем несговорчивее становилась Симона. Какое-то животное чутье подсказывало преданной подруге революционного трибуна, что этой красотки с открытым спокойным взглядом следует опасаться.

И жизнь, и смерть решают случайности. Услышав голоса, долетавшие с порога квартиры, Марат позвал Симону:

— Что там происходит?

— Приехала женщина из Канн. Она хочет сообщить вам что-то важное. Вот, прочтите.

Марат взял письмо Шарлотты. Ага! Он так и знал — его враги закопошились. Рано или поздно они должны были себя обнаружить. Но кто именно?

— Зови ее, — сказал Марат и, когда девушка вошла, едва взглянув на нее, схватился за перо и бумагу.

— Быстрее, дитя мое. Их имена... Я чувствую, гильотине придется хорошенько поработать.

Нож был спрятан под накидкой. Металл согрелся, и девушка не ощущала его на своей груди.

...Марат был болен. Болен безнадежно. Повремени Шарлотта

немного, природа сама бы сделала свое дело. Немощное тело отказывалось жить и держалось лишь упорной волей. Марат считал, что далеко не все успел сделать. Сознание драгоценности своей жизни заставляло его проводить целые дни в ванне, заполненной лечебным раствором.

Поперек ванны лежала доска, на которой он писал воззвания, манифесты и статьи в созданную им газету «Друг народа». Название газеты превратилось в имя, которым его наградила толпа. Это тоже привязывало Марата к жизни — ему льстило обожание, доходившее до экстаза, рев толпы, трепет женских платков, сорванных с шеи в порыве восторга.

Шарлотта рассказывала без утайки, зная, что этот человек с тряпкой, обмотанной вокруг головы, с красным в испарине лицом все равно сейчас будет мертв и больше никому никогда не причинит вреда. Рука уже сжимала нож. Ужас мешал девушке сделать шаг к ванне. Нужен был какой-то толчок, чтобы металл взметнулся вверх, прежде чем вонзиться в голое беспомощное тело.

Марат сам помог девушке. Когда Шарлотта кончила свой рассказ, он повернулся к ней, и она увидела, какой безудержной радостью засветились эти выпуклые светлые глаза, а большой, как у рыбы, рот растянулся в улыбке: «Ну хорошо же! Вот они и отправятся на гильотину». Гильотина! Это слово током ударило Шарлотту. Она замахнулась, и нож по рукоять вошел в грудь Марата. Теперь его глаза смотрели на девушку изумленно. Рот передернула судорога ужаса и боли. И вместе с последним мгновеньем жизни из груди Марата вырвался резкий надорванный вопль.

Его любовница, распахнув дверь, тигрицей бросилась к Шарлотте и, вцепившись ей в волосы, начала кричать. Прибежали кухарка и привратница, наборщик «Друга народа» Лоран Басс ударил девушку табуреткой по голове. Они добили бы Шарлотту, но на шум появились солдаты национальной гвардии, находившиеся неподалеку. Дюжим гвардейцам с трудом удалось вывести арестованную из дома Марата, запихнуть в фиакр и доставить в тюрьму.

* * *

Шарлотта задумалась: сколько ей осталось жить? Суд наверняка будет быстрым и закончится объявлением смертного приговора. Казнь ее, разумеется, сделается событием в Париже, и народу, которому гильотина уже прискучила, на этот раз соберется достаточно. Надо было торопиться и приготовиться к достойному концу. Шарлотта Корде, как хороший драматург, должна завершить свою пьесу впечатляющим финалом, заставив

глупую и пошлую толпу зрителей задуматься над совершенным ею поступком. Она назвала это подвигом. Подвигом во имя гуманности. «Нож в грудь — и гуманность?» — взревет толпа. Шарлотта постарается объяснить в прощальном письме, что да, так оно и есть: она обагрила свои руки кровью, дабы десятки, сотни сограждан не запятнали себя грехом смертоубийства. А ведь этот грех неотвратим, потому что...

«Простите меня, люди, но имя Марата позорит весь род человеческий. Это был не человек, а дикий зверь, который и во Франции зажег бы междоусобную войну. Теперь же да здравствует мир! Слава Богу, что злодей не был французом по происхождению...

Наконец, я приняла в соображение и то, что столько храбрых людей должны будут идти в Париж за головой злодея и при этом еще их ждет, быть может, неуспех и им придется увлечь за собой на погибель многих добрых граждан. Нет, Марат не заслуживал такой чести; для него достаточно было руки слабой женщины», — писала Шарлотта в камере. Пламя свечи было единственным чистым и теплым пятном в сырой норе, куда ее упрятали. Этот огонек бросал розовые блики на лицо Шарлотты, возвращая ему краски молодости, исчезнувшие за последние три дня.

Шарлотта словно ничего не потеряла от своей красоты. И стражники тихо переговаривались, глядя на девушку, склонившуюся над бумагой. Она выглядела так мирно в своем чепчике, из-под которого выбивались шелковистые пряди волос. Что же все-таки заставляет таких красоток добровольно подставлять нежные шейки под лезвие гильотины? Везде в тюрьмах было полным-полно молоденьких аристократок, которых приволокли в застенки силою, невзирая на их старания раствориться в толпе, прикинуться простолюдинками. Они визжали или немели от ужаса, попав в застенок, а потом предлагали страже свои розовые, холеные тела, спрятанные в одежде драгоценности — словом, все, что у них осталось, ради того, чтобы выбраться на волю. А эта птичка сама прилетела в силки, как говорят, с юга, где такое голубое небо и ласковые волны день-деньской играют с прибрежной галькой. «Ах, если бы эта милашка была моей женушкой, — думал один из охранников, — я наделал бы ей столько ребятишек, что разом бы прошла охота совать нос в мужские дела».

«...Я в жизни ненавидела только одно существо, и мне удавалось проявлять твердость своего характера, — писала Шарлотта. — С теми, кто пожалеет меня, мы еще увидимся на том свете, где мне придется встретить Брута и некоторых других деятелей древности. Современники мало интересуют меня; они

все слишком трусливы. Теперь мало истинных патриотов, умеющих умирать за Отечество; теперь почти все эгоисты».

Письмо окончено. Совершенно ясно, что оно адресовалось будущему, истории. Шарлотта в последний раз пыталась объяснить те движения души, которые заставили ее взять в руки страшный нож. Нет, славы она тоже не искала: в случае своего чудесного спасения — и такого Шарлотта не исключала — решила перебраться в Англию и «сохранять самое строгое инкогнито так, чтобы парижане не смогли узнать, кто я такая».

...Зал суда был переполнен. Возле убийцы Марата поставили дополнительную охрану, опасаясь гнева зрителей. На вопросы судьи Шарлотта отвечала кратко, призывая его не терять времени и побыстрее вынести приговор.

Председатель суда. Кто вам внушил такую ненависть к Марату?

Подсудимая. Мне нечего было занимать ненависти у других, у меня было довольно своей.

Председатель. Но кто-нибудь навел же вас на мысль об убийстве?

Подсудимая. Плохо исполняется та мысль, которая не рождается сама собою.

Председатель. Что же вы ненавидели в Марате?

Подсудимая. Я считаю опустошение Франции делом его рук.

Председатель. То, что вы называете опустошением Франции, сделано не им одним.

Подсудимая. Быть может, это и правда, но он употреблял все усилия, чтобы разорить нашу страну вконец.

Председатель. На что вы надеялись, решаясь убить Марата?

Подсудимая. Я надеялась восстановить мир во Франции.

Председатель. Неужели вы думаете, что вы перебили всех Маратов?

Подсудимая. С одним уже покончено; с другими, быть может, будет то же самое.

Шарлотта более всего опасалась просьб защитника отнестись к ней, как к молодой, неопытной женщине, и сохранить жизнь. Она поблагодарила его за то, что он избавил ее от подобного унижения. Ее хладнокровная манера держаться подействовала на всех, сидевших в зале. Между прочим, по словам адвоката, во время заседания казалось, что убийца Марата вовсе не обвиняемая, а напротив, именно она-то и вершит свое правосудие.

Судей же выводило из себя спокойствие, с которым девушка отвечала на их вопросы. Ее пытались вывести из равновесия, подобравшись к подробностям сугубо интимного свойства.

«Сколько у тебя детей?» — спросил один из обвинителей. «Грязная потаскуха», — неслось из зала. «Разве я не говорила, что не замужем?» — ответила подсудимая. Специальная комиссия подтвердила ее девственность.

Выступление адвоката ничего не могло изменить в ожидаемом приговоре. Господин Шово выбирал слова, которые можно было толковать и так, и эдак. Он не слишком упорствовал в защите.

Оглашение приговора — казнь через гильотину — Шарлотта выслушала как само собой разумеющееся. Когда председательствующий спросил, не хочет ли она что-либо сказать, она ответила, что желала бы заплатить долг, сделанный в тюрьме. БОльшую часть этого долга составлял чепчик, который Шарлотта просила доставить ей в камеру, дабы выглядеть на суде благопристойно.

К ней подошел священник и предложил ей исповедаться и принять его утешение.

— Благодарю вас, святой отец, но, право, я не нуждаюсь в ваших хлопотах.

Теперь Шарлотта, вернувшись в свою камеру, ожидала приготовлений к казни. Неожиданно начальник тюрьмы господин Ришар привел к ней молодого офицера, которого она заметила еще в зале суда. Он пристроился неподалеку от скамейки, где сидела обвиняемая, и рисовал ее. Господин Ришар после оглашения приговора и окончания суда просил разрешения докончить портрет.

Шарлотта с большой охотой согласилась. Офицер, представившийся ей как художник по фамилии Гауер, расположился возле нее. Пока он рисовал, осужденная как ни в чем не бывало говорила о том, какие последствия для страны будет иметь смерть Марата, как облегченно вздохнут люди и рассеется страх, плотной пеленой окутавший Францию. Казалось, она не отдавала себе отчета в том, что в этой картине мира и благоденствия нет места для нее самой.

Художник смотрел на нее со страхом и восторгом. Но скоро его работа была прервана: охранник отворил дверь и в камеру вошли трое мужчин. Один из них держал в руках ножницы и широкую рубаху. Она была красного цвета. Именно в таких казнили отцеубийц. Двое других, приставы Трибунала, снова прочитали приговор, после чего начались приготовления к казни.

* * *

Человек, державший ножницы и рубаху, был знаменитый тогда палач Шарль-Генрих Сансон. Он стал основателем целой династии палачей, по решению суда отправлявших на тот свет

знаменитых и заурядных преступников на протяжении XVIII — XIX веков. Мсье Сансон исполнял приговор над Людовиком XVI, Марией Антуанеттой, крупнейшими деятелями Французской революции и, в частности, над нашей героиней.

По натуре он вовсе не был кровожадным человеком, но уважал свою профессию, коль скоро в ней была потребность. Кровавое ремесло требовало от него больших нравственных затрат. Он обижался, что люди не понимают этого и, увидев его, стараются перейти на другую сторону улицы.

Аккуратный и педантичный, Шарль-Генрих на протяжении многих лет вел дневник с реестром отправленных им на тот свет, а также записывал личные впечатления от казней.

Сансон далеко не всегда давал волю своему перу. Но о казни Шарлотты Корде он оставил весьма подробные записи. Это и понятно: мужество, с которым эта девушка держалась в свой последний час, не оставило равнодушным этого человека, немало повидавшего смертей на своем веку.

...Шарлотта поняла, зачем принесли ножницы. Она сама сняла чепчик, и длинные светло-каштановые волосы покрыли ее плечи и спину. Девушка дала знать, что готова, и Сансон обрезал их. Он признавался, что очень нервничал. Это был как раз тот случай, когда кротость и спокойствие жертвы труднее перенести, чем неистовство.

Часть волос Шарлотта отдала художнику, другие же послала жене начальника тюрьмы, которая, как и ее муж, сочувственно относилась к узнице. Затем она сама надела красную рубаху. Видя, что Сансон собирается связать ей руки, она обратилась к нему:

— Нельзя ли надеть перчатки? Во время ареста мне так скрутили руки, что ссадины до сих пор кровоточат.

— Вы можете поступать, как сочтете нужным, — учтиво ответил тот, — но со своей стороны считаю эту предосторожность излишней. Я свяжу вам руки, не причинив ни малейшей боли.

— Ах, впрочем, перчатки, кажется, теперь не приняты.

И Шарлотта с улыбкой протянула руки...

* * *

Наконец Шарлотта и палач уселись в телегу. В ней стояли два кресла. Сансон предложил осужденной сесть, но она всю дорогу до эшафота продолжала стоять, чуть покачиваясь от тряски. Шел дождь, но народу на улице было много. Те, кто оказывался вблизи телеги, потрясали кулаками, осыпали ее насмешками и ругательствами.

Когда они проезжали по улице Сент-Оноре, Сансон заметил в окнах одного из домов главных лиц Революции: Робеспьера,

Демулена, Дантона. Они внимательно рассматривали девушку, стоявшую, словно изваяние, в мокром, прилипшем к телу одеянии.

«Я сам поминутно оборачивался к Шарлотте Корде, — писал Шарль-Генрих Сансон, — и чем больше я вглядывался, тем больше хотелось глядеть на нее. Как ни поразительна была красота осужденной, но не это обстоятельство привлекло мое внимание. Мне казалось невозможным, чтобы осужденная до конца могла сохранить тот невозмутимый, мужественный вид, который она имела. Мне хотелось подметить в ней хоть какой-нибудь след того малодушия, которое я постоянно замечал у других. При этом, не знаю почему, но всякий раз, как я оборачивался и оглядывался на нее, невольная дрожь пробегала у меня по телу при взгляде на неколебимость осужденной. Между тем то, что мне казалось невозможным, Шарлотта Корде выдержала все до конца».

Два часа под улюлюканье толпы Шарлотта двигалась навстречу своей смерти.

— Не правда ли, наше путешествие кажется вам чересчур продолжительным? — спросил Сансон.

— Э, нам нечего беспокоиться об этом; мы можем быть уверены, что все-таки непременно доедем до места, — ответила Шарлотта.

И палач не почувствовал в ее ответе ни иронии, ни бравады. Это испытание делалось невыносимым даже для него. Он, пожалуй, начинал ненавидеть тех, кто окружал их телегу и осыпал Шарлотту непристойными словами. «Как многим Всевышний дал лишь обличье человеческое, но не наградил сердцем», — мрачно думал палач. Он не мог себе представить, что девушка давно не видит и не слышит ничего вокруг, что она, свершив задуманное, унеслась мыслями далеко и от этой страшной телеги, и от города с гильотиной посреди прекрасной площади, и даже от себя самой.

А между тем жестокая судьба напоследок приготовила Шарлотте подарок, о котором — увы! — ей не довелось узнать.

Адам Люкс был доктором философии и медицины. Молодой, красивый, захваченный романтикой революции, он прошел тот же путь восторгов и разочарований, что и Шарлотта. Безумный поступок девушки, о котором говорил Париж, потряс его. Тысячи людей, потерявших в кровавом месиве террора родных, в душе кляня тирана Марата, задрожали бы от одной только мысли пресечь преступную жизнь. Неизвестная ему девушка не испугалась. Это возбуждало жгучий интерес, и Адам, подобно

многим, постарался попасть во Дворец Правосудия, где шел процесс над убийцей Марата.

...Никогда доселе ни одна женщина не вызывала у него такой бури чувств, которая нахлынула, едва он увидел Шарлотту. Беззащитная среди моря людской ненависти, ни в чем и ни в ком не имевшая ни малейшей опоры, с лицом печальным и светлым, она казалась Адаму каким-то высшим существом, спустившимся на Землю покарать изверга и случайно попавшим в силки. В его романтическом воображении рождались и рассыпались в прах десятки способов спасти ее, один несбыточнее другого. И единственное, в чем он был волен, это любить приговоренную невероятной, затмевающей все любовью. И в этом обреченном чувстве не было ничего, что обычно сопутствует земной любви: ни эгоизма, ни жажды обладания, ни даже надежды быть узнанным, замеченным.

Адам шел рядом с телегой, не отрывая глаз от Шарлотты. Он постоянно спотыкался, налетал на чьи-то спины. Может быть, он стал бы кричать, что любит ее, что она божественно прекрасна, перекрывая брань толпы, но не был уверен, что долетевшее до нее признание не смутит ее, не встревожит. Ведь нет женщины, которую слова любви, даже на краю гибели, оставили бы безучастной. Тогда Шарлотте будет труднее умирать. И Адам молчал, стараясь только, чтоб его не оттеснили от телеги.

В то самое время, как телега с осужденной приблизилась к месту казни, Сансон встал и постарался закрыть собой гильотину. Шарлотта поняла его движение. Она наклонилась вперед, чтобы лучше видеть возвышение, сколоченное из досок, и два столба на нем с закрепленным наверху тяжелым металлическим лезвием.

— Меня это очень интересует: ведь я никогда не видела ничего подобного!

У помоста гильотины палач заметил несколько незнакомых ему личностей. Ему это не понравилось, и он попросил жандармов очистить место казни.

Шарлотта взошла вверх по лестнице. С нее сняли пелеринку, и девушка сама легла на доску, к которой ее тотчас привязали.

Сансон, обычно свято выполнявший ритуал казни, на этот раз заметно торопился. Запись в его дневнике так объясняет это: «Мне показалось жестокостью продлить хоть на одну секунду агонию этой мужественной женщины». Он сделал знак своему помощнику, и тот привел в движение механизм.

Нож упал точно, с нежным свистом. Недаром доктор Гильом, ратуя за введение гильотины вместо грубого топора, назвал это «дуновением ветерка». Толпа взорвалась ликующим воплем.

Дальше произошло то, что вызвало негодование у Сансона.

Плотник Легран, помогавший устанавливать гильотину, поднял голову казненной и показал ее народу. «Я человек, привыкший к подобного рода зрелищам, но мне сделалось жутко, — пишет Сансон. — Мне показалось, что глаза казненной смотрят на меня, и по-прежнему в них видны и поразительная кротость, и неколебимая твердость духа. Я тотчас же отвернулся. Из ропота, раздавшегося вокруг меня, я узнал, что негодяй, поднявший голову несчастной, ударил ее по лицу; многие уверяли меня, что голова даже покраснела при таком посмертном оскорблении».

Палача потрясла казнь Шарлотты. Он вернулся домой, сел за стол, чтобы поужинать, но вид у него был такой, что госпожа Сансон забеспокоилась: «Что с тобой? Отчего ты сегодня так бледен?»

...Сансон не находил себе места. Через газету, подробно описавшую казнь убийцы Марата, он опроверг слухи о том, что человек, нанесший отвратительное оскорбление казненной, был одним из его помощников.

Трибунал пришел к выводу, что плотник Легран в революционном рвении переусердствовал, и тот публично получил строгий выговор.

* * *

Наутро парижане обнаружили листовки, восхвалявшие убийцу Марата как мученицу Республики и освободительницу страны. Адам Люкс не скрывал, что это дело его рук. Более того, он написал манифест, где призывал всех честных граждан воздать своей соотечественнице как благословенной деве Франции Жанне д'Арк. Адам настаивал на том, что содеянное Шарлоттой было актом справедливой мести, тираноубийством. Документ был подписан его именем. Разумеется, ровно через неделю после казни Шарлотты Адама Люкса арестовали.

Друзья решили выручить его. Им удалось получить гарантии освобождения, если гражданин Люкс публично отречется от написанного. Адам только расхохотался в ответ. Тогда нашли доктора, который решился засвидетельствовать безумие обвиняемого: взгляд женщины-убийцы свел с ума впечатлительного доктора философии.

Старания друзей привели Адама в ярость. Он искал смерти — они срывали его планы. Адам написал в газету, что абсолютно здоров и сознательно дарит свою жизнь палачу, не желая жить после гибели Шарлотты.

Две недели Адам Люкс томился в тюрьме Ля Форте. Наконец его вызвали в суд. С горящими от радостного возбуждения глазами он выслушал приговор к смертной казни.

...Одна из самых коротких любовных историй в мире

послужила сюжетом многим романистам. Рафаэль Сабатини тоже отдал ей дань, закончив повествование фразой о том, что Адам Люкс «легкой поступью жениха на пути к брачному алтарю шагнул на эшафот». Можно ли сказать выразительнее?

ЖЕНА АКТЕРА ЩЕПКИНА

Я люблю тебя, без ума люблю!
О тебе одной думы думаю,
При тебе одной сердце чувствую,
Моя милая, моя душечка.
Ты взгляни, молю, на тоску мою
И улыбкою, взглядом ласковым
Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливого...
Д.Давыдов

Вспоминаю подпорченный нудным дождем день во Пскове, где оказалась проездом. До отхода поезда оставалось лишь столько времени, чтобы взглянуть на посуровевший под клочкастыми тучами кремль и забежать — вечная наша спешка! — в городской музей.

Я, быть может, и прошла бы мимо этого портрета — возле него толпилась беспокойная группа школьников, — но задержал голос экскурсовода:

— Вглядитесь в лицо этой женщины и подумайте хорошенько, ребята. Свободная, красивая девушка вышла замуж за крепостного человека. И стала полной собственностью барина, рабой...

Они прошли дальше, а я осталась и прочитала на золоченой раме: «В.А.Тропинин. Портрет Е.Д.Щепкиной».

Кто не знает тропининские портреты, ставшие украшением многих наших музеев? Кто не пленялся ясноглазой «Кружевницей», таким обаятельным «Гитаристом»? Это он, Тропинин, подарил всем будущим поколениям россиян облик «первой любви России» — Пушкина с заветным перстнем-талисманом на пальце, который так и не уберег, не спас...

Но чья же память вместит всех тропининских героев? Известно более пятисот картин художника, разбросанных по разным музеям и собраниям. Портрет Щепкиной я никогда раньше не видела. И чем больше смотрела на него, тем отчетливее ощущала — приманила меня эта красавица с розой в черных кудрях. И не отпускает.

В.А.Тропинин. Елена Дмитриевна Щепкина

Среди портретов как в людской толпе: на кого-то глядишь равнодушно, а то и неприязненно. Или вдруг проникаешься безотчетной симпатией. Но почему? Прав Сумароков: «...В телесных видах сокрываются тончайшие качества душевные».

Лицо Щепкиной выдавало «тончайшие качества душевные». Я смотрела на нее и напрашивалась на дальнейшее знакомство. Подумала: «Конечно, не все, но кое-что о вас мне уже известно, прекрасная незнакомка. Спасибо экскурсоводу. Вы не просто чья-то жена, а жена гениального русского актера. Пушкин буквально засадил его за воспоминания, даже первую строчку написал за него. Не может быть, чтобы Михаил Семенович не рассказал о вас...»

Желанное знакомство оказалось делом простым. И Щепкин рассказал, и не только он. «Е.Д.» с мужем были редкостной парой. Они остались в памяти очень многих людей, а те не жалели времени и бумаги, чтобы потомкам было что почитать. Самое же главное то, что моя псковская «Е.Д.», хотя и в полном пренебрежении к правилам грамматики, зато искренне и с редкой памятливостью, однажды взялась поверить бумаге далекие события своей молодости.

* * *

В 1791 году во время Турецкой войны среди дымящихся развалин крепости Анапы русские солдаты услышали детский плач. Приглядевшись, в дыму еще не отгремевшего боя они

заметили девочку примерно двух лет. Она копошилась среди мертвых тел, теребя их, кого-то звала и снова начинала надрывно плакать. Солдаты уже хотели идти прочь — не такой был момент, чтобы заниматься ребенком, но не удержались и, закутав малышку в какое-то полотнище, решили пристроить ее в ближайшей деревне. Однако прежде показали находку своему офицеру.

— Ваше благородие, ребеночек. Вроде девочка. Что прикажете делать?

Тот, взглянув на хорошенькое личико, все в разводах сажи и слез, подумал и сказал:

— Возьму-ка я ее себе на счастье. Выкормлю и выращу как могу. Поместите, ребята, девочку у меня.

Видно, малышка-турчаночка все не могла успокоиться, и однажды, проходя мимо офицерской палатки, князь Дмитрий Орбелиани услышал детский плач. Солдаты ему рассказали что и как. Пристал князь к офицеру:

— Ты человек бедный, а ребенок денег требует. Девочке кормилица нужна. Отдай ее мне. Я в Моздоке окрещу ее, воспитаю и, ей-ей, сделаю счастливой.

Ну так уговаривал, что офицер дрогнул, отдал турчаночку. Князь окрестил ее с одной офицерской женой, которую звали Елена Сергеевна. Назвали девочку по имени крестной матери — Елена, отчество дали по имени крестного отца — Дмитриевна. И фамилию записали — Дмитриева.

Елена Дмитриевна Щепкина в своих воспоминаниях рассказывала, что отлично помнит себя четырехлетней. Помнит кормилицу, ее детей, которые считали турчаночку младшей сестрой, помнит свое нарядное платье. Девочку в горном Моздоке князь велел одевать по-русски. Ей сшили шелковое платье по тогдашней моде: с огромной торчащей юбкой, которая держалась на подушечках, прикрепленных на боках. Пунцовый цвет очень шел черноволосой пригожей турчаночке. Она была похожа на куклу-фрейлину, и Орбелиани, приезжая проведать крестницу, не спускал ее с рук.

Елена росла, не подозревая, что кормилица не родная мать, а ее дочери не родные сестры. Девочку любили, но хлопот с ней было много. Живая, непоседливая маленькая егоза то и дело, убежав гулять, надолго пропадала. Добрая кормилица со слезами и воплями бегала по улицам, разыскивая ее. Ловкая, словно обезьянка, крестница князя Орбелиани забиралась на верхушки деревьев, вгоняя в страх все семейство.

Шалости шалостями, но маленькую Елену приучали к труду. У нее были свои обязанности — обычно она рвала листья для

шелковичных червей, разведением которых жила эта небогатая семья. Проворную девочку брали и на сбор ягод.

Однажды, уходя в церковь, кормилица наказала дочерям закрыть дверь и окна покрепче. Те, выполнив наставление, занялись кто чем. Елена толкла траву, которой красили ногти. Старшая, лет пятнадцати, Настасья, расчесывала перед зеркалом свои длинные волосы.

Вдруг стукнуло что-то в кухне. Дети замерли, прислушиваясь. Через мгновенье дверь резко отворилась. На пороге стоял горец. Он приставил кинжал к груди Настасьи, девушка, потеряв от страха сознанье, сползла на пол. Горец подхватил ее и был таков.

Елена пулей выскочила на улицу — и в церковь к кормилице. Весь народ во главе со священником пошел к только что выстроенному, еще пустовавшему дому, где заперся горец с девушкой. Священник принялся увещевать его, а мужчины тем временем выламывали дверь. Дело было сделано быстро: у горца вырвали ружье, связали его, девушку же, лежавшую без сознания, унесли домой.

История, случившаяся в доме Елениной кормилицы, имела счастливый конец. Жених девушки, которую хотели похитить, поторопился со свадьбой, и через пять дней они обвенчались.

Вскоре после этого случая Елене, которой привольно жилось у добрых людей в горном селении, пришлось с ними прощаться. Князь Орбелиани затребовал ее к себе. Слез-то было! Еле оторвали Елену от кормилицы и названых сестер. «Провожатый был, видно, деревяшка, — вспоминала Щепкина. — Начал меня разными сластями унимать. Я его толкнула, сказавши: «Не хочу!» Бросилась в подушки, плакала, плакала и не опомнилась, как заснула...»

* * *

Начались странствия с места на место, из Анапы в Моздок, из Моздока в Польшу. Здесь Орбелиани передал девочку князю Салагову. Неясно, почему так вышло... Можно думать, что слишком резвый ребенок утомил жену Орбелиани. Салагов отослал девочку в Новгород, к своей супруге. С появлением воспитанницы у той не было отбоя от гостей: всем хотелось взглянуть на турчаночку.

— Алена, поди сюда!.. — звала княгиня воспитанницу.

Та выходила в турецком наряде, специально для нее сшитом: кафтанчик из полосатой материи, голубые атласные шаровары. Розовая рубашка была перехвачена широким поясом с пряжкой. На голове девочки красовалась красная шапочка, вышитая серебром.

К Алене относились хорошо, но того приволья, что у

кормилицы, здесь не было. К тому же озорнице не раз доводилось выводить из себя своих благодетелей. Салаговы старались приструнить воспитанницу, но наткнулись на характер ершистый и самостоятельный.

Однажды Алена увидела, как княгиня за какую-то провинность высекла дочь, а та у нее поцеловала руку.

— За что ты руку целовала? — озадаченно спросила Алена.

— За то, что маменька меня уму-разуму учит... — отвечала девочка.

— Я этого никогда не сделаю, — решительно тряхнула черноволосой головкой Алена. — Чтобы руку целовать за то, что высекли?!

Девочка оказалась очень смышленой, легко выучилась читать, считать, но всего более удивительно то, что она очень рано научилась отличать дурное от хорошего. Ее пробовали подсылать в людскую, чтобы узнать, какие разговоры идут о хозяевах, но это вызывало у Алены протест: «Я не сродна была на это... Я всегда это считала низким для меня...»

Безыскусственно и искренне, самыми простыми словами описывает Щепкина таинственный процесс пробуждения женственности, ту неуловимую пору, когда кокон превращается в бабочку.

В Туле, куда перевели полк Салагова, хорошенькая, как кукла, турчанка оказалась в центре внимания на местных балах и обедах. Гусары-усачи говорили ей: «Поцелуй!» — и дарили конфеты.

Алене очень хотелось выглядеть взрослой барышней. Она упросила княгиню купить ей туфельки на каблуках, стала вертеться у зеркала и однажды, желая стать еще пригожее, остригла себе ресницы, за что чуть было ее не выпороли. На ночь, подсмотрев, как это делает княгиня, натерлась кислым молоком.

«Все проказы мои тем не кончились, — вспоминала Елена Дмитриевна. — Нет, тем не унялась. Мне очень нравилось, что напереди у всех женщин хорошо, я давай и себе устраивать так же... Напихала себе оба чулка за пазуху и старалась, чтобы возвышение было выше. Я почти оба чулка на одну сторону запихала и сделала себя кривой, но была очень довольна. Прихожу к княгине и стою возле нее, она смотрит на меня и сейчас заметила и говорит: «Что это?.. Посмотри, мать моя, что она себе за пазуху наклала!»

Как иногда шутят с красивыми девочками, Алене говорили, что один человек хочет жениться на ней — только, мол, у господ разрешенье получит. На это Алена важно отвечала:

— Пусть прежде спросит, пойду ли я за него. Меня никто

принудить не может. Я турчанка и вольная.

— Ишь, какая гордая... — смеялись в людской.

— Конечно, я за господского человека не выйду никогда!

Где семилетке, только что молочные зубы потерявшей, знать, что будет годков так через двенадцать? А ведь выйдет за господского, за крепостного, ничего не убоится... Но я еще не рассказала, какие таланты открывались в турчаночке, уже переставшей быть озорной малышкой.

* * *

К одиннадцати годам девочке снова пришлось поменять крышу над головой — Салаговы отдали Алену в офицерскую семью Чаликовых. Однажды к ним пришла соседская девушка в нарядной кофточке. Алена быстро сообразила, как надо сделать выкройку, и, к всеобщему удивлению, сшила кофточку, не хуже заправской портнихи. Руки у девочки оказались золотые: она научилась прекрасно вышивать, и гусары сулили ей 25 рублей, чтобы она им золотом да серебром расшила двуглавых орлов на офицерских сумках.

Разумеется, красивая девочка-подросток притягивала к себе пылкие взоры офицеров, среди которых по воле судьбы росла. И ее молодое сердечко не было вполне равнодушно ко вниманию удальцов в расшитых доломанах.

Пожалуй, лишь один из них, высокий, богатырского сложения, обросший густыми усами и бакенбардами, внушал ей ужас. Завидя его, Алена старалась поскорей удрать.

— Куда? Вернись-ка, голубушка!.. — кричала ей вслед Чаликова.

— Боюсь, страшный какой...

Слух о том дошел до офицера-богатыря.

— Каково же! Меня она боится! Чем же я вам, Аленочка, страшен кажусь?

— Да волосами очень уж обросли...

— Что же делать? Так надобно для того, чтобы иных детей пужать! Но тебе, моя турчаночка, нечего бояться. Вот скоро я уеду, посиди хоть немножко с нами...

На прощанье великан просил девочку: «Вот теперь поцелуй меня, я уезжаю, и, может, мы никогда не увидимся».

И правда, больше они не увиделись. А великан этот был один из самых прославленных русских генералов, герой войны 1812 года Яков Петрович Кульнев. Храбрец и добрейшая душа, он пользовался любовью не только у себя, но и во вражеском стане. Шведы, зная о его рыцарском поведении по отношению к населению, избегали стрелять в него.

Кульнев героически погиб вскоре после начала войны с

французами, не успев исполнить своей мечты, о которой как-то поведал брату: «...Не выходит у меня из головы поймать Бонапарте и принести его голову в жертву наипервейшей красавице; не назови это химерою, ибо все на свете сотворено для прекрасного полу».

Браво, Кульнев! Жаль, что пригожая турчаночка не отгадала в вас тогда героя и рыцаря. Ей, молоденькой дурочке, был по сердцу другой...

* * *

Зачастил к Чаликовой гусар Лосев. Тогда мода пошла — мужчины стали носить сережку в одном ухе. Вот он и говорит Алениной покровительнице: мол, ухо проколол, нет ли сережки на короткое время. Чаликова ответила отказом, но обратилась к Алене: «Нет ли у тебя?» Девушка вспыхнула, вынула из уха сережку и протянула Лосеву.

Через некоторое время Алена напомнила гусару о ней. А он шепнул ей на ухо: «Как сделаетесь моею, тогда и отдам».

Стал Лосев осаждать Алену. Подослал к ней жену своего денщика.

— Мой барин покоя не дает, просит вам сказать, что влюбился смертельно и желает на вас жениться. Да только такую молодую вас не отдадут, а потому просит он поверить ему. Уедете с ним в другую деревню и там повенчаетесь. Так что передать барину?

Осторожная Алена, как ни ныло ее сердечко по бравому гусару, ответила решительно:

— Я на это никогда не соглашусь. У меня есть благодетельница. Пусть поговорит с ней. Коли даст она согласие — выйду. А увезти себя не позволю. Я наложницей быть ни у кого не соглашусь...

— Ах вы, матушка, да сжальтесь, пропадет мой барин-то. Он сказал, когда вы ему откажете, то он будет развратную жизнь вести, и пить, и гулять, и что вы будете всему виноваты... Сжальтесь...

Но Алена брови сдвинула:

— Ступай, и больше я с тобой говорить не хочу. Барину же своему передай — никогда на это не соглашусь ...

Однако где было девочке-подростку знать, какую интригу затеял против нее Лосев: сказал Чаликовой, что, мол, дала слово уехать с ним. Крупный скандал вышел. Алена целый месяц оплакивала свою несчастную любовь. Гусар же искуситель, казалось, навсегда скрылся с ее горизонта.

И вот однажды сидит она со своей опекуншей в гостиной у окна и видит, кто-то едет в санях, пьяный- препьяный. Песни

поет. Чаликова присмотрелась, так и ахнула: «Это же Лосев! Что с ним сделалось, с бедным, как жаль его! Примерный был офицер, никогда не видела, чтобы он был пьян. Слава Богу, мужа нет...»

После истории с Лосевым Чаликов строго-настрого запретил своей жене пускать офицеров в детскую, где вместе с дочками хозяев жила и Алена.

Прошло некоторое время, и вот, когда Чаликовых дома не было, перед глазами Алены в ее комнате появился Лосев.

— Как вы вошли сюда? — ужаснулась девушка.

— Узнал от человека, что вы одни, — чистосердечно признался Лосев. — Попрощаться пришел. Совсем еду в Петербург.

У Алены душа замерла, но она постаралась ответить как можно спокойнее:

— Счастливый вам путь.

— Я прошу вас проститься со мной хорошо, а мне этих слов недостаточно. Может, в последний раз видимся!

Он подошел к девушке и прижал ее так крепко к себе, что ей показалось, сейчас задохнется. Поцеловал и отпустил. Алена упала на подушку, услышала быстрые, удаляющиеся шаги и стук захлопнувшейся двери. Вот и всё. Кончилась ее первая любовь.

«Ну, что я тогда перечувствовала, когда меня он поцеловал: стыд, гордость, меня мучило, что мужчина в первый раз в жизни меня поцеловал. Любимый мужчина. Я за грех почитала любовь, думала, он меня унизил... Мне стыдно было и глядеть на свет Божий. Да кому было и рассуждать — мне тогда только десять минуло, одиннадцатый пошел. Я начала задумываться и плакать, ибо я поняла, что я его любить стала... И так он уехал навсегда, и никогда я с ним не виделась. Вот тут я поняла, что я очень его любила, и дала себе слово, когда человек найдется, который будет на него похож, за того и выйду, разумеется, прежде полюблю», — на склоне дней своих писала старушка Щепкина, вспоминая свою первую любовь. А ведь так и случилось!

* * *

Однажды Веригин, берейтор графа Волькенштейна, служивший раньше у Салаговых, расхвастался перед актером крепостной труппы Михаилом Щепкиным, что, мол, у него в любовницах не какая-нибудь конопатая Лушка, а самая настоящая турчанка. Легко представить, какое впечатление могли произвести такие разговоры в курском захолустье! И видимо, произвели, если Щепкин сказал:

— Не верю, Веригин! Покажи мне ее...

— Изволь! Только просто так граф в Ахремовку, где живет моя любезная, не отпустит! Надо что-то придумать...

Им сопутствовала удача. Повод заявиться туда возник сам собой: граф, театрал и меломан, снарядил несколько понимающих в музыке людей, прослышав, что в деревне Ахремовке, где было имение Чаликовых, продаются духовые инструменты.

Наверное, все двадцать пять верст пути они проговорили о «предмете» берейтора, потому что Елена Дмитриевна вспоминала, что, появившись в помещичьем доме, молодые люди глядели все больше на нее, чем на флейты с трубами.

Алена старалась этого не замечать, разговаривала с гостями сдержанно, с достоинством. Ей очень хотелось разглядеть того, кто назвался Михаилом Щепкиным. Но ей почему-то казалось, что если она подымет на него глаза, то обязательно встретится с его внимательным взглядом. Смущенная этим чувством, она под каким-то предлогом поспешила уйти к себе.

Жизнь научила Алену осторожности. Ее красота и беззащитное положение приживалки-воспитанницы не давали покоя многим любителям легкой добычи. Судьба как бы испытывала, насколько душевно выношлива эта семнадцатилетняя девушка без родного человека-советчика рядом.

Сколько разных лиц, опасных и искусительных житейских ситуаций возникало на ее пути! Легко ли с него не сбиться?

Веригин не сомневался в доступности красивой турчанки и потому, оговорив ее перед Щепкиным, особого греха за собой не чувствовал. К тому же, в бытность свою учителем у Салаговых, он испытал на себе неприязнь Алены. Прямодушная, не терпящая несправедливости, она открыто возмущалась грубым обращением с мальчиками Салаговыми, у которых Веригин тогда был учителем. В конце концов Веригина прогнали. Он оказался в берейторах и теперь, вспомнив прошлое, не упустил случая расквитаться.

И просчитался. Более того, оказался невольным благодетелем двух людей, как будто созданных друг для друга. Один только прелестный облик Алены, ее спокойствие и достоинство, с которым она себя держала, для Михаила тотчас свели на нет гнусные байки Веригина.

...Они влюбились друг в друга в первую же встречу, хотя, как Елена Дмитриевна говорила: «Я того не показывала». Зато Михаил был весь как на ладони, и стоило гостям уехать восвояси, как в доме Чаликовых стали говорить, что, мол, дело яснее ясного — приглянулась она Щепкину.

Между тем молодые люди, зависимые от желаний и прихотей своих хозяев, виделись очень редко. Елена Дмитриевна точно помнила — за два года четыре раза. Зато каждая встреча

становилась событием. Однажды случилось им быть вместе на святочных посиделках, когда так кстати задуло свечу и Михаил, воспользовавшись темнотой, чмокнул ее в щеку. В другой раз он подарил ей две банки помады. И вот как-то Алена увидела Михаила на сцене. Он играл в маленьком провинциальном театре, и все, что там происходило, необычайно ее заинтересовало. Ах, какие тут говорили слова: любовь! страсть! измена! На глаза у зрителей наворачивались слезы. И у нее тоже. Особенно Алене понравился Щепкин.

Однажды девушке повезло, и ей удалось увидеть Петербург, где она побывала на настоящем придворном маскараде и вообще разных развлечений попробовала — качелей, горок. Но все это было несравнимо с театром. Петербургская сцена потрясла ее, и ничто для нее в этом городе более не существовало. Люди, бывшие с нею, пожимали плечами: «Живши семь лет в деревне, в глуши, приехавши в столицу, где все увеселения, ей, кроме театра, ничего не нравится!»

Но театр в ее душе теперь накрепко соединился со светлоглазым, живым и веселым молодым человеком, который писал ей письма с теми самыми словами, которые безотказно действуют на женское сердце вот уже не один век.

...Между тем об одном Щепкин умалчивал, все оттягивая и оттягивая тяжелое признание. Михаил боялся сказать своей ненаглядной турчанке, что он крепостной. Это сразу обозначило бы между ними расстояние, как от земли до неба. Выйдя за него, Алена становилась тоже крепостной. И граф Волькенштейн волен... Ах, разве он, играя слугу Розмарина в сумароковской «Вздорщице», не восклицал да и в жизни не видывал: «Стегают и людей без вины иные господа, да и продают их так же, как и лошадей...»!

Когда Алена все узнала, было уже поздно. Она любила безоглядно. Показала Мишины письма своей благодетельнице Чаликовой. Та читала их, читала, потом задумчиво сложила стопочкой и, вздохнув, сказала:

— Вспомнила я, мне муж писал, когда в женихах был. Куда-то их полк уходил, и такие письма я получала, что стала его любить. Слова-то, они власть имеют, и твой, по письмам, умен и тебя любит. Да только не об этом речь сейчас... Ты посуди, Аленушка. Он — господский человек! Как же тебе в неволю пойти?! Своими-то ногами? Хоть я и знаю, что нет ужаснее безнадежной любви. Не дочь ты мне, а как дочь. И сердце мое разрывается. Если б были деньги у меня, выкупила бы друга твоего. Решай, Аленушка... Сколь могу — помогу. И вид дам...

— Я все буду сносить с терпением, ибо сколько я его люблю...

Все равно не переживу, когда за него не выйду.

В 1812 году Алена Дмитриевна стала женой провинциального крепостного актера Михаила Щепкина.

* * *

Однажды, когда Елена Дмитриевна уже была замужем, до нее дошли слухи, что семья турецкого паши, приехавшая в Петербург, разыскивает дочь, пропавшую у них при взятии Анапы. Обещали большое вознаграждение тому, кто укажет ее следы. По слухам, турецкому владыке было известно, что дочь находится где-то в России: видели, как ее подобрали русские солдаты.

Как пишет невестка Щепкиных в своих воспоминаниях, Елена Дмитриевна была уверена, что разыскивают именно ее: в своем происхождении она не сомневалась. Люди, у которых ей довелось побывать в воспитанницах, не делали из этого секрета и довольно подробно обо всем рассказали. Да и объявленные приметы совпадали. К тому же во внешности Щепкиной сразу был виден Восток: оливковый цвет лица, смоляные волосы и глаза — очи, словно с персидских миниатюр. Однако привычки и пристрастия никак не выдавали происхождения Щепкиной. Кроме одного — она любила сидеть, подогнув ноги...

Но Елена Дмитриевна желала, чтобы в ее судьбе все осталось так, как свершил случай и любовь к Михаилу Щепкину. И посланцы турецкого владыки уехали домой ни с чем...

Между тем любви Щепкиных предстояло выдержать немалые испытания, и среди них для многих сокрушительные: домашнюю неустроенность, постоянные денежные нехватки. Долгие годы жалованье молодого актера Щепкина было так скудно, что, по воспоминаниям, о нем не стоило даже говорить.

Театральные труппы, где он играл, кочевали в поисках хороших сборов с места на место, а актерские семьи следовали за ними. Едва успевала Елена Дмитриевна обустроить какой-нибудь холодный угол на время гастролей, как подходило время снова собирать корзины, сниматься с места и ехать дальше. Полтава, Харьков, Тула, Курск, Ромны, Кременчуг и целая вереница Бог знает каких, не помеченных на картах селений, местечек — жизненный путь актера Щепкина, многотрудный и тернистый путь, полностью разделила его верная подруга.

...Иногда денег не хватало даже на переезд и первое обзаведение. Тогда Щепкин уезжал с труппой и, заработав, что-то присылал жене. Она снова упаковывала вещи, собирала ребятишек, которых исправно рожала мужу, и ехала на новое место.

Чудесный дар Щепкина не спасал убогие, наспех поставленные спектакли, и сборов почти не было. Однажды на

одной из ярмарок, где играла труппа, дела пошли вовсе неважно. Щепкин жил у приютившего его купца-театрала Заикина. Раз тот заметил, что Михаил Семенович уронил письмо. Любопытный купец, думая, что это любовная записка, тайком прочел его. А письмо было от Елены Дмитриевны. Жаловалась она, что сидит без копейки, ума не приложит, как быть и что делать.

Заикин немедленно пошел по знакомым и всюду, показывая письмо, просил помочь актерскому семейству. Быстро собрал рублей сто и, вручая их Щепкину, выговаривал ему за скрытность и недоверие к зрителям, которые, хоть их и мало, ценят его талант. «Не ходить же мне, в самом деле, просить милостыню...», — смущенно отвечал актер.

Всеми силами старался Щепкин вырваться из крепостной зависимости. Подмогой ему был великий талант и всероссийская слава, которая делала его рабское положение в глазах общества недопустимым. В судьбе Щепкина приняли участие многие замечательные люди: известный гуманист того времени князь Н.Г.Репнин, декабристы М.И.Муравьев-Апостол, С.Г.Волконский, писатель И.П.Котляревский и другие. Только в 1821 году Щепкин, его жена и дочери стали свободными. Сыновья же еще оставались крепостными.

На тропининском портрете Елене Дмитриевне тридцать семь лет. Позади четырнадцать лет жизни с великим актером, одним из самых замечательных людей той эпохи. В письмах к жене Щепкин пользовался особым «любовным шифром»: подписывался не «Миша», а «Маша». К ней же обращался: «Друг мой Алеша...» За этой словесной игрой чувствуется радостная покорность, с которой несравненный, единственный, обласканный российской публикой Щепкин уступал своей Елене Дмитриевне бразды правления в их семейном дуэте. Он был укрыт ею от житейских бурь в надежном убежище, возведенном ее терпением, умом, добротой и женской мудростью.

Лишь в 1823 году, после более чем десятилетних странствий, семейство Щепкиных осело в Москве. Михаил Семенович блистательно здесь дебютировал и скоро занял место ведущего актера. Слава его, великолепного мастера сцены, из года в год поднималась все выше и выше. Стало ясно: имя Щепкина навсегда останется в плеяде светочей русской культуры. Что же Елена Дмитриевна, верная «Алеша»?

История предпочитает не замечать, что ее герои осаду священного Олимпа начинают с колыбели, пеленок, материнских рук и их судьба в немалой степени зависит от той, что в счастливый или недобрый час встретилась на жизненном пути.

Справедливости ради надо сказать, что и среди жен есть свои

таланты, свои непревзойденные образцы. И Елена Дмитриевна по праву достойна лаврового венка, но не как муза науки или искусства, а как доброе божество домашнего очага. Это талант, ни с чем не сравнимый.

Как часто женщины не облегчают, а донельзя усложняют, а порой приводят к безвременному роковому концу жизнь гениев. Они вовсе не злодейки. И можно ли их укорять в отсутствии редчайшей, но необходимой для жизни с гением способности — самозабвения?

* * *

Карьера Щепкина-актера складывалась небезмятежно, что вполне понятно — его манера игры сближала театр и реальность. Это было слишком необычно, чтобы нравиться консервативной публике. «Я помню, — писал Михаил Семенович, — считалось невозможным говорить на сцене просто и непринужденно, как говорят в жизни. Это считалось неприличным для сцены...»

Кроме того, его мучил «мелкий» репертуар, о чем приходилось спорить, недружелюбие и зависть некоторых коллег, с чем приходилось смиряться. Играл он почти каждый день роли, далеко не всегда для него интересные.

Но вся тревога и неудовлетворенность утихали, когда Михаил Семенович возвращался в благодать своего дома, где всем правила его «Алеша».

А это «все» к 1831 году состояло из двадцати четырех человек — целая коммуна, в которой всем хватало теплоты и внимания. Откуда же взялось такое большое семейство?

К шести собственным детям добавились сироты товарища Михаила Семеновича по провинциальным гастролям Барсова и дочь разорившегося купца, подруга его дочерей, которую он взял на воспитание. Щепкин перевез к себе всю родню с престарелым отцом во главе: брата, двух сестер, матушку — под опекой своей турчанки-невестки она дожила чуть ли не до ста лет.

Но самое главное, Щепкины давали приют престарелым актерам, часто бессемейным, никому не нужным.

— Ах, жалко мне эту старуху. Она совсем одинока. Я просил ее переехать ко мне жить. Ты как, Алеша?

— Ну, что же, Мишенька...

Такие диалоги между Еленой Дмитриевной и Михаилом Семеновичем заканчивались тем, что в доме появлялся новый человек. В результате, как писал знакомый Щепкина, «это было что-то вроде домашней богадельни, порученной заботливой жене его...».

За первые восемь лет службы в Малом театре Щепкин скопил денег и купил дом с большим палисадником для своего

обширного семейства. Он был очень рад возможности преподавать в театральной школе, так как это давало приработок. Из Елены Дмитриевны получилась хорошая экономка и хозяйка, которая многое умела делать собственными руками. Ее жизненный опыт сослужил ей добрую службу: она привыкла довольствоваться для себя малым и истинное удовольствие находила совсем не в том, что обычно радует женщин.

Многочисленная молодежь, приходившая в их дом к щепкинским детям, особенно любила «оседать» в комнате Елены Дмитриевны. Шум, гам и молодые, а потому развеселые разговоры ей не мешали, как, впрочем, и старушечье ворчанье. Гости разных сословий и возрастов чувствовали себя желанными, своими в этой семье. «Все в ней деятельно суетились, шумели и о ком-нибудь заботились, и все в ней было полно жизни в самых разных проявлениях, — свидетельствовали очевидцы. — По комнатам двигались дряхлые старушки в больших чепцах; тут же расхаживали между ними молодые студенты, сыновья М.С.Щепкина и их товарищи. Часто среди них появлялись молодые артистки, вместе с ним игравшие на московской сцене, и подходили к хозяину с поцелуями. Поцеловать М.С.Щепкина считалось необходимым. Его обычно целовали все — молодые и пожилые дамы, и знакомые, и в первый раз его видевшие: это вошло в обычай. «Зато ведь,--- говорил М.С.Щепкин, — я и старух целую». Он пояснял этими словами, какую дань он платит за поцелуй молодых дам.

Случалось, что полная, округлая фигура хозяина дома показывалась глубоко за полночь: Михаил Семенович был дорогим гостем во многих домах, любил посидеть, поговорить, в картишки «по маленькой» перекинуться. А Елена Дмитриевна до этого была не охотница, да и годы брали свое. И что же? «Пусть их... — улыбалась она. — Ему же веселее, и развлечение ему. А я на старости лет полюбуюсь на него, что он не хандрит».

...Щепкины потихоньку старели, но рядом подымалась молодая поросль: бегали внуки, обожавшие деда с бабкой. Старики, не заботясь о покое, не спешили отделять детей. Здесь радовались новой жизни, наставляли, учили, женили, провожали в последний путь. И это касалось совсем чужих людей.

Дом Щепкиных, уже знаменитый на всю Москву, для многих являлся идеалом семьи. Его стены оставались недоступны злу, людскому равнодушию. Здесь десятилетиями текла жизнь, свободная от эгоизма, накопительства и фантастически богатая тем, что не купить ни за какие сокровища мира...

Тот век прошел, и люди те прошли;

Сменили их другие...

* * *

Как ни печально, к преддверию «гроба рокового» человек добирается не только с истерзанным временем телом, но и с душой, уязвленной одиночеством, опустошенностью, разочарованием в лучших своих надеждах.

Семейный союз Елены и Михаила Щепкиных — счастливое исключение. Они сошли в могилу, ничем не опечалив сердца друг друга, не растеряв тех душевных качеств, в которых человечество нуждается больше, чем в гениальных озарениях. Вполне возможно, что первое было следствием второго.

Елена Дмитриевна не изведала старческого уродства и в преклонных летах отличалась особой осенней красотой — верный признак добрых, незлобивых душ.

...Я в последний раз, словно прощаясь с живым человеком, смотрю на портрет. Роза в черных кудрях «верной Алеши» так нежна и свежа, будто срезана только что в ее московском палисаднике, а не целых сто семьдесят лет назад.

ПИСЬМО ДЛЯ АЛЬФОНСИНЫ

В гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. — Ars Amandi
Женщине — вся земля.
Сердце — любовных зелий
Зелье — вернее всех.
Женщина с колыбели —
Чей-нибудь смертный грех.

М.Цветаева

В середине прошлого века в необычайную моду вошли камелии. Цена на них вдруг резко подскочила. Букет из камелий стал изысканным и желанным подарком.

Это неожиданное пристрастие к цветам, довольно скромным на вид, было эхом романтической и печальной истории, некогда происшедшей в Париже.

Как странно устроено человеческое сердце! Оно забывает громкие исторические события, стоит им только отбушевать. Оно не утруждает порой себя памятью о людях, вполне того достойных, немало потрудившихся для потомков, добродетельных, отмеченных необыкновенным умом и способностями.

И оно же, это глупое, необъяснимое сердце, ни в какую не хочет предать забвению то, что, казалось бы, не имеет большого значения ни для прошлого, ни для настоящего, ни для будущего. История молоденькой парижанки, умершей ровно сто пятьдесят лет назад, лишний раз подтверждает это.

Между тем ее имя волновало людей гениальных, которые, кажется, могли употребить свой дар на что-либо более значительное. Но они посвятили этой женщине страницы, которые читают и по сию пору. В ее честь звучат бессмертные мелодии. Самые талантливые и красивые актрисы мира считали за великое счастье воплотить ее образ на сцене и на экране.

Но может быть, самое главное, что помимо собственной воли удалось совершить «порочному ангелу Парижа», — это пробудить в человеческих сердцах способность к сочувствию и милосердию — качества, несмотря на всю их простоту, такие редкие в нашем мире.

* * *

Альфонсина родилась в 1824 году в Нормандии. Семья жила

в деревне Сен-Жермен-де-Клерфей и едва ли могла считаться образцовой. Папаша Марэн, глава семейства, был известен неистребимой страстью к бутылке. Про мать, правда, ходили глухие слухи, что она была благородного происхождения. Какие-то жизненные перипетии обрекли ее на печальное существование с пьяницей, от которого она, оставив двух маленьких дочерей, все-таки сбежала в Париж. Там ей удалось устроиться горничной в богатый дом. Она умерла, когда старшей дочери, Альфонсине, исполнилось восемь лет.

Без присмотра, без дела, кое-как перебиваясь скудным куском в опустошенном отцовским пьянством доме, Альфонсина часто бродила по деревне в еще материнских обносках. Под этими лохмотьями взрослело, вопреки всему наливалось соками жизни ее тело — будущий фетиш, искус и дорогостоящее удовольствие парижских нуворишей.

Альфонсина, незаметно перебравшись в отрочество, влюбилась в парня, который работал на местной ферме. Тот оказался не промах, и скоро в деревне заговорили, что дочка пьяницы оставила свою девственность под зарослями ежевики. Это происшествие, давшее пищу для разговоров местным сплетницам, в конце концов могло бы окончиться для Альфонсины вполне благополучно. Подняться с помятой травы женихом и невестою — дело, особенно для деревни, обыкновенное. Но малый с фермы вовсе не имел желания связывать себя с деревенской бродяжкой. На Альфонсину стали показывать пальцем, называли ее дурными словами.

Ее отец смекнул, что раз уж дочь пошла по дурной дорожке и ей нечего терять, то неплохо бы из этого обстоятельства извлечь для себя пользу. За сущий пустяк он отдал Альфонсину жирному трактирщику. Тот, попользовавшись тринадцатилетней девочкой год, вернул ее обратно. Альфонсина пошла работать в местную забегаловку, а потом определилась работницей в мастерскую, где делали зонты.

В конце концов папаша Марэн, стараясь избавиться от испорченной девицы, посадил дочь в дилижанс, конечной остановкой которого был Париж. Когда молоденькая девушка без денег в одиночку отправляется в такой погибельный город, «чтобы хорошенько устроиться», можно довольно точно сказать, как именно она будет зарабатывать на жизнь.

Альфонсина приводила в свой темный угол студентов, тискавших ее на танцульках. Это была добавка к скудному жалованью швеи. Один из будущих поклонников осыпанной бриллиантами знаменитой Дюплесси вспоминал, как встретил ее грязную, голодными глазами смотревшую на продавца жареного

картофеля... Не отрицая, что и в отвратительном наряде девушка была очаровательна, он все-таки не мог взять в толк, какие силы в столь короткое время могли превратить жалкую уличную проститутку в по-королевски роскошную изысканную женщину.

Восхождение Альфонсины действительно было стремительным. В одно из воскресений она с подругой отправилась в Сен-Клу в надежде подцепить какого-нибудь денежного красавчика. Затея, однако, не удалась, и девушки нашли дешевый ресторанчик, чтобы перекусить на собственные деньги.

Они весело болтали, когда к их столику подошел важный господин, представился хозяином ресторана и, спросив, вкусна ли еда, обратился к Альфонсине:

— Позвольте узнать, как вас зовут, мадемуазель?

— Мари Дюплесси, — ответила Альфонсина.

— Прелестное имя... И как оно вам идет! — пожирая ее глазами, улыбался толстяк.

Когда он отошел, подруга зашептала:

— Что на тебя наехало? Какая Мари Дюплесси?

— Ах, ты не понимаешь... Когда-то, когда я была совсем маленькой, моя бедная мама возила меня к крестной. Я помню красивый дом, цветы вокруг, белый мостик через ручей. Это место называется «Дю Плесси». Всего две буквы — и слово звучит так прекрасно... А Мари? Так звали мою мать. И так зовут Святую Деву. Верно?

Альфонсина не сказала подруге, что, пока та отлучалась поправить что-то в своем туалете, толстяк ресторатор снова подходил к их столику и предлагал приехать снова, но одной.

— Не забудь, меня зовут Мари Дюплесси, — сказала она подруге, обмениваясь с нею поцелуями, перед тем как расстаться.

...Через неделю Мари Дюплесси покинула свою комнатушку в Латинском квартале, где студенты оставляли ей на не слишком свежих простынях по нескольку франков.

* * *

Ресторатор поселил ее в нарядной квартирке, и Мари почувствовала себя на небесах. Теперь она не знала голодных вечеров и даже смогла исполнить свою давнишнюю мечту: купить пару ажурных шелковых чулок.

Еще больше похорошев от спокойной жизни и отоспавшись на мягкой постели, Мари однажды покинула свое гнездышко и показалась в театре. Этого было достаточно, чтобы ресторатор навсегда исчез с ее горизонта.

Скоро она стала любовницей человека с титулом, увидевшего ее в зрительном зале. Эта связь оказалась чрезвычайно полезной

для начинающей куртизанки. Она открыла ей двери, за которыми собирались богатые мужчины, жаждавшие необременительных связей с юными и красивыми жрицами любви.

На одном из балов, которые давались за такими дверьми, Мари привлекла внимание молодого светского льва Аженора де Гиша, будущего министра финансов Франции. Познакомившись с Дюплесси, он предоставил в ее распоряжение финансы свои собственные, и Мари смогла покупать предметы роскоши, которыми раньше лишь любовалась издали у витрин модных лавок.

Любая красота требует достойной оправы. Платья, купленные у сверхдорогой портнихи госпожи Пальмиры, и изящные безделушки, подаренные Аженором де Гишем, сделали свое дело. Первый же выход молодого герцога с новой любовницей в Оперу заставил обратить на них внимательные и завистливые взоры. Ах, какое это было удовольствие видеть, как головки дам с затейливыми прическами, будто ненароком, едва сдерживая нетерпение, поворачиваются в твою сторону.

Медленно, словно в рассеянности, Мари обводила прекрасными глазами партер и ложи. Лорнет подрагивал в ее руке. Она смотрела на мужчин. Мужчины на нее. Во сколько может обойтись эта только что засиявшая звезда греха и наслаждений? — читала Мари в этих взглядах и была довольна.

К ней наконец-то пришла уверенность. Если деньги, перепадавшие ей раньше от мужчин, казались случайным везением, неожиданным подарком судьбы, то теперь Мари знала: ее лицо, тело, ее чувственность — вот товар, за который можно спросить дорогую цену.

И Мари научилась спрашивать. Призрак прежней нищеты все еще стоял перед ней. Она употребляла все усилия, чтобы он рассеялся окончательно, и, как ребенок, хватающий в магазине игрушек все подряд, заботилась, чтобы ни один кавалер со звонкой монетой в кармане не миновал ее алькова. У Дюплесси была наперсница, которая поставляла сведения о всех кандидатурах, способных хорошо заплатить за любовь.

В короткое время у ног Мари оказались самые блестящие мужчины Парижа, наследники древних высокородных семейств. Великолепно образованные, воспитанные в строгих традициях элитарной культуры, они волей-неволей помогли Мари окончательно изжить замашки нормандской крестьянки и разбитной подружки горластых студентов. Сказались также ее природная восприимчивость, врожденная тяга к утонченному и изящному.

Казалось, она родилась в родовом поместье, куда запросто

наезжали короли, аристократизм впитан ею с молоком матери, а гувернантки и воспитатели не даром ели господский хлеб, выпустив в свет существо невинное и возвышенное, лишенное малейших представлений о пороках, снедающих человечество. И это не было притворством. Одаренная натура двадцатилетней куртизанки действительно тянулась к тому, что показалось бы смехотворным ее подругам по несчастному ремеслу.

У Мари Дюплесси, никогда не знавшей ни школы, ни учителей, была библиотека с томиками Рабле, Сервантеса, Мольера, Вальтера Скотта, Ламартина. Она чувствовала меланхолическую прелесть стихов Альфреда де Мюссе, которого принимала у себя, как, впрочем, и Эжена Сю, Бальзака, Теофиля Готье. Она зачитывалась романами Виктора Гюго. И неудивительно, что он вызывал ее преклонение, — хотя бы за то сострадание, с которым он описал печальную судьбу такой же, как она, куртизанки, Марион Делорм.

Дюплесси любила живопись, ездила по салонам, выбирая для себя картины. Она отдавала предпочтение сюжетам жизнерадостным, навевающим мысль о расцвете, грядущем тепле. И оттого в ее квартире было несколько полотен, воспевающих весну.

Дочка грубого папаши Марэна начала брать уроки музыки. Дело быстро пошло на лад, и скоро Мари играла на пианино несложные пьесы, но в ее исполнении было много чувства.

Особой привязанностью Мари Дюплесси был театр. Она относилась к нему по-детски восторженно, с благоговением, и недаром однажды Дюма-отец посоветовал ей идти на сцену. Ему казалось, что артистическая, эмоциональная натура девушки расцвела бы там пышным цветом.

Мари Дюплесси

То, что очень скоро вокруг Мари собрались не только прожигатели жизни, видевшие в ней красивую игрушку, но и люди литературно-художественных пристрастий, говорит само за себя. Она была выше, по-человечески значительнее и чище своей постыдной профессии. И это не могло не бросаться в глаза.

У Мари было много знакомых среди актрис. К тем, кто восхищал ее своим талантом, она искренне привязывалась, дорожила их добрым отношением и была с ними очень откровенна.

Примадонна театра «Варьете» Юдифь Берна, ставшая подругой Дюплесси, в своих воспоминаниях приводит ответ Мари на вопрос, почему та занимается проституцией.

«Почему я продаю себя? Потому что труд работницы не принес бы мне той роскоши, неодолимую тягу к которой я испытываю. Просто я хочу познать утонченные удовольствия, радость жизни в изысканном и культурном обществе. Я всегда сама выбираю себе друзей. И я любила. О да, я любила искренне, но никто не откликнулся на мою любовь. Вот в чем трагедия моей жизни. Нельзя иметь сердце и бьгть куртизанкой. От этого можно умереть».

Нечего и говорить, как уязвим этот ответ с точки зрения общественной морали. Любовь к роскоши! Лучше бы Мари сказала о боязни нищеты и голода. О том, что, родившись на свет, оказалась никому не нужной и, словно приблудная собачонка, рада была побежать за первым, у кого в руках не было палки,

делать то, что ей прикажут, из-за куска хлеба. Такие слова оправдали бы Мари. Очевидно, она была бесхитростна. Стало быть, тем более стоит верить ей: «И я любила. О да, я любила искренне, но никто не откликнулся на мою любовь...»

Сложись обстоятельства по-другому, в родной нормандской деревушке она садилась бы за стол для нехитрого обеда с работягой-мужем и прелестным ребенком, а то уже и двумя. И была бы счастлива этой долей. Недаром, наблюдая ее парижскую жизнь, роскошную и страшную, современники убеждались, что по натуре Мари — женщина, «которую ничтожный случай сделал куртизанкой, и куртизанка, которую ничтожный случай мог превратить в самую любящую, самую чистую женщину».

Но случая «не случалось»... Напротив, все убеждало Мари, что ее судьба предрешена.

* * *

Площадь Мадлен в Париже, пожалуй, одна из самых красивых. В немалой степени этому способствует ее главное украшение — церковь во имя Святой Марии Магдалины.

Вот уж поистине — к основанию этого здания сложили свои щедрые дары две богини: истории и архитектуры.

Говорят, что мысль о ее возведении принадлежала мадам Помпадур, некоронованной королеве Франции и, безусловно, одной из самых знаменитых «магдалин».

Церковь заложил сам король Людовик XV в 1764 году. Все было обставлено очень пышно и торжественно. Однако его фаворитке так и не удалось увидеть свою идею воплощенной: она умерла в том же году и, как рассказывают, перед самой кончиной набрасывала рисунок фронтона церкви. Глубоко символично, что этой женщиной, жизнь которой была в глазах церкви столь греховна, владела мысль о святом пристанище для тех, кто нарушил одну из Христовых заповедей и погряз в прелюбодействе. Здесь они могли бы исповедоваться, просить у Святой Марии Магдалины заступничества перед Всевышним за свою беспутную жизнь. Возможно, и сама маркиза Помпадур хотела бы, чтобы ее многогрешную душу священник напутствовал бы именно под сводами этой церкви, а бренные останки нашли бы приют на соседнем кладбище. Однако для маркизы Помпадур все сложилось иначе. Но грешницу, прекрасную, как ангел, знаменитую на весь роскошный и порочный Париж, здесь все-таки отпевали. Она была прихожанкой этой церкви и жила буквально в нескольких десятках шагов от нее. И, как догадывается читатель, звалась она Мари Дюплесси.

...Дом под номером 11 по бульвару Мадлен до сих пор стоит на своем месте. Разумеется, современные витрины на первом

этаже и офис британских авиалиний, расположенный там же, не красят его седины. Но дотошные исследователи любовной летописи Парижа, конечно, знают, что в 40-х годах прошлого столетия здесь жила и окончила свои дни знаменитая красавица — куртизанка Мари Дюплесси.

Квартира «принцессы наслаждений» находилась на втором этаже. Три высоких полукруглых окна, опоясанных балконом с изящной чугунной решеткой, как бы приглашают заглянуть внутрь и представить себе былое великолепие апартаментов, где, как вода в песок, истекали без следа быстротечные дни прелестной и пропащей Мари.

Огромные апартаменты отличались дворцовой отделкой. Здесь царствовал стиль рококо, утвердившийся некогда по воле мадам Помпадур. О фаворитке напоминали и принадлежавшие ей часы, бронзовые, позолоченные, украшенные фарфоровыми птичками.

Словно по какому-то тайному договору с давно отошедшей в небытие мастерицей любовной науки, в салоне Мари дремали дивные коллекции изящных вещей, которые в свое время так занимали мадам Помпадур. Редкие шедевры основанной ею фабрики в Севре, тонкий саксонский фарфор с куртуазными рисунками, грациозные кокетливые статуэтки, флорентийская бронза в шкафах Буля.

Здесь пели райские птицы, лишенные возможности из-за вызолоченных клеток оказаться на ветвях редкостных растений в кадках из полированного дерева.

В гостиной свет люстр дробился и множился в венецианских зеркалах, развешанных так, что создавалась иллюзия бесконечности пространства. Драгоценные гобелены несколько усмиряли это буйство огней и отражений. Мебель красного дерева дополняли светильники, литые фигуры из чистого серебра. Здесь стоял великолепный рояль «Плейель» из ценнейших пород дерева и с клавишами из слоновой кости: Мари нередко развлекала гостей вальсами и баркаролами.

Главным местом среди всего великолепия, неким алтарем в храме любви, была гигантская кровать причудливой формы из розового дерева с ножками, изображавшими фавнов и вакханок. Словно бутон с раскрывшимися лепестками, лежащий на траве, покоилась она на огромном, во всю спальню, ковре с растительным орнаментом.

В будуаре со стенами, затянутыми китайским шелком, стоял столик с семью ящичками. Это был подарок Мари от семи любовников, которые, не имея средств одним махом купить ее ночи, добыли себе право на розовую кровать как бы в рассрочку.

Сбросившись всемером, каждый из них мог раз в неделю навещать дом на бульваре Мадлен.

Но был человек, богатство которого позволило ему приобрести для Мари всю эту роскошь. И в сущности, именно ему по праву покупателя принадлежало в этой квартире все: от фарфоровой птички на часах мадам Помпадур до самой Мари Дюплесси.

...С графом Штакельбергом Мари познакомилась, когда ей исполнилось двадцать лет и она, самая элегантная, утонченная, манящая и пугающая дива, была живой достопримечательностью Парижа.

Восьмидесятилетний граф, в прошлом российский посланник в Вене, на склоне лет осел в Европе, где, всем пресыщенный и все повидавший, не находил применения своему громадному состоянию. Он был женат, но его брак выродился в чистую условность, впрочем им соблюдаемую. Штакельберг вообще был человеком традиций, закостенелым в аристократических предрассудках, и говорили, что на его званых вечерах гости неукоснительно рассаживались согласно своим титулам.

Мари в его жизни стала исключением из правил, последним щемящим чувством, в жертву которому Штакельберг принес все, даже собственное достоинство. Он отлично знал, что поторопился родиться и не мог дать Мари той любви, которой требовала ее чувственная и романтическая натура. Не желая становиться жертвой неотвратимого обмана, Штакельберг оставил право обитательнице особняка на бульваре Мадлен иметь стольких и таких любовников, какие ей будет угодно.

Впрочем, Мари обладала достаточным тактом, чтобы щадить чувства своего старого друга, и ее спальня оглашалась возгласами молодой страсти, только когда Штакельберг отбывал по семейным надобностям.

Современный кинематограф дал свою интерпретацию отношений знатного вельможи и молоденькой содержанки. Она-де напоминала тому умершую от чахотки дочь. Тем и объясняется золотой дождь, пролитый безутешным отцом на голову недавней уличной потаскушки. Однако эта версия не находит никаких реальных подтверждений.

Штакельберг оказался для Мари крепкой опорой в шаткой карьере куртизанки. Она тратила по сто тысяч франков золотом в год. Ее молчаливый русский покровитель оплачивал безумные счета за драгоценности, лучшие ложи в театрах, поездки на курорты, азартные игры — время от времени ей, ищущей сильных ощущений, случалось ими увлекаться. Штакельберг подарил Мари голубую двухместную карету. Запряженный прекрасными

лошадьми, этот выезд останавливал взгляды прохожих как зрелище, достойное изумления. В любое время года квартира Мари была заполнена диковинными цветами, специально доставленными издалека. Среди этой вечноцветущей оранжереи не было только роз. От них у Мари кружилась голова, поэтому она предпочитала скромные, непритязательные цветы без малейшего запаха — камелии.

Везде и всегда — в театре, на прогулках в знаменитой голубой карете по Елисейским полям, на балах полусвета, меняя туалеты, украшения, прически и кавалеров, Мари оставалась постоянной в одном: ее тонкие пальцы сжимали любимые цветы. Дама с камелиями — это прозвище напрашивалось само собой, ибо вполне отвечало таящему какую-то сокровенную тайну образу пленительной женщины.

Мари Дюплесси оставила объяснение своему предпочтению этим цветам:

«Я люблю засахаренный виноград, так как он без вкуса, камелии, потому что они без запаха, и богатых людей, оттого что они без сердца».

Последние слова загадочны. Любить богатых людей, потому что они без сердца? Следует ли это понимать так, что Дюплесси, продавая свою любовь то одному, то другому, была уверена, что ее покупателям, кроме плотских наслаждений, ничего больше не нужно на бульваре Мадлен? И уходят они оттуда к следующим радостям, нисколько не поранив сердца ни искренней привязанностью к ней, ни сожалением. Встречи без будущего. Прощанья без печали.

Но по крайней мере к двум людям Мари была несправедлива. Старик Штакельберг любил ее, несмотря ни на что. Груды золота, сложенные к ногам Мари, освящены молчаливым, обреченным и потому еще более трогательным чувством.

Был среди любовников Мари и молодой виконт Эдуард де Перрего. Красавец, блестящий остроумец и бонвиван, до сумасшествия храбрый, стрелок и наездник, он влюбился в нее отчаянно. Мари отдалась ему, как и всем, кто предлагал ей большие деньги и не вызывал отвращения. Пожалуй, виконт был даже симпатичен ей, и она выделяла его из толпы поклонников. Но сердце ее все-таки оставалось спокойным.

В конце концов Дюплесси даже стала избегать Эдуарда из-за его чересчур требовательной страсти. Она уже притерпелась к карнавальному образу жизни: всегда на людях, в вихре новых развлечений, в суматохе сменявших друг друга лиц, звуков, раззолоченных залов, празднеств, застолий, здравиц в честь ее несравненной красоты. И любая остановка, тишина — а любовь,

конечно же, потребует этого — могли сбить дыхание, заставить взглянуть на все иными глазами. Это было страшно...

И Мари избегала Эдуарда.

Первая встреча Мари Дюплесси и Александра Дюма-сына длилась секунды. Восемнадцатилетний юноша, весь капитал которого составляло имя знаменитого отца, прогуливался как-то днем по площади Биржи, рассматривая хорошеньких женщин. Наследственная страсть к пригожим личикам давала себя знать. Но надо отметить, что на высокого молодого широкоплечего человека с красивой темно-каштановой вьющейся шевелюрой дамы поглядывали весьма благосклонно.

Но вдруг он остановился как вкопанный, и уже ничего — ни сиянья погожего дня, сулившего приятный вечер где-нибудь под фонариками уличного кафе, ни женщин, плавно огибавших его, — не существовало.

Словно охотник за заветной добычей, Александр устремился к голубому элегантному экипажу, из которого вышла стройная дама. Он разглядел шляпку из итальянской соломки и яркую кашемировую шаль, струившуюся по белому платью. На поводке незнакомка вела двух спаниелей. В другой руке она сжимала букетик камелий.

Перед входом в магазин, куда она спешила, собаки, натыкаясь друг на друга, затеяли возню. Это рассмешило даму, и неожиданно она повернула лицо к Александру, улыбаясь и словно призывая его в свидетели веселой свары. Через мгновенье незнакомка скрылась за зеркальной дверью, а Александр продолжал стоять, как громом пораженный этим прекрасным видением.

Несмотря на юный возраст, у Александра был изрядный любовный опыт. В ином случае он, наверное, уговорил бы незнакомку познакомиться с ним. Но эта красота, такая чистая, такая торжественная, лишила его обычной смелости. Он потерял «даму с камелиями» на два года.

Вот как вспоминал о следующей встрече, ставшей началом их романа, сам Дюма:

«В один из чудесных сентябрьских дней 1844 года я был в Сен-Жермен-ан-Лэ у моего отца. Но тут я встретил Эжена Дежазе, сына известной актрисы. Мы проехались верхом по чудесному Сен-Жерменскому лесу, возвратились в Париж пообедать и затем пошли в «Варьете». Наши места были в партере. Мари Дюплесси в одиночестве сидела в правой ложе. Время от времени она нюхала цветы, доставала из кулька конфеты и едва слушала, что происходило на сцене. Мари бросала во все стороны взгляды, обменивалась улыбками с некоторыми из наших соседей и

изредка отклонялась назад, чтобы перемолвиться словом с невидимым гостем, который был не кем иным, как престарелым русским графом Ш.».

Друзья заметили, что Мари помахала рукой толстой даме, что сидела напротив нее в ложе. Это была модистка, которая играла при Дюплесси роль сводни.

Оказалось, спутник Дюма был знаком с толстухой и в антракте отправился к ней поболтать. Вернувшись, он ошарашил Александра: после спектакля они отправятся на бульвар Мадлен, чтобы разделить с Дюплесси и ее дуэньей ужин.

— А граф? — спросил Дюма, не веря своим ушам.

— Старик только отвезет Мари и сразу же уедет.

...С бьющимся сердцем переступил Дюма с приятелем порог дома, где обитала красавица. Мари уже переоделась и сидела за роялем. Александр заметил, как бледно и печально ее лицо. Он не осмелился спросить, что с ней.

Подали шампанское. Затем сели ужинать. Толстуха модистка рассказывала какую-то веселую историю. Мари засмеялась, но тут же кашель начал сотрясать ее тело. Она прижала салфетку к губам и, сгибаясь, словно от боли, разрывавшей все внутри, кинулась в спальню. Александр последовал за ней. Он увидел совсем близко ее расширенные, наполненные слезами глаза. Грудь и плечи Мари резко то подымались, то опускались. Она дышала полураскрытым ртом, словно опасаясь, что ей не хватит воздуха и кашель начнется снова.

С ужасной догадкой о губящей это восхитительное созданье болезни смотрел Александр на женщину, казавшуюся ему божеством. Глубокое сострадание удваивало его любовь. Он умолял Мари положиться на него, не отталкивать, разрешить бывать здесь и дальше, чтобы доказать свою беспредельную преданность.

Об этом разговоре мы знаем из «Дамы с камелиями». Ибо это роман-исповедь. В нем Дюма рассказал историю любви и потери обожаемой женщины. Мари Дюплесси получила имя Маргариты Готье. Начальные буквы имени главного героя — Арман Дюваль — соответствуют собственным инициалам автора.

— Значит, вы в меня влюбились? Скажите об этом прямо — так намного проще.

— Возможно, но если я и скажу вам об этом когда-нибудь, это будет не сегодня.

— Будет лучше, если вы вообще не станете этого говорить.

— Почему же?

— Потому, что тогда могут случиться только две вещи... Если я не приму вашу любовь, вы затаите на меня злобу; если же

приму, вы получите плохую любовницу — нервную, больную, печальную женщину, а если и веселую, то это веселье хуже горя; вы получите женщину, которая харкает кровью и тратит сотню тысяч франков в год. Все это хорошо для богатого старика вроде герцога (в «Даме с камелиями» граф Штакельберг изображен под именем герцога де Мориака. — Л.Т.), но совсем не годится для такого молодого человека, как вы. И вот доказательство моей правоты: все молодые любовники очень быстро покидали меня».

...В тот вечер Александр остался у Мари Дюплесси. Часы мадам Помпадур принялись отсчитывать первые мгновенья романа, длившегося год.

Александр Дюма был самым бедным и ничем не знаменитым из длинной вереницы любовников «дамы с камелиями». Но, против привычки смотреть на своих обладателей как на источник материальных благ, Мари угадала в нем душу, способную подняться до уважения к ней, падшей женщине.

Самолюбие Мари, про которую говорили, что она облагородила порок, всегда страдало, угадывая в собственных любовниках более или менее скрытое презрение к себе.

Аде — так она называла Александра по его инициалам — был иным. Он, рожденный белошвейкой, потерявшей добродетель во время лесной прогулки с его отцом, жалея мать, вместе с нею жалел всех женщин, отвергнутых или порицаемых обществом. Мари, как и его мать, была из той отнюдь не малочисленной армии женщин, все несчастья которых имели источником два слова: соблазненная и покинутая.

Искренность, теплоту и действительное, а не лицемерное сострадание своей уязвленной душой Мари отлично чувствовала. Он казался ей милым, симпатичным. И хотя все слова любви ей прискучили, когда их говорил этот здоровяк с блестящими глазами, полудрема в ее сердце вытеснялась благодарным и позабыто волнующим чувством.

Дюма, несмотря на откровенные предупреждения своей подруги, влюблялся в нее все больше и больше. «Эта смесь веселости, печали, искренности, продажности и даже болезнь, которая развила в ней не только повышенную раздражительность, но и повышенную чувственность, возбуждали страстное желание обладать ею...»

Он гордился своею любовницей, и прежде всего перед отцом, весьма искушенным в вопросах женской красоты.

Вот как описывает Дюма-отец свое знакомство с подругой сына:

«Я шел по коридору, когда дверь одной из лож бенуара отворилась, и я почувствовал, что меня хватают за фалды фрака.

Оборачиваюсь. Вижу — Александр.

— Ах, это ты! Здравствуй, голубчик!

— Войдите в ложу, господин отец.

— Ты не один?

— Вот именно. Закрой глаза, а теперь просунь голову в щелку, не бойся, ничего худого с тобой не случится.

И действительно, не успел я закрыть глаза и просунуть голову в дверь, как к моим губам прижались чьи-то трепещущие, лихорадочно горячие губы. Я открыл глаза.

В ложе была прелестная молодая женщина лет двадцати-двадцати двух. Она-то и наградила меня этой отнюдь не дочерней лаской. Я узнал ее, так как до этого видел несколько раз в ложах авансцены. Это была Мари Дюплесси, дама с камелиями...

В этот день я в первый раз целовал Мари Дюплесси. В тот день я видел ее в последний раз».

И этот взгляд был пристальным и нежным. Благодаря ему до нас дошел словесный портрет двадцатилетней «дамы с камелиями», написанный творцом «д'Артаньяна» и «Графа Монтекристо».

«Она была высокой, очень изящной брюнеткой с бело-розовой кожей. Голова у нее была маленькая, глаза миндалевидные, словно подведенные эмалью, что делало ее похожей на японку, но они всегда искрились жизнью. Ее губы были краснее вишни, а зубы — во всем мире не сыскать таких прелестных. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора».

Примечательно, что даже женщины, чья оценка часто бывает беспощадной, с неменьшим восторгом описывали внешность Мари. «Она обладала несравненным обаянием, — писала примадонна театра «Варьете». — Она была очень изящна, почти худа, но при этом удивительно грациозна... она имела ангельский овал лица; ее темные глаза выражали ласкающую томность; цвет лица ее был ослепительным. Но самым замечательным в ней были ее волосы. О эти восхитительные, шелковистые, темные волосы!»

Мари тщательно оберегала свою красоту. Мало того, она приумножала ее врожденным вкусом, умением одеваться. Ничего вульгарного, вызывающего, ничего лишнего, что обычно выдавало дам полусвета.

«...Мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически, — пишет известный журналист, член Академии Жюль Жанен, для которого каждая мимолетная встреча с Дюплесси становилась событием. — Ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами; в ушах у нее были

две жемчужины, которым могла позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате... Ее манеры гармонировали с разговором, мысль — с улыбкой, туалет — с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармонировавшую со своими украшениями, костюмами и речами».

Современников и даже строгих моралистов удивляло то, что к имени Мари Дюплесси не прилипали сплетни, вокруг него не роились сомнительные слухи: «Она не была виновницей ни разорений, ни карточной игры, ни долгов, не была героиней скандальных историй и дуэлей, которые, наверное, встретились бы на пути других женщин в ее положении. Наоборот, вокруг нее говорили только о ее красоте, о ее победах, о ее хорошем вкусе, о моделях, которые она выдумывала и устанавливала». Бросалось в глаза то, что эта женщина, даже при своем публичном, постыдном занятии, старалась сохранять достоинство, изумительный такт, тяготела к сдержанности, приличию, что, разумеется, было весьма трудно в ее двусмысленном положении. Никто отчетливее его не понимал, нежели сама Мари. Ее среда — это доступные женщины и мужчины, которые точно знают цену каждой из них.

Но, как отмечали современники, «она жила особой жизнью даже в том обособленном обществе, к которому она принадлежала, в более чистой и спокойной атмосфере, хотя, конечно, атмосфера, в которой она жила, все убила».

Чем кончится эта бедная жизнь, чем завершится привязанность сына к прекрасной куртизанке, опытный Дюма-отец знал и потому, хоть и был согласен с сыном, что Мари «гораздо выше того ремесла, которым вынуждена заниматься», спросил его:

— Надеюсь, это не любовь?

— Нет, это жалость, — ответил Дюма-младший.

Его слова звучали все-таки полуправдой. Он был во власти женских чар Мари, и они затягивали его все сильнее и сильнее. Посещения квартиры на бульваре Мадлен уже не ограничивались вечерними часами. «Однажды, — признавался он, — я ушел от нее в восемь часов утра, и вскоре настал день, когда я ушел от нее в полдень».

Александр со свойственной юности самонадеянностью предвкушал свою победу над привычкой Мари к бесконечной смене партнеров. На какое-то время толпа ее богатых покровителей резко поредела. Дюма увидел в этом счастливое предзнаменование: его прелестная подруга осторожно примеривала на себя оковы верности.

Между тем жизнь с женщиной, избалованной золотом, легко

сорившей своими «печальными деньгами», не могла не пугать его. Как и где достать средства на ложу в театре, ужин, дорогие коробки конфет, букеты камелий? Начинающий литератор, Александр зарабатывал за месяц столько, сколько стоил один вечер с Мари. Все чаще и чаще он обращался за помощью к отцу, чего не любил, от чего страдал и что не приносило удачи.

Дюма-старший и сам часто сидел без денег. Те сто франков, которыми он время от времени ссужал сына, конечно же, не избавляли Александра от денежных затруднений.

К нехватке денег прибавился острый дефицит времени. Александр не принадлежал к беззаботным шалопаям, вся жизнь которых без остатка тратилась на развлечения. Он зарабатывал, сидя за столом с пером и бумагой в руках. Каждая строчка, стоившая всего лишь несколько десятков су, требовала времени, спокойствия и определенного душевного настроя. Эти строчки единственно давали ему заработок.

Но Мари совсем не хотела принимать во внимание подобные обстоятельства. По утрам Дюма получал от нее записку с перечнем поручений, которые предстояло выполнить «дорогому Аде». К вечеру он заезжал за Мари, они ехали обедать, потом он сопровождал ее в театр, затем следовал ужин на бульваре Мадлен в обществе друзей Мари. Александр оставался у нее до утра или возвращался к себе перед рассветом, чтобы через несколько часов все начать снова...

Дюма чувствовал, что такой распорядок жизни напрочь выбивает его из колеи, обрекает на постоянное бездействие и заставляет махнуть рукой на литературную карьеру. Но отдалиться от Мари — это значило сейчас же ее потерять. Александр не сомневался, что его место будет немедленно занято другими — теми, кто в избытке обладал и деньгами, и временем. Дюма и так подозревал, что Мари не слишком искренна, уверяя, что он один занимает ее мысли. Чем чаще она ему это говорила, тем чаще он представлял Штакельберга и Эдуарда Перрего, неотступных поклонников Мари, вновь в ее кровати. С ревнивым чувством он замечал, как Мари пишет и отсылает со служанкой записочки. Для кого? Не обманывает ли она его?

В такие минуты в нем закипала кровь предков-негров с экзотических островов. Он успокаивался только тогда, когда уставшая за день Мари, закутанная в шерстяную ткань и надрывно кашлявшая, садилась на ковер у камина и прижималась к нему вздрагивающим горячим телом. В эти минуты жалость переполняла его, и он стыдился своих подозрений.

Однако, в сущности, Дюма не обманывался. Мари даже и против воли вынуждена была поддерживать отношения со своими

покровителями. И на голубой бумаге появлялись: «Дорогой Эдуард», «Нед, дорогой...» Единственным их преимуществом перед ним были деньги — ненавистные, проклятые...

Тонкий ручеек недоверия и тревог, просочившийся в отношения Дюма и Мари, медленно, но верно подмывал их союз. Их встречи делались все реже и реже, заканчивались, как правило, взаимными упреками. В конце концов Александр решил взять на себя инициативу разрыва.

«Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как хотелось бы вам. И поэтому давайте забудем оба: вы — имя, которое вам было, должно быть, почти безразлично; я — счастье, которое мне больше недоступно».

Очень скоро у Дюма была уже другая любовница. А в следующем 1846 году он с отцом отправился в путешествие по Испании и Алжиру. Ему казалось, что в главе его биографии под названием «Мари Дюплесси» поставлена точка.

* * *

Мари не только не попыталась вернуть Александра, она даже не ответила на его прощальное письмо. И тем дала понять, что согласна с ним: пришла пора расстаться. Так в первую очередь будет лучше для ее дорогого, вспыльчивого и нежного Аде. Больная, грустная, больше смерти боящаяся нищеты, а потому неверная подруга — что может быть хуже? Она предупреждала Александра, что рано или поздно он покинет ее. Бог дал ей силы удержаться от слез и упреков — бесполезного и неизменного оружия всех брошенных женщин.

Между тем потеря Дюма, которому в отличие от многих, обладавших Мари, удалось стать другом ее одинокого сердца, действовала на нее угнетающе. Она бросилась искать кого-то, кто сможет заполнить образовавшуюся пустоту.

В это время в Париж приехал Ференц Лист. Его слава музыкального гения могла соперничать только с фантастическим успехом у женщин. Знатнейшие и красивейшие дамы жертвовали репутацией, оставляли добродетельных мужей, дабы ринуться в пучину страсти по одному только знаку этого полубога с прекрасным, жестким и капризным лицом. Поклонницы избаловали его как дитя, которое по первому капризу получает любую игрушку. Он оставлял одних — ему прощалось. Он снисходил к другим — его благодарили. Он повелевал в Европе так, словно здесь не было иных мужчин.

Мари Дюплесси захотела познакомиться с Листом. Она первая, увидев его в театре, подошла к великому артисту и сказала, что очарована им и его игрой.

Весь третий акт пьесы, не обращая внимания на то, что

делалось на сцене, они провели в беседе. Великий маэстро, пораженный царственной, благородной красотой неизвестной дамы, был к тому же немало удивлен умом и тонким пониманием вещей, о которых она говорила. Лично знавший всех европейских эрудитов, философов, поэтов, дипломатов, Лист явно не ожидал встретить в маленьком третьесортном театре женщину, которую слушал «с восхищенным вниманием». Он наслаждался «плавным течением полной мыслей беседы, манерой ее разговора — одновременно высокопарной, выразительной и мечтательной».

Конечно, Лист узнал, кто была эта незнакомка. Должно быть, его покоробило то, что он услышал. Лист не скрывал: он не поклонник женщин, сбившихся с пути, но наступил час, когда у него вырвалось признание: «Мари Дюплесси — исключение. У нее необыкновенное сердце, изумительная живость духа, я считаю ее уникальной в своем роде... она — наиболее полное олицетворение женщины, когда-либо существовавшей».

Сделав Листа своим любовником, Мари пыталась сделать его и другом сердца. Казалось, его натура музыканта, горячая, нервная, которой все оттенки чувств доступны и понятны, легко откликнется на ее призыв.

Когда Лист по окончании парижских гастролей собрался уезжать, Мари послала ему отчаянное, умоляющее письмо:

«Я знаю, что мне недолго осталось жить. Я странное создание, я не могу дальше так жить... Увезите меня. Увезите, куда вам будет угодно. Я не доставлю вам беспокойства. Целый день я сплю, вечером вы позволите мне пойти в театр, а ночью делайте со мною что хотите».

Под благовидным предлогом Лист ответил ей отказом. Позже, узнав о смерти Мари, он раскаивался, что не сделал попытки спасти ее, и признавался: это была первая женщина, которую он любил...

* * *

Между тем виконт де Перрего предпринимал все новые и новые попытки выбить хоть искру сердечности из сердца Мари. Он прощал ей все новых и новых любовников, мимолетных, более или менее постоянных, боясь неосторожным упреком разрушить их и без того хрупкие отношения. Наконец виконт решился на поступок, который мог быть продиктован поистине глубоким чувством. Отпрыск одной из древнейших фамилий Франции предложил публичной женщине выйти за него замуж.

Мы не знаем, как встретила Мари предложение руки и сердца, — единственного, что не приходило в голову никому из влюбленных в нее мужчин. Возможно, она не поверила своим ушам. Или рассмеялась. Или попробовала отговорить виконта от

отчаянного шага.

Несомненно одно — в ней всегда таилась робкая, отгоняемая собственным рассудком мечта стать чьей-то женой и этим смыть позорное клеймо куртизанки.

Сочувствовавшие Мари люди вспоминали, как менялось ее гордое лицо признанной триумфаторши, когда из театральной ложи ей приходилось встречаться взглядом с замужними — порядочными! — женщинами, спокойно сидевшими рядом со своими мужьями. Тогда выражение смущения и чего-то жалкого появлялось в ее чертах, и она спешила отвести глаза.

Рассказывали, что однажды каким-то странным образом известная всему Парижу куртизанка попала на бал, где собралось «настоящее общество». Она, в роскошном платье, с головы до ног усыпанная бриллиантами, шла под руку с человеком, который привел ее сюда, и чувствовала, что он мысленно проклинает себя за дикую выходку. Руке Мари, лежавшей на обшлаге мундира, передавались его напряжение и скованность. Она ловила на себе недоумевающие взгляды.

К счастью, эту пытку прекратила случайная встреча с давним знакомым, который имел благородство приветливо улыбнуться Мари и поздороваться с ней. С нескрываемым облегчением она оставила того, с кем пришла на этот бал.

Звуки штраусовского вальса, закружившие ее, помогли Мари прийти в себя. Восхитительная танцовщица, она вальсировала в самом центре зала со своим знакомым. Ее длинные локоны разлетались, касаясь соседних пар. И лишь теперь, ощущая восторжествовавшую власть своей красоты, Мари была уверена, что не лишится чувств от стыда и унижения.

...Она приняла предложение виконта.

Не желая стать объектом сенсации и сплетен, Мари и де Перрего уехали в Лондон. Здесь 21 февраля 1846 года они сочетались гражданским браком.

Однако смелость виконта имела пределы. Представляя, какой скандал вызовет его женитьба на падшей женщине среди аристократической родни, де Перрего не решился на венчание. Таким образом, брак оказался заключенным не по правилам, а следовательно, не мог быть утвержден французским генеральным консулом в Англии, как того требовал закон.

Вероятно, это подействовало очень угнетающе на Мари, здоровье которой продолжало ухудшаться. Она не могла не знать всех признаков скоротечной чахотки и не сознавать, что приговорена. Свадьба, казавшаяся теперь смехотворной, и замужество, не имевшее никакой силы во Франции, доканывали ее.

Вернувшись, виконт и виконтесса де Перрего по взаимному согласию предоставили друг другу полную свободу. Единственное, что напоминало Мари о лондонском вояже, — это фамильный герб, который появился на дверцах ее кареты и на столовом сервизе.

...Мари оставалось жить совсем немного. Ее мучили кашель, бессонница. Она ослабла так, что целыми днями лежала в постели, собирая силы, чтобы подняться вечером хоть на пару часов.

Мари изо всех сил цеплялась за жизнь. Она поехала лечиться в Висбаден. Поначалу здесь ей стало немного легче, и ее снова стали видеть в казино, на балах. Но призрак приближающейся смерти снова возникал перед несчастной. Мари, как бы ища менее мучительного конца, пускала лошадь галопом на самых опасных тропинках, словно желая сорваться в пропасть. Но ей суждено было иное.

Вернувшись в Париж, «дама с камелиями» в последний раз появилась в театре. «Она выглядела так, словно вышла из могилы, чтобы поквитаться со всеми блестящими молодыми дураками... покинувшими ее».

Спасительное, как ему казалось, удаление от Мари, сыграло с Дюма злую шутку: он все больше думал о ней, мучился тоской и недобрыми предчувствиями. Оказалось, он любил ее больше, чем предполагал сам. Письмо, посланное ей, было продиктовано желанием снять с души камень.

«Через неделю после того, как вы получите это письмо, я буду в Алжире. Если я найду на почте хотя бы записочку от вас, из которой узнаю, что вы простили мне то, что я совершил почти год назад, я возвращусь во Францию менее грустным, если вы отпустите мне грехи, и — совершенно счастливым, если найду вас в добром здравии.

Ваш друг А.Д.».

Ответа Александр не получил.

* * *

Судьба не пощадила Мари даже напоследок. Она лишний раз убедила умирающую в том, как призрачна была власть ее красоты над людьми. Игрушка сломалась — и ее выбросили в угол, желая найти что-нибудь новенькое, работающее безотказно. В заполненной недавно гостями квартире на бульваре Мадлен было пусто. Тяжелые шторы не подымались. И даже попугай, наученный хозяйкой печальной песенке, понуро молчал, напуганный сумраком.

Мари, в отчаянии от пустоты и безмолвия, окружавших ее, написала письмо де Перрего. Она просила простить ее за

принесенные страдания и не дать ей умереть одной: «Молю вас на коленях...», «скорее — прощение».

Спальня Мари напоминала уже не алтарь любви, а часовню. Здесь появились две золоченые фигуры Богоматери.

Мари знала, что умрет на этой кровати. Она уже давно не выходила из дома, и сил хватало лишь на то, чтобы по вечерам добираться до высокого окна и смотреть, как мимо проходит оживленная толпа мужчин и женщин, уверенных, что и завтра, и послезавтра для них будет сиять солнце.

Печальной подробностью ее смерти были веселые звуки карнавала, под них она и отошла в небытие. В это время, за несколько дней до Масленицы, Париж пел и танцевал.

Де Перрего все же пришел к своей несчастной подруге и этим скрасил ее последние земные мгновенья. Мари поняла, что он простил ее и что никогда не переставал любить. Она была благодарна ему за это и попрощалась с ним.

«Три дня, чувствуя, что летит вниз, в пропасть, ожидающую нас всех, она ни на минуту не выпускала руки своей служанки, будто та могла удержать ее. И только когда ангел смерти пришел за ней, она отпустила ее руку. В последнем порыве молодости, испытывая ужас при мысли о небытии, она поднялась на ноги, словно хотела убежать, затем три раза простонала и затихла навсегда».

Так описал смерть Мари Дюплесси поэт Теофиль Готье. «Даме с камелиями» было двадцать три года...

Ирвинг Уоллес писал:

«Она лежала в гробу, усыпанная камелиями. Среди тех, кто провожал ее в последний путь на кладбище Монмартра, был старый русский граф, с двух сторон поддерживаемый слугой и сестрой Мари Дельфиной Паке».

* * *

Когда Александр Дюма вернулся в Париж, Мари уже похоронили. Стараясь унять тоску, он бродил по тем самым улицам, по которым в дни былого счастья он проезжал с Мари в ее знаменитом экипаже. И вдруг он заметил: по всему городу были развешаны оповещения о том, что 12 марта 1847 года по такому-то адресу состоится аукцион по распродаже вещей.

Дюма слишком хорошо знал этот адрес. С бьющимся сердцем пришел он в знакомый дом на бульваре Мадлен и ходил по комнатам, где ничего не изменилось с той минуты, когда хозяйка навсегда покинула их.

Те самые люди, у которых хватило беспечности не навестить умирающую, с редким единодушием явились на аукцион. Здесь вообще было много любопытствующего народа. Пришли все

столичные знаменитости, пришли даже те, кто никогда не допустил бы для себя личного знакомства с падшей женщиной.

Один из тех, кто поклонялся «даме с камелиями», оставил заметки «о возбужденной толпе, вторгнувшейся в пристанище сладострастного порока и бесконечной печали. Каждая вещь, принадлежавшая Мари, обрела статус сокровища. «Я слышал, -— писал он, — как самые знатные дамы и самые искусные кокотки удивлялись изощренности и изысканности всех ее туалетных принадлежностей. Ее гребень был продан за сумасшедшую цену; ее головная щетка была продана чуть ли не на вес золота. Продавались даже ее поношенные перчатки, настолько была хороша ее рука. Продавались ее поношенные ботинки, и порядочные женщины спорили между собой, кому носить этот башмачок Золушки. Все было продано, даже ее старая шаль, которой было три года; даже ее пестрый попугай... продали ее портреты, продали ее любовные записочки, продали ее лошадей — все было продано, и ее родственники, которые отворачивались от нее, когда она проезжала в своей карете с гербами, на прекрасных английских скакунах, с торжеством завладели всем золотом, которое очистилось от этой продажи».

За все было выручено около девяноста тысяч франков. Часть этой суммы пошла кредиторам. Остальное вручили единственной наследнице Мари Дюплесси — ее сестре Дельфине, приехавшей ради такого случая из деревни.

Говорили, что на эти деньги она купила имение в Нормандии. Быть может, именно то, которое некогда пленило своей тихой прелестью маленькую Альфонсину и название которого она сделала своей фамилией.

* * *

На аукционе молодой Дюма купил книгу «Манон Леско», принадлежавшую его любовнице. Но самое ценное, что оставила ему Мари, хранилось в его душе.

Это был мучительный дар. С безнадежным отчаянием, запоздало и отчетливо Александр только теперь ощутил свою потерю. Его боль вылилась в прекрасном стихотворении, но оно не облегчило душу.

Расстался с вами я, а почему — не знаю,
Ничтожным повод был: казалось мне, любовь
К другому скрыли вы... О суета земная!
Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь?
Потом я вам писал о скором возвращенье,
О том, что к вам приду и буду умолять,
Чтоб даровали вы мне милость и прощенье.

Я так надеялся увидеть вас опять!
И вот примчался к вам. Что вижу я, о Боже!
Закрытое окно и запертую дверь.
Сказали люди мне: в могиле черви гложут
Ту, что я так любил, ту, что мертва теперь.

Александр чувствовал, что ему надо выговориться и тем самым облегчить душу, снять с нее давящий груз тоски и скорби. Дружескому уху Дюма предпочел бумагу. Он поверял ей историю своей любви.

Разумеется, законы жанра и собственная фантазия романиста диктовали то, чего не случилось в реальности. Как многие из нас идеализируют прошлое, утерянное навсегда, так и Дюма идеализировал свои отношения с той, которая в романе звалась Маргаритой Готье. Он сочинил новые сюжетные линии и персонажи. Для чего? Александру хотелось как можно лучше показать то, что угадывалось в чистой и благородной натуре Мари. Жажду встретить человека, который полюбил бы ее от всего сердца. Способность к самопожертвованию, незащищенность и обреченность женщины, которой отказано в семейном очаге и в честном имени.

Дюма пишет: «Бедные создания! Если нельзя их любить, то можно пожалеть... Гюго написал Марион Делорм, Мюссе — Бернеретту, Александр Дюма — Фернанду, мыслители и поэты всех времен приносили куртизанкам дары своего сострадания, а иногда какой-нибудь великий человек реабилитировал их своей любовью и даже своим именем... Я так настаиваю на этом потому, что среди тех, кто будет меня читать, многие, может быть, уже готовы бросить мою книгу, так как боятся найти в ней апологию порока и проституции... Пусть те, кто так думают, осознают свою ошибку...

Небо больше радуется одному раскаявшемуся грешнику, чем ста проповедникам, которые никогда не грешили».

Дюма проходит под именем Армана Дюваля все круги ада... Тот, не видевший свою подругу мертвой, хочет раскопать могилу Маргариты Готье, взглянуть в ее прекрасное лицо в последний раз. Свое намерение он осуществляет. О, ужас! «Большой белый саван покрывал труп, обрисовывая его линии. Саван был почти совершенно изъеден в одном конце и обнажал ногу покойницы...

Тогда один из могильщиков, протянув руку, начал развертывать саван и, взяв его за конец, внезапно открыл лицо Маргариты.

Было ужасно смотреть, но ужасно и рассказывать. Вместо глаз

были две впадины, губы провалились, и белые зубы тесно сжались. Длинные сухие черные волосы прилипли к вискам и немного прикрывали зеленые впадины щек, а между тем я узнавал в этом лице белое, розовое, веселое лицо, которое я так часто видел».

Не выдержав этого зрелища, Арман впадает в беспамятство. Но именно оно спасает его от сумасшествия...

Несомненно, мысль увидеть мертвую Мари владела и самим Дюма. По счастью, он уберегся от выполнения этого страшного замысла. Но на могилу возлюбленной он пришел, словно прося у нее, умолкнувшей навсегда, сочувствия и помощи...

Роман «Дама с камелиями», написанный за четыре недели, вышел в свет в 1848 году. Понятно, что сама история и та искренность, с которой она была рассказана, не могли не тронуть сердца. И те женщины, чья судьба напоминала судьбу Маргариты Готье, и вполне благопристойные были растроганы этими исповедальными страницами. Возлюбленный Мари Дюплесси отважно и блистательно выступил адвокатом «падших». Это был гимн во славу истинной любви — всепрощающей, бескорыстной и самоотверженной.

Современник Дюма писал: «До появления «Дамы с камелиями» девицы легкого поведения были отверженными, париями... Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других — прощать...» Интерес к «Даме с камелиями», те чувства и эмоции, которые он вызвал, заставили Дюма перенести роман на сцену. Он переделал его в пьесу.

...Началась полоса невезений. Дюма-отец отказался помочь сыну поставить «Даму с камелиями» в театре, где имел большой вес. Александр упорно искал сценическое пристанище своему роману. Наконец, когда все было слажено, буквально накануне премьеры театр, принявший пьесу, прогорел. То же самое случилось и во второй раз.

Позже Дюма вспоминал, как пошел на кладбище, чтобы рассказать Мари о своих горестях. Сидя возле ее могилы, он, под влиянием нахлынувших воспоминаний, измученный душевным одиночеством и безденежьем — роман, несмотря на свой успех, не принес ему ничего, — горько плакал. Его двадцатишестилетняя жизнь казалась скопищем неудач и утрат.

В следующем 1852 году он плакал уже слезами радости после триумфальной премьеры «Дамы с камелиями» в том самом театре «Варьете», где они так часто бывали вместе с Мари.

...Зал неистовствовал, рукоплескал, и зрители не стеснялись слез. Так Париж и «Дорогой Аде» отмечали пятую годовщину со

дня смерти «дамы с камелиями». Две даты — премьеры спектакля и последнего земного дня Мари Дюплесси — почти совпали.

В зале сидел Джузеппе Верди. Он был потрясен. Решение написать оперу на этот сюжет созрело сразу. Мир ожидала скорая встреча с блистательной «Травиатой»...

* * *

В феврале 1997 года на парижском кладбище Монмартр я нашла могилу «дамы с камелиями». Мне почему-то казалось, что она будет заброшенной и сиротливой. Если официальные власти берут на себя заботу об уходе за последним пристанищем великих людей, то кому какое дело до таких «частностей», как некая Альфонсина Плесси?

...В тот день стояла та самая погода, к которой так непривычны парижане. Сверху сыпала мелкая мокрая пыль, на улицах сквозило, как на заброшенном чердаке с выбитым окном. Прохожие шли, уткнув носы в шарфы, и, ясное дело, торопились поскорее укрыться под теплой крышей.

Я смотрела на небольшой памятник из белого мрамора.

Здесь покоится Альфонсина Плесси. Родилась 15 января 1824 года. Скончалась 3 февраля 1847 года.

...Париж, когда его навещаешь нечасто и ненадолго, отнимает чувство времени. Да, на дворе стоит февраль. Я начала вспоминать, какое нынче число. Пятое! Стало быть, я оказалась на могиле Альфонсины ровно через сто пятьдесят лет после ее кончины и точно день в день ее похорон.

Андре Моруа в книге «Три Дюма» пишет: «5 февраля 1847 года толпа любопытных следовала за погребальным катафалком, украшенным белыми венками. За дрогами, обнажив головы, шли лишь двое из прежних друзей Мари Дюплесси: Эдуард Перрего и Эдуард Делессер». Видимо, основываясь на воспоминаниях, Моруа замечает, что в день похорон «низко нависшее небо было темным и мрачным». К полудню пошел дождь.

Все совпадало. И даже погода.

Памятник Александру Дюма, человеку, обессмертившему Альфонсину, которая ответила ему тем же, находится неподалеку. Говорили, что, когда знаменитого автора хоронили в 1895 году, участники траурной церемонии предлагали отнести белые цветы с его гроба на могилу «дамы с камелиями».

Дюма похоронили, согласно его завещанию, в длинной рубахе, в которой он обычно сидел за столом, и с голыми ногами: он гордился их изяществом.

Его вторая жена, Надежда Нарышкина, поставила, а вернее, положила странный памятник: мраморный Дюма лежит под

навесом в том же самом виде, как и лежал в гробу: в длинной рубахе и с голыми ногами. Монумент внушителен, но производит почему-то гнетущее впечатление.

Могила Альфонсины скромна, мрамор бел, и, вопреки моим предположениям, ее навещают. У подножия памятника стоял горшочек с искусственными камелиями и лежала живая роза. Она еще не успела завянуть: видимо, сюда приходил кто-то незадолго до меня. Я нашла здесь письмо, промокшие под дождем страницы прилипли к подножью надгробья. В правом верхнем углу был напечатан адрес. Штат Массачусетс. Город. Номер дома. Фамилия. Стояла дата: 14 октября 1996 года. Местами буквы расплылись, бумага расползлась от влаги. Письмо было написано не случайно. Оно начиналось так: «Дорогая дама с камелиями!» Дальше я не стала читать. Ведь это письмо было адресовано Альфонсине.

ЗАГАДОЧНАЯ ФОРМУЛА ЛЮБВИ

Вот видишь, мой друг, — не напрасно
Предчувствиям верила я:
Недаром так грустно, так страстно
Душа тосковала моя!..
Прощай!.. Роковая разлука
Настала... О сердце мое!..
Поплатимся долгою мукой
За краткое счастье свое!..
Е.Ростопчина

«Мозг покойной оказался в высшей степени развитым, что и можно было предвидеть». Из шведской газеты за февраль 1891 года...

* * *

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — спрашивал дьячок маленькую девочку, которую нянька, возвращаясь из церкви, вела за руку.

Кроха молчала.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — посмеивался дьячок.

— Скажи, деточка, — наставляла нянька, — меня, мол, зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковский!

Дьячок, провожая их до дома, указал девочке на ворота:

— Видите, маленькая барышня, на воротах висит крюк. Когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «Висит крюк на воротах Крюковского», — сейчас и вспомните.

Софья Васильевна Корвин-Круковская, известная всему миру как Ковалевская, родилась в Москве 15 января 1850 года. Самый теплый человек детства — нянюшка. Она души не чаяла в девочке, которая родной матери казалась диковатой и неловкой. Когда Соне было восемь лет, отец вышел в отставку и увез семью в имение Палибино на границе России и Литвы. Дети Круковских: Соня, сестра Аня, семью годами ее старше, и брат Федя, на три года младше — попали под сень старого большого дома. Он стоял посреди парка, к которому вплотную примыкал громадный бор. В нем, говорили, водилась нечистая сила, лешие да русалки. Здесь было приволье. Только строгие гувернантки портили этот рай.

— Как! Вы еще в постели? Вы снова опоздали к уроку! Так не можно долго спать! Я буду жаловаться генералу! — гневалась

француженка, открыв дверь в детскую.

— Ну и ступай, жалуйся, змея! — бормотала ей вслед нянюшка. — Уже господскому дитяти и поспать вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Велика беда! Ну и подождешь — не важная фря!

Тихую жизнь усадьбы нарушило одно происшествие. Заметили, что в доме стали исчезать маленькие, но ценные вещицы: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик. В доме поднялась тревога. После долгих пересудов и дознаний напали на след вора. Им оказалась старая дева, портниха Марья Васильевна, которую все дворовые не любили за гордость и высокомерие. Замкнутая, ни с кем не общавшаяся, жила она себе особняком в отдельной комнате, чиня господское белье и детские вещи. И вдруг — на тебе, старая дева влюбилась в немца-садовника, немолодого, толстого. В его-то кармане и стали оседать не только украденные «презенты», но и деньги помешавшейся от страсти старой девы.

Вечерами Соня с сестрой, лежа в кроватках, затаив дыхание, слушали, как няня обсуждает с приходившими к ней на вечерний чаек знакомыми невероятную новость.

— Ах, негодница! Да и то, стал бы такой молодец, как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить! Вот ее любовь куда завела...

Соня слушала. Любовь? Что же это такое? И как это — воровать, а потом страдать, гореть от стыда? И все это ради любви? Странная какая вещь. А этот немец, ведь он довольно противный. Наверное, и она могла бы полюбить, рассуждала шестилетняя Соня, но красивого.

Очень скоро красивый нашелся — Сонин дядюшка, приехавший погостить в Палибино. За обедом Соня смотрела на него во все глаза. Когда ей делали замечание, краснела до ушей. Почему-то она стеснялась произнести его имя и с трепетом ждала вечера, когда красавец дядюшка, любитель повозиться с малышами, усаживал ее на колено и начинал вести «научные беседы». Это было время блаженства.

Дни маленькой Сони потекли в ожидании заветного часа. Однажды она увидела, что на дядином колене сидит ее подружка, хорошенькая, как ангелок, Оля.

Соню точно кто-то толкнул в спину. Вихрем налетела она на соперницу и вцепилась зубами в ее пухлую ручку. Та пронзительно взвизгнула. Это отрезвило Соню. В ужасе от содеянного, а еще больше от ревности она рыдала в комнате няни. Так оборвалась ее детская любовь. Ковалевская, вспоминая об этом случае, говорила, что детские влюбленности часто

бывают чувством значительно более сильным и запоминающимся, чем об этом принято думать.

...Математика тоже началась с палибинских вечеров. Один из родственников Круковских, часто посещавший гостеприимную усадьбу, был страстным любителем побеседовать на отвлеченные темы. Лучшей слушательницы, чем Соня, сосредоточенная и любопытная, и придумать было трудно. От него она услышала в первый раз о многих интереснейших вещах. Например, о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая приближается, но — подумать только! — никогда их не достигает. В этом было что-то таинственное и загадочное. Соня заглянула в новый чудесный мир, куда простым смертным хода не было. Конечно, она не могла осилить смысла математических понятий, но в ней пробудилась фантазия, и нужен был лишь новый толчок, чтобы робкий интерес перерос во что-то более значительное...

Однажды перед переездом Круковских в деревню затеяли ремонт. На одну из комнат обоев не хватило, и ее решили оклеить листами литографированных лекций знаменитого математика Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислениях. Их когда-то в молодости купил отец Сони, Василий Васильевич. По счастливой случайности комната с «математическими» обоями оказалась детской.

Часами маленькая Соня стояла перед чудесными стенами, стараясь разобрать текст и понять смысл формул. Разумеется, большинство детей скоро охладели бы к загадочным иероглифам. Но здесь был тот редкий, не поддающийся никаким объяснениям случай, когда словно само провидение побудило палибинскую нелюдимку к действию, зная, что в ней дремлет гениальность...

Ковалевская вспоминала, что, когда уже пятнадцатилетней девушкой брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя А.Н.Страннолюбского, тот удивился, сколь быстро она усвоила новые и трудные понятия. У нее же было странное чувство, что математик объяснял ей давно известное, то, до чего она дошла сама и что уже не представлялось ни новым, ни трудным.

Впрочем, с самого раннего детства необычайная Сонина одаренность заявляла о себе. Она выпрашивала разрешения присутствовать на уроках своей сестры, и часто случалось так, что на следующий день семилетний ребенок подсказывал четырнадцатилетней сестре.

С пяти лет девочка начала сочинять стихи. В двенадцать Соня уверяла, что будет поэтессой. В голове у нее уже сложилась поэма «Струйка» в сто двадцать строф, нечто среднее между «Ундиной»

и «Мцыри». Ее маленькое сердце было полно романтических настроений и ожиданий чуда от подступающей взрослой жизни...

Однажды вечером Соня застала сестру Анюту лежащей на диване и отчаянно рыдающей.

— Анюточка, что с тобой?

— Ты все равно не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном. А я... Я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь — все кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь, мы не знаем и никогда, никогда не узнаем! О, это ужасно, ужасно!

— Но как же? Есть Бог, и после смерти мы пойдем к нему, — робко возразила Соня.

— Ты еще сохранила детскую веру. Ты, Соня, маленькая... Не будем больше говорить об этом, — вздохнула сестра печально.

Но не говорить они не могли. И сестры беседовали часами. Анюта посеяла в умной, не по годам серьезной сестре сомнения в прочности многих представлений. Она рассуждала о том, что живут они скверно, скучно, бесцельно, словно в болоте, затянутом тиной. А где-то рядом идет полная тревог и живого биения жизнь.

Их разговоры длились долго, и, когда Анюта засыпала, Соня перебирала в памяти услышанное. Ни от кого ей не приходилось слышать подобное. Позже Ковалевская назовет Анну Васильевну своей «духовной мамой».

...Через некоторое время в Палибино пришел конверт из Петербурга. Случайно он оказался в руках генерала Круковского. Вскрыв его, отец Сони и Анюты едва не потерял дар речи от возмущения. Оказывается, старшая дочь написала повесть и послала ее в журнал Достоевскому. И вот теперь писатель извещал, что повесть напечатана. Более того, он прислал Анюте причитающийся гонорар.

«Позор! Позор!» — вслух говорил Василий Васильевич, меряя кабинет шагами. Потом открыл дверь и крикнул, чтобы позвали Анюту.

Объяснение вышло ужасным. Девушка никогда не видела в таком состоянии своего сдержанного, рассудительного отца. Словно кто-то передернул его красивое лицо, и оно сделалось неузнаваемым. Еще ужаснее было то, что он говорил.

— От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать. Теперь ты продаешь свои повести, а придет, пожалуй, время — и себя будешь продавать!

Придя к себе, Анюта села на кровать и почувствовала, как ее обняла младшая сестра Соня. «Я все знаю, Анюточка. Няня

рассказала... Только ты не печалься, голубушка! Все поправится, пройдет. Вот увидишь...»

Анюта привыкла верховодить Соней, как младшей. Но тут от ее почти взрослого сочувствия она не выдержала, упала головой в подушку и заплакала горько, вздрагивая всем телом.

...А Василий Васильевич все не мог прийти в себя. Происшедшее не умещалось в его голове. Девушке, живущей в холе и богатстве, из семьи порядочной и уважаемой, приходит в голову дикая мысль: сделаться писательницей. Да, он знавал женщин, к чьей красоте добавлялась склонность к изящным занятиям. В одну из них, поэтессу Ростопчину, он был по молодости крепко влюблен. Ах, какое это было чудо — ее поэтическая внешность и поэтический дар. Но для собственной дочери... Нет, об этом даже страшно думать. А думать приходится. Что-то неясное происходит вокруг. Жили-жили, и вот нА тебе.

От соседей дальних и близких, от петербургской родни и знакомцев стали доходить слухи, что дочери вовсе отбились от рук. Одна грозит самоубийством, если родные не отпустят за границу в университет, другая сбежала со студентиком-учителем в архангельскую глушь просвещать народ. Анну стали увлекать совсем не девичьи занятия. То крестьянских детишек возьмется обучать, то о чем-то шепчется с дворовыми бабами. Что ей до них? А долгие гуляния по усадебным аллеям с поповским сынком, что вернулся из Петербурга, нахватавшись завиральных идей?! Говорили, он Анюте книжки все какие-то читает. Да и внешне очень изменилась дочка, думал Василий Васильевич, стала носить простые, темных тонов платья, причесывается гладко, скучно скручивая прекрасные пепельные волосы. Ему, ценителю женской красоты, все это было непонятно. Дамы его молодости умели из дурнушек превращаться в богинь. Сколько ухищрений, заботы, истинного искусства, чтобы привлечь к себе внимание! В равнодушии дочери к своей красоте генерал видел нечто неестественное. Какой-то вывих природы.

Почему дочери так не похожи на свою мать, его жену: прелестную, всегда нарядную, нежную, надушенную? Всякий раз, входя в ее спальню, он ощущал себя в женском царстве, куда не залетает ни один звук грубой жизни.

От приятных мыслей о жене генерал снова вернулся к дочерям. Гнев уже оставил его. Он думал, что наверняка кажется своим девочкам старым тираном. Пожалуй, и впрямь надо поубавить родительского диктата. И наконец, довольный собой, Василий Васильевич решил, что по приезде в Петербург надо бы разрешить Анне пригласить в дом Достоевского. Известный

писатель, как-никак...

Достоевский действительно откликнулся на приглашение Круковских. Поначалу он стеснялся генеральши, не знал, о чем и как говорить с нарядной барыней — хозяйкой, старательно щебетавшей возле модного писателя. Его выручала Анюта, заводя серьезные разговоры и оттесняя мамашу на второй план. В общении с девушкой Достоевский преображался, делался оживленным и словоохотливым. Его визиты становились все более частыми. А в жизни Сони начиналась особая полоса.

— Какая у вас славная сестренка! — сказал однажды Достоевский, и сердце Сони, которой казалось, что ее не замечают, гулко забилось. А тут еще сестра притащила толстую тетрадь ее стихов, и Федор Михайлович, слегка улыбаясь, прочел два-три отрывка, которые похвалил. Как-то в разговоре Достоевский сказал Анюте, что у ее сестры лицо выразительное и глаза цыганские. Это вызвало в душе Сони целую бурю. Вечером она молилась:

«Господи, Боже мой! Сделай так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Скоро Достоевский полностью завладел мыслями пятнадцатилетней девочки. Она жила от встречи до встречи с ним, ловила каждое его слово. Стоило Федору Михайловичу однажды похвалить Сонину игру на фортепьяно, как сама собой явилась идея: она решила выучить его любимое произведение и сыграть так, чтобы он понял, что творится в ее сердце.

Очень скоро выяснилось — Достоевский любит «Патетическую сонату» Бетховена. Не склонная ранее к фортепьянным экзерсисам, теперь Соня не отрывала пальцев от клавиш. Пьеса трудная, но это лишь подстегивало ее упорство. И вот она нашла удобный момент, чтобы поразить предмет своей страсти.

Наступил вечер, когда Достоевский навестил Круковских в отсутствие старших. Дома были лишь он, Анюта и Соня. С дрожащими от волнения пальцами села влюбленная девочка за фортепьяно. За спиной сидели слушатели: сестра и Достоевский.

Окончила. Вокруг стояла тишина. Соня оглянулась. В комнате никого не было. Сердце у нее упало. На подгибающихся ногах пошла она по комнатам и вдруг, остановившись на пороге самой дальней, услышала страстный, порывистый шепот Достоевского:

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты... да и раньше, по письмам уже предчувствовал...

Достоевский держал Анютину руку в своей. Лицо его было

бледно и взволнованно.

Не помня себя, Соня бросилась прочь.

...И спустя тридцать лет Ковалевская не позабыла, с какой невероятной остротой и отчаянием пережила крушение своих молодых надежд. Ей хотелось умереть, не просыпаться, не начинать нового дня с прежней мукой. Вспоминая себя ту, жалкую, заплаканную, оскорбленную, она, уже с опытом взрослой женщины, замечала, что сердечные травмы, даже если они получены в юном возрасте, губительны для женщины. Не обманывайтесь высохшими слезами и даже улыбкой. Где-то там, в глубине, под гнетом обрушившегося горя, «на душе, — как писала Ковалевская, — совершается медленный, невидимый для других процесс разрушения и одряхления».

А внешне — да, все улеглось, успокоилось. Соня, как умела, пережила свое горе. Анюта отказалась выйти замуж за Достоевского. Он уехал и вскоре нашел свое счастье — со второй женой Анной Григорьевной, оставшись до конца в дружеских отношениях с сестрами Круковскими.

Надолго, очень надолго вирус влюбленности оставляет Соню. Теперь она скорее Софья Васильевна. Так ее называют новые петербургские друзья, в компании которых нет места нежным взглядам, а идут бурные дебаты о социальных свободах, равенстве полов, всеобщем просвещении.

* * *

...Восемнадцатилетняя Соня, как и сестра, твердо решила продолжить образование. Но генерал Круковский и слышать не хотел ни о каком университете. Чем настойчивее приступали к нему дочери, тем с большей решительностью говорил он «нет». В доме воцарилась гнетущая атмосфера. Не проходило дня, чтобы дверь в кабинет генерала не захлопывалась с оглушительным грохотом и откуда-нибудь из дальних комнат не доносились глухие рыдания. Девушкам запретили выходить на улицу без гувернантки. Круковский все больше склонялся к мысли, что надо скорее покинуть этот зараженный бреднями Петербург и ехать в тихое Палибино.

Действительно, если бы можно было заглянуть под крыши петербургских домов в те шестидесятые годы прошлого столетия, когда сестры Круковские так рвались на волю, то невольно бы пришла на ум мысль о начавшейся настоящей эпидемии семейных разладов.

«Не сошлись убеждениями» — этого было достаточно, чтобы молодежь из богатых семей, покидая отлаженное столетиями житье в особняках и роскошных квартирах, устремлялась на выстуженные промозглым невским ветром улицы. Испуганные

родители с ужасом пересказывали друг другу последние новости. Девушки-аристократки, сбившись в кучку, или, как они называют, коммуну, моют грязные лестницы, сами ходят на рынок, стирают и зарабатывают тем, что шьют белье. Угрозы лишить наследства, даже проклянуть, не действовали. На все попытки вернуть беглянок домой те отвечали отказом. Они, видите ли, хотят жить своим трудом и устраивать жизнь по собственному разумению. Конечно, родители могли прибегнуть к силе закона, но поступать так, не боясь огласки и полной компрометации девушки, решались не многие.

...Понимая, что не сегодня-завтра их увезут в Палибино, Соня и Анюта решили прибегнуть к средству, которое все больше входило в моду среди барышень, жаждавших освобождения от родительских пут. Фиктивный брак. Обвенчавшись с человеком, который сочувствовал стремлению жить самостоятельно, девушка получала от него отдельный паспорт и разрешение на учебу в университете.

Среди людей, с которыми Анюта познакомилась в Петербурге, было несколько счастливиц, именно таким образом получивших возможность учиться. Они, впрочем, как и вся компания молодежи, куда зачастила старшая генеральская дочка, недолго ломали голову над тем, как помочь сестрам.

...Иван Рождественский, уже успевший посидеть в крепости и побывать в ссылке за участие в революционных студенческих волнениях 1861 года, был готов на товарищескую услугу. Добрый малый решительно направился к генералу просить руки младшей дочери, Софьи. Когда он объяснил отцу цель своего визита, тот, откашлявшись, поинтересовался социальным положением неожиданного гостя. Рождественский отрекомендовался сыном священника и поборником «свободной педагогики». Разумеется, этого было достаточно, чтобы генерал поблагодарил визитера за честь, которую он делает своим предложением, но категорически заявил при этом, что его дочь Софья Васильевна еще слишком молода и ей рано выходить замуж.

Да, в том-то и была загвоздка, что кандидаты в фиктивные мужья были не из тех, за кого мог бы генерал Круковский отдать свою дочь. Всё разночинцы да обедневшие дворяне. Итак, поиски «женихов» затягивались, и Соня взяла дело в свои руки.

Через Марью Александровну Бокову-Сеченову, жену знаменитого физиолога И.М.Сеченова, который был поборником женского образования, она познакомилась с Владимиром Онуфриевичем Ковалевским. На тайном совете решили «освободить» сначала Анюту. Жених, казалось, на этот раз был подходящий...

Сын мелкопоместного дворянина Владимир Ковалевский блестяще окончил училище правоведения, увлекся естествознанием и за пять-шесть лет издал пятьдесят книг разных авторов из этой области науки. Конечно, генералу полагалось знать о кандидате на руку дочери лишь с этой стороны. Серьезный человек, имеющий свое дело, — чем не партия двадцатипятилетней Анюте, которой давно пора выходить замуж? Круковский, конечно, не предполагал, что «жених» имел связи с радикальным революционным кружком, общался в Лондоне с Герценом и участвовал в польском национально-освободительном восстании.

Довольно трудной задачей оказалось, не вызывая подозрений, познакомиться с семейством Круковских, но все прошло благополучно, и теперь уже не было нужды для уточнения дальнейших деталей операции встречаться с оглядкой, как раньше, в церкви.

Казалось, все шло по задуманному плану. Но случилось неожиданное: Ковалевский попросил руки младшей дочери.

Никто не ожидал такого поворота событий, и менее всего, кажется, сам Анютин жених. Совсем недавно он, уехав по делам в свою деревню, написал Соне письмо, из которого было ясно, что он берет на себя заботу о поисках подходящего для нее варианта. «В Петербурге, конечно, первым моим делом будет производство по вашему поручению смотра и отобрания более годных экземпляров для приготовления консервов, — сообщал он, — посмотрим, каково-то удастся этот новый продукт». Если учесть, что «консервами» назывались женихи, готовые на фиктивный брак, то ясно, о чем хлопочет Ковалевский. И вот его рука предложена восемнадцатилетней Сонечке.

Генерал, предполагавший выдать замуж сначала старшую, отказал Ковалевскому. Сестры, решив, что такой ситуацией все равно надо воспользоваться, рискнули идти до конца.

...В доме ждали гостей. Повара хлопотали на кухне. Генеральша вернулась с покупками: букетами цветов для украшения стола и новыми нотами для рояля. Прислуга занималась платьями для барышень. Те же, воспользовавшись тем, что отец в клубе и до них никому нет дела, закрылись у себя в комнате. И вот осторожно, стараясь ни с кем не встретиться, Соня в пальто и шляпе спустилась вниз в прихожую и выскользнула за дверь. Анюта, провожавшая ее, беззвучно закрыла замок. До самых сумерек она просидела у себя в комнате и вышла, переодевшись в нарядное светло-голубое платье, когда должны были съезжаться гости.

— Хороша, Анюточка, душа моя, прелесть, — восхищалась

мать. — А где же Софочка?

— Она... она вышла, — запинаясь ответила Анюта.

— Куда? С кем?

Лакей принес записку: «Папа, прости меня, я у Владимира. Прошу тебя не противиться больше моему браку».

...Соня постучала в дверь, и та немедленно открылась. Видно было, что ее ждали. В комнате находились Владимир и их друзья. Они бросились к девушке: «Ну как? Ну что, Соня?» Везде лежали книги, и, сбросив их с одного из стульев, ее усадили. «Да что рассказывать? Надо ждать...» Шумел самовар, но чай пить не сели. Очень скоро через незатворенную дверь послышались быстрые шаги. Они приближались, и сжавшейся Соне казалось, что сейчас раздастся удар грома. Она вскинула голову: в проеме двери, облокотившись о косяк, тяжело дыша и прижимая руку к боку, стоял генерал Круковский...

Домой они вернулись вместе с Владимиром Ковалевским. Генерал извинился перед гостями и произнес:

— Позвольте мне представить вам жениха моей дочери Софьи...

Голос его дрогнул.

Круковские перебрались в Палибино, где решили сыграть свадьбу. Владимир Онуфриевич писал Соне письма, которые невольно заставляют усомниться — только ли передовые убеждения подвигнули его на фиктивное жениховство? «Вот уже целая вечность, как мы расстались, мой милый, чудный друг, и я опять начинаю считать дни, которые остались до нового свидания. ...Прежде всего я принялся в городе за отыскивание квартиры... Комнаты у нас страсть какие высокие и светлые до крайности». Он рисует план их семейного гнездышка из пяти комнат. Ответные письма Сони в меру веселы, полны палибинских новостей. Анна занимает в них большое место. «Невеста» как бы лишний раз напоминает об их тайном договоре, единении с целью, которая исключает всякий намек на интимность, личные чувства. Ковалевского постоянно называет «братом», а себя «сестрой».

В сентябре 1868 года Софья обвенчалась с Владимиром Онуфриевичем в палибинской церкви.

Софья Васильевна Ковалевская

Дрогнула ли ее душа, когда, стоя перед алтарем, она давала свою лжеклятву? Или посеянные Анной семена дали всходы, подтвердив уверенность — «там» ничего нет?.. Трудно ответить на этот вопрос. Но быть может, не случайно, довольно детально рассказывая о перипетиях своей жизни ближайшей подруге А.К.Леффлер, написавшей биографию Ковалевской, Софья Васильевна не вспоминала ликующие звуки «аллилуйя» под сводами палибинской церкви. Что ни говори, какой возвышенной целью ни оправдывай это «лжевенчание», у Ковалевской, натуры впечатлительной до нервности, неизбежно должно было появиться чувство душевного дискомфорта. Да и могла ли существовать такая идея, в угоду которой восемнадцатилетняя девушка в венчальном платье не пожалела бы о том, что стоит под руку с малознакомым нелюбимым человеком? Добро бы, мы имели дело с циничной, многоопытной особой, давным-давно научившейся держать в узде сердце и душу. Но как могла на это решиться юная, романтическая Соня, с ее рано проснувшейся женственностью, жаждой любви и ласки, обостренным вниманием к красивым, как дядюшка, или значительным, как Достоевский, мужчинам? Загадка.

* * *

История прорыва русских женщин в университеты весьма драматична. Справедливости ради надо сказать, что авторитетная мужская научная и общественная плеяда их поддержала. Среди таковых были Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, А.Н.Бекетов,

А.М.Бутлеров, И.И.Мечников и другие.

В.В.Розанов, о котором говорили, что, когда он умрет, «русские женщины поставят ему памятник» в благодарность за его любовь к ним, был ярым противником женского образования. Человек, чье философское творчество проникнуто обожествлением женщины, мыслитель, первый восставший против трактовки плотской любви как греховной, в вопросе, пускать женщину в университет или нет, был полностью солидарен с генералом Круковским.

Так же, как и он, с беспредельной горечью, в бессильной тоске, Розанов наблюдает, как его божество ринулось навстречу иной жизни, «сбрасывая с себя запястья, кольца, обстригая красоту свою — волосы, марая руки, лицо в трупной вони анатомических театров...».

Но Василий Васильевич не винит женщину. Без малейшего сомнения указывает он на причину этого несчастья — мужчину. Прекрасная Ева в ее бегстве из дома, как считает Розанов, — это жертва мужчины, изменившего коренным чертам своей природы.

«Он разучился быть покровителем и вождем» — вот приговор философа сильному полу. Мужчина «потерял инстинкт правильной к женщине любви», любви, в которой мысли о равенстве, сотрудничестве, товариществе, партнерстве дики и неуместны. Потому что женщина — это Женщина, а мужчина — это Мужчина. И вот, рассуждает Розанов, поняв, что мужчина добровольно сложил с себя обязанности покровителя и вождя, женщина «покорно, без рассуждений, приняла новое требование. Она взялась за книгу, потянулась к скальпелю...».

Розанов язвит в адрес тех, для кого вериги мужского превосходства оказались слишком тяжелыми и кто заменил их на гораздо более необременительное — на отношение к женщине как к равноправному партнеру. Добролюбова, Писарева, Щелгунова, Стасова и прочих, как он выражается, «хлопотунов около «женского вопроса», он считает аномалиями, носителями «немужского». Этот дефект ощущают прежде всего сами женщины. Вот почему им так легко было стать «другом и товарищем» такому мужчине — «они не чувствовали того неудержимого влечения, которое покоряет женщину, к инстинктам и чертам сильно выраженной мужской природы».

Наверняка во всем этом есть какая-то своя, словно крючком резко вытянутая на свет Божий, правда. Однако нельзя забывать, что время диктует свое, капитализация России, наметившаяся с 30-х годов XIX века и вошедшая в свою развитую фазу к 60-м годам, расцвет науки, достижения в этой области, естественно, должны были натолкнуть на мысль, что отсутствие

профессионального обучения служит ей тормозом.

Разумеется, в те годы большинство женщин по-прежнему предпочитали семейный очаг университетской аудитории. Смелость переступить черту, отречься от заведенного веками — это всегда удел немногих. «Вообще женское развитие — тайна, — писал А.И.Герцен. — Все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословие и чтение романов, глазки и слезы — и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла — перед вами Теруань де Меркур, красавица-трибун, потрясающая народные массы, княгиня Дашкова восемнадцати лет с саблей в руках среди крамольной толпы солдат».

Ковалевская с ее гениальной одаренностью — тоже из ряда вон...

Няня хлопотала возле Сони, собиравшейся в Петербург. По правде, старушка, сильно одряхлев, была плохой помощницей, она и сама понимала это. Поэтому, посуетившись без толку, садилась в уголок. Ей хотелось быть возле своей любимицы. Няня то утыкалась в платок, причитая, что им с Соней больше не свидеться, то, вытерев слезы, сердито выговаривала ей:

— И что же ты, ясонька, такого некрасивого себе выбрала? Сама-то какая пригожая, картинка ты моя. А муж? Ох, невидный из себя мужчина. Молодой, и уж тебе и стекла на глазах. Папенька ваш не в пример старше будет, а ведь герой героем перед ним.

Соня неожиданно для себя всякий раз, как нянюшка затрагивала эту тему, расстраивалась. Старушка замечала это и примирительно говорила:

— Красота, однако, ежели рассудить, дело десятое. Мужик добрый должен быть, не обижать... Кажись, твой нраву мягкого. Говорит так тихо, ласково. А, касаточка моя? Ну да, ну да, разве сразу спознаешь, за несколько деньков-то?

Соня, не отрываясь от сборов, машинально повторяла в который раз, что Владимир хороший, добрый и пусть няня не волнуется. Ей хотелось поскорей уехать. Жизнь под пристальным взглядом, каким смотрят на новобрачных, угнетала ее. Как ни убеждала Анюта, Соне все казалось, что они с Ковалевским выглядят ненатурально. Молодожены, наверное, должны вести себя иначе. Соня уставала от своей роли и старалась как можно чаще уходить с Владимиром из дома. Они бродили по окрестностям, которые, разукрашенные сентябрем, были чудно красивы.

И вот настал час прощанья с Палибином. Ковалевские уезжали в Петербург. Садясь в экипаж, Соня готова была

разрыдаться. Она жадно, пока не повернули на большак, смотрела на крыльцо родного дома, на провожавших, которые махали им платками. Только сейчас она поняла, что любила и этот дом, и всех, кто в нем жил, очень любила, и вдруг то, что ждало ее впереди, показалось ненужным, даже враждебным. Соня не замечала, что рядом с ней сидит Владимир. Ее охватила тоска. Но вот замелькали незнакомые места, и она понемногу успокоилась...

* * *

В Петербурге жизнь началась веселая и суматошная. Шел день за днем, месяц за месяцем. Квартира Ковалевских продолжала оставаться необжитой. Соне недосуг было заниматься занавесками, мебелью и поисками хорошей кухарки. Что ни вечер, Владимира и Соню видели в гостях, на вечеринках, где собирались все свои и велись порой очень смелые разговоры.

Красота и обаяние Ковалевской действовали безотказно. Не было человека ни молодого, ни старого, кто решился бы не ответить на ее восхитительную улыбку. Только здесь, в Петербурге, Соня поняла наконец, что свободна, свободна до конца. Она буквально лучилась от счастья, и единственное, что огорчало ее, это непристроенность Анюты. Надо было срочно искать кого-то подходящего из ряда «консервов». Но трудности были все те же: за разночинца в потертом сюртуке отец Анюту не отдаст. Соне пришла в голову мысль снова обратиться к госпоже Боковой-Сеченовой, уже помогавшей сестрам с поисками жениха. Мария Александровна свой человек, думала Ковалевская, ей объяснять много не нужно.

...Маша Обручева, сестра будущего знаменитого ученого-демократа, вышла замуж за доктора Бокова с одной целью: иметь возможность учиться медицине. Брак был фиктивный. Молоденькая женщина принялась воплощать в жизнь свою мечту. Она оказалась не только настойчива, но и талантлива: получила в университете Гейдельберга диплом врача-окулиста, а потом занялась практикой в Лондоне, где прославилась как искусный специалист по глазным болезням.

Вернувшись в Россию и не найдя себе здесь применения как врач, Мария Александровна зарабатывала переводами. По воспоминаниям А.Я.Панаевой, «она перевела почти всего Брэма, которого издавал выпусками молодой естественник В.О.Ковалевский». Наступил день, когда ученая женщина впервые узнала любовь. Это был Сеченов, лекции которого, много нашумевшие в Петербурге, Бокова посещала. Ее чувство оказалось взаимным. Но Сеченов не мог назвать Марию Александровну своей женой: в глазах закона она была связана с Боковым не

фиктивным, а самым настоящим церковным браком. Сам доктор Боков, несмотря на то что их брак стал реальным, ни в чем не препятствовал жене. Однако выбраться из ловушки оказалось трудно. Для развода нужны были веские и доказанные факты. Сеченов и его студентка стали жить как муж и жена.

И вот случилось неожиданное. Когда Ковалевская обратилась к Марии Александровне с просьбой уговорить Сеченова на фиктивный брак с Анютой, она категорически отказалась.

Надо признаться, что кандидатура действительно была выбрана Ковалевской неудачно. Женщина, чья собственная судьба была так осложнена последствиями фиктивного брака, едва ли захотела бы подвергнуться новым испытаниям, добровольно «отдав» молодой и красивой девушке любимого мужчину, пусть и на роль подставного мужа. Мария Александровна отлично знала, как легко иногда фиктивный брак становится реальным.

Потерпев неудачу, Ковалевская снова и снова старается «выдать замуж» сестру. Пожалуй, это единственное, что их с Владимиром задерживало в Петербурге. Соня душой давно уже рвалась туда, где она сможет учиться. Что делать? Петербург лишь поманил женщин. В 1860 году двери его университета впервые распахнулись для них. Теперь они могли быть хотя бы вольнослушательницами. Однако радость была недолгой. Скоро из-за студенческих волнений занятия были прекращены, а когда через год университет снова открыли, то места для женщин в нем не оказалось. Оставалась заграница.

Весной 1869 года Ковалевская покинула Россию...

* * *

...Профессор Вейерштрасс без всякого энтузиазма принял посетительницу. После лекции в университете и сытного обеда, приготовленного сестрами — старыми девами, он обычно с час мирно дремал в старом вольтеровском кресле. Сегодня ему пришлось отступить от этого правила. Он был раздосадован и рассеянно слушал посетительницу. Ей отказали в приеме в университет, и она просит профессора давать ей уроки.

— Откуда вы? — спросил профессор.

— Я русская, — ответила Ковалевская.

Гордость берлинской математической школы, Вейерштрасс имел весьма смутное представление о моде и все же, глядя на женщину, он подумал: «Боже, как ужасно там одеваются дамы». На Соне было кое-как сидевшее, мешковатое пальто, каких в Берлине давно не носили. Шляпа, нелепо нахлобученная, закрывала пол-лица. «Бедняжка, — смягчился профессор, — должно быть, она очень некрасива». В качестве испытания он дал ей решить несколько весьма трудных задач, втайне надеясь, что

странноватая гостья сюда уже не вернется.

Каково же было его изумление, когда через неделю русская пришла к нему и сказала, что задачи решены. Мало того, что они были решены верно, Вейерштрасс просто прихлопнул в ладоши от изящества их решений. Он задал гостье несколько вопросов. Почувствовав, что профессор заинтересовался ею, Соня стала отвечать с жаром и в порыве воодушевления сняла свою уродливую шляпу. Вейерштрасс замер. Он увидел юное, прелестное, раскрасневшееся от возбуждения лицо. Освобожденные от шляпы волосы слегка растрепались, и каштановые прядки упали на лоб. На профессора пахнуло молодой свежестью. Он уже не слышал, что говорила русская, а только думал: «Сколько ей лет — шестнадцать, семнадцать?»

...Прошло совсем немного времени, и Вейерштрасс понял, что ему в руки попал талант, сравнить который он бы не смог ни с кем, кого знал и учил за свою жизнь. Без сомненья, трудолюбие, которым обладала эта хрупкая молоденькая дама, плюс феноменальная одаренность должны были в недалеком будущем принести блестящие результаты. И когда Софья взялась за решение математической задачи высокой сложности, он не стал отговаривать, а лишь поддержал свою ученицу.

По вечерам Софья приходила к нему, а по воскресеньям профессор, тщательно одевшись и спрыснув сюртук душистой водой, шел в маленькую квартиру Софьи, снятую ею неподалеку от университета. Их занятия, когда оба уже уставали, переходили в долгие беседы. Ученица рассказывала о своей прежней жизни, о России так живо и увлекательно, что Вейерштрассу казалось, что он побывал там. Профессор ловил себя на том, что, с тех пор как маленькая россиянка переступила порог его холостяцкого жилища, в его отлаженной, монотонной жизни что-то изменилось. И изменилось в лучшую сторону. Две его сестры, которые жили вместе с ним, успели всей душой привязаться к Софье и расстраивались, когда что-либо отменяло занятия. Чувствуя, как хорошо здесь к ней относятся, Софья становилась веселой, беззаботной и доверчивой. Лишь одной темы старались не касаться в доме Вейерштрасса. Здесь никогда не спрашивали Софью о ее муже, заметив, что ей неприятна эта тема. Она ни разу не представила им Владимира, и сам он вел себя странно. По вечерам, когда профессору и ученице случалось засидеться допоздна, раздавался стук в дверь. Сестры открывали — один и тот же господин, вежливо поздоровавшись и никогда не переступая порога, просил передать фрау Ковалевской, что внизу ее ждет экипаж. Они знали, что это муж Софьи, но молчаливый договор сохранялся в силе.

...И Софье, и Владимиру до их лжевенчания трудно было вообразить подводные мели фиктивного брака. Казалось бы, все так просто и ясно. Единственное — приходится быть начеку с родителями и знакомыми, не посвященными в суть дела. С отъездом же за границу и эти проблемы исчезли. Но теперь трудность друг для друга представляли они сами. Одно то, что из двух сестер, несмотря на договоренность, Владимир выбрал младшую, говорит о многом. «Молодой муж любил ее идеальной любовью, в которой не было чувственности. Обоим им, по-видимому, еще чужда та болезненная низменная страсть, которую называют обыкновенно именем любви». Это пишет человек одного круга с Ковалевским, тех же взглядов и настроений.

И все-таки могла ли Софья при своих девятнадцати годах, пылком воображении оказаться вполне безразличной к двадцатишестилетнему мужчине, пусть не красавцу, но, безусловно, интересному, умному? У них было так много общего. Они в конце концов жили бок о бок друг с другом на чужой земле, что всегда подталкивает к сближению.

Но и Софья, и Владимир были уверены, что не должны нарушать правила той жизни, которую придумали сами. А в этих правилах о сердечных делах не было написано ни слова. Любовь, физическое влечение — неужели они попадут в этот допотопный капкан? Случись такое, им пришлось бы расписаться в предательстве своих целей: учеба, покорение вершин в науке, общественное благо. Любое отклонение от этой мечты, которой уже были принесены жертвы, мешало восхождению и, хуже того, ставило под сомнение идеи «новых людей». А Ковалевским так хотелось быть ими!

Софья помнила, с какой насмешкой смотрела их петербургская компания на девушку, вышедшую замуж по любви. Это казалось безнадежно устаревшим, погибельным для личности. И вот теперь, размышляя о себе и Владимире, Софья придирчиво искала в их отношениях то, что не вписывалось в понятие товарищества. А если бы нашла — то уничтожила бы. Она искренне считала, что это в ее воле. Ведь Анна в таких вопросах смогла бы быть непреклонной. Наверняка. И Софья вспоминала недавнюю встречу с сестрой со смутным чувством стыда и неловкости. Что же тогда произошло?..

После Петербурга Ковалевские жили в Гейдельберге. Здесь в университете уже училась небольшая группа молодых людей и девушек из России. Супруги присоединились к ним. Софья занималась математикой, Владимир зоологией. Маленький, тихий городишко, где в восемь вечера сторож бродил по улицам, стуча в колотушку и призывая жителей гасить огни, пришелся им

по душе. Здесь впервые после треволнений палибинской свадьбы им было спокойно и легко.

Ковалевские нашли скромную, но уютную квартиру и жили соседями, каждый в своей комнате. Владимир неотлучно сопровождал Софью на прогулки, молодежные вечеринки, после лекций они вместе шли домой, делясь друг с другом новостями.

Однако с приездом к ним Анны все резко изменилось. Видимо, та в глубине души была уязвлена своим задержавшимся девичеством. Ей шел двадцать седьмой год, и в сердце шевельнулось завистливое чувство. Начались придирки, намеки, и в конце концов вышел очень неприятный разговор.

Анна донимала Ковалевского: раз брак фиктивен, то надо быть честным и не переходить грань. «Какую грань?» — недоумевал Владимир. Но Анна считала недопустимым, что Ковалевские живут в одной квартире и слишком много времени проводят вместе. Стало понятно — ближайший друг, кем считали Ковалевские Анну, думает, что они обманщики и предатели. Заподозренный в «болезненной низменной страсти», Владимир покинул квартиру, а там и вовсе уехал из Гейдельберга, сначала в Иену, потом в Мюнхен. Он приезжал к Соне, перебравшейся в Берлин, но лишь на время, урывками. Ей в большом холодном городе было неуютно, тоскливо. Она обвиняла Владимира в эгоизме, в отсутствии добрых чувств к ней. Их встречи заканчивались ссорами, а письма были переполнены взаимными упреками.

Тяжело перенося одиночество, Софья подозревала, что Ковалевского это не мучает. «Ему нужно только иметь около себя книгу и стакан чая, чтобы чувствовать себя вполне удовлетворенным». Ее это злило. Она забыла, что Владимир, дав ей долгожданную свободу, выполнил главное и единственное условие их брака. Теперь они могли расстаться и не видаться больше никогда. Но раздражение Софьи, ее жалобы заставляют думать, что она отнюдь не хотела, чтобы дело кончилось именно так. Безусловно, отношения Ковалевских должны были принять какую-то более конкретную форму. Полный разрыв? Полный союз?

На это все-таки еще нужно было время...

* * *

Профессор Вейерштрасс с гордостью и грустью признавал, что работа его ученицы близится к концу. С гордостью — потому что понимал: на математическом небосклоне поднимается новая яркая звезда и он в меру отпущенных ему сил способствовал этому. С грустью — потому что четыре года пролетели вмиг, Софья, конечно же, уедет в Россию, и эту потерю ему никто

никогда не заменит.

Но, преисполненный тайного, невысказанного чувства к своей ученице, профессор сделал для нее все что мог. Он, прожив жизнь во власти отвлеченных формул и теорем, научился читать все на лице Софьи. Чтобы скрасить ей скучное берлинское житье, отправлялся с нею в театры, на концерты, знакомил с интересными людьми. Он на правах старшего друга умолял ее не перегружаться так сильно и беречь здоровье. Она заболевала — он возил ее по врачам. Его дом и стол всегда были в распоряжении милой ученицы. На Рождество, когда всякий, покинувший отчие стены, особенно остро ощущает свою заброшенность, профессор устраивал для Софьи чудесный праздник с красавицей елкой и трогательными подарками. Его рыцарство не знало предела. И теперь, считал он, ему надлежало сделать последнее — помочь Ковалевской добиться официального признания.

Вейерштрасс решился на шаг, который для любого другого, не такого авторитетного, как он, ученого окончился бы неудачей: в Геттингенский университет полетело письмо профессора с просьбой присудить Ковалевской ученую степень без защиты, заочно.

За эти годы профессор изучил характер своей ученицы. Она была нервна до болезненности. Ни здоровьем, ни выносливостью природа ее не наградила. Как скажется на ней выступление перед чужой и, возможно, не слишком доброжелательной аудиторией?

Поразительно, какая предупредительность и забота сквозят в строчках Вейерштрасса. «Она застенчива, не может свободно говорить с чужими, — писал он о Софье геттингенским коллегам. — При ее молодости и нежном сложении возбуждение от экзамена может вредно отразиться на ней. Факультет должен согласиться, что студент, самостоятельно занимающийся исследованиями подобно тем, что выполнила Ковалевская, представляет собой нечто необычное».

Ходатайство профессора Вейерштрасса возымело действие: Ковалевская получила научную степень доктора философии и математических наук. Впереди была родина, куда она возвращалась победительницей. И, как это всегда бывает после нелегкой полосы в жизни, ей казалось, что все тревоги и сомнения остались позади.

Софья, конечно, повзрослела и была теперь готова иначе взглянуть на свои отношения с Владимиром. Их, даже вопреки собственным желаниям, все-таки соединили какие-то тайные нити. Сейчас она стала дорожить ими. Кроме того, профессиональный успех «старшего брата» не мог оставить ее

равнодушной. Ковалевский действительно потряс научный мир. Вчера еще неизвестный любитель-естественник всего за два-три года создал несколько фундаментальных работ, послуживших основой сравнительной палеонтологии. Позже их назовут классическими, а маститые ученые-палеонтологи всего мира признают Владимира Ковалевского своим гениальным учителем.

В Россию Ковалевские вернулись вместе...

* * *

Те, кто пять лет не видел Софью, ожидали встречи с неким синим чулком, дамой науки, которая во сне и наяву бредит формулами. Ковалевская же, казалось, напрочь забыла свою математику и успехи на этом поприще. Она с удовольствием дала себя закрутить вихрю развлечений. Ее видели в театрах, на литературных вечерах, на молодежных пирушках, шумевших до рассвета. Оживленная, с блестящими глазами и улыбкой, не покидавшей лица, Ковалевская по-прежнему притягивала восхищенные взоры. Неужели эта хохотушка, танцевавшая до упаду на дружеских сходках, действительно подданная сухой и строгой науки? «Ах, какие же вы наивные, господа, — смеялась Софья. — Лишь с фантазером и мечтателем водит знакомство ее величество математика».

И говорила, говорила, говорила... Родная речь звучала музыкой. «Простите, друзья, там, в неметчине, я молчала долгие пять лет. Как же мучительно жить без долгих наших разговоров за чаем пусть и ни о чем, о пустяках-мелочах, но долгих, задушевных». Та петербургская осень, осень возвращения, когда нудные холодные дожди вымывали из города последнее золото парков, казалась Софье раем.

Милые, родные лица — она видела их в Палибино, где вся семья после нескольких лет разлуки собралась за большим обеденным столом. Отец, мать, Анюта с мужем, французом Виктором Жакларом.

...В этот мирный час можно было безбоязненно вспоминать встречу сестер в осажденном версальцами Париже. Члену правительства Коммуны Жаклару и его жене, которая рядом с ним сражалась на баррикадах, грозила смертельная опасность. Ковалевские, рискуя всем, приложили невероятные усилия, чтобы спасти Анну от ареста, а Виктору помочь бежать из тюрьмы.

И вот они вместе. Генерал Круковский, словно предчувствуя свою скорую смерть, с любовью и нежностью смотрел на дочерей. Он давно по-родительски все простил им и лишь желал, чтобы жертвы, принесенные его девочками новой, непонятной ему жизни, не оказались напрасными. Он смутно подозревал затаенную опасность для женского существа на выбранном ими

пути. И страстно хотел ошибиться...

Палибинские письма Софьи мужу, иногда даже в стихах, говорят о том, что точки над «и» были поставлены. У них семья — обыкновенная, земная. А посему Ковалевская, дипломированный доктор философии и математических наук, знакомится с терниями супружеской жизни, выпадающими всем женам на свете.

Твоей смуглянке скучно, мужа ожидает,
Раз десять в сутки на дорогу выбегает.
Собаки лай, бубенцов звонких дребезжанье
В ней возбуждают трепет ожиданья,
И вновь бежит она и, обманувшись вновь,
Клянет мужей неверных и любовь.

Она писала мужу шутливые письма, а на горизонте их жизни уже начали сгущаться тучи. Неприятности имеют скверную особенность являться одна за другой, не давая передышки. Сначала супругам пришлось пережить отказ университетского начальства принять их на преподавательскую работу. Женщина на университетской кафедре? Об этом не могло быть и речи. Ковалевскому же припомнили его активное участие в революционном движении. Итак, супруги оказались в изоляции от любимого дела. И с большой горечью рука Софьи Васильевны позже выведет: «За все время в России я не сделала ни одной самостоятельной работы».

Кроме того, оказалось, что супругам попросту не на что жить. Приданое Ковалевской буквально просочилось меж пальцев. Обоих отличала крайняя непрактичность. Каким-то невероятным образом они находили дорогие, но плохие квартиры, питались дурно, к ним липли всякого рода ловкачи.

Как пишут люди, хорошо знавшие быт супругов, одно время они даже попались в руки шайки воров, которая систематически их грабила через горничную. Гениальный математик и плохая хозяйка, Ковалевская полушутя признавалась, что не смогла бы преподавать детям арифметику в школе, будучи неспособной справиться с домашними счетами.

Владимир Онуфриевич, вынужденный покуда расстаться с мыслью о научной работе, искал источники дохода. Возобновленная издательская деятельность Ковалевским приносила одни убытки. Последние остатки приданого Софьи Васильевны «съела» газета, в издание которой она включилась.

Казалось бы, супруги должны были правильно оценить свои предпринимательские способности, но нет же! Ковалевская

откровенно пишет: «В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое».

Супруги занялись возведением в Петербурге многоэтажных домов, бань, оранжерей. Строительный бум обещал скорые и большие деньги. Софья же Васильевна понимала: без них, в постоянных хлопотах о хлебе насущном нечего и думать о возврате к научным занятиям. И она не только не остерегла мужа, но, пожалуй, подталкивала его к все большему расширению предпринимательской деятельности. Если бы она знала, чем это кончится!

Поманив большим кушем и даже принеся некий первый успех, дело начинало потихоньку разваливаться. Кредиторы, поставщики, долговые обязательства, беззастенчивое надувательство — Владимир Онуфриевич пробовал, но не мог с этим справиться. Он понял, что попал в капкан, но, легко терявший голову, не знал, как из него выбраться. И Софья Васильевна начала понимать, что строительная лихорадка приведет к краху. Однажды она увидела странный, очень испугавший ее сон. Он приснился как раз перед закладкой нового большого здания. Как будто бы большая толпа народа, обступившая строительную площадку, вдруг рассеялась. Софья Васильевна увидела своего мужа. К нему на плечо вспрыгнуло сатанинское существо и пригибало его к земле.

Теперь ее, от природы очень суеверную, дурные предчувствия уже не отпускали. Она жила в постоянном страхе. Беременность лишь его усугубила, протекала тяжело, изматывающе, бесконечно. Счастливое, как тому положено быть, ожидание превратилось в пытку. И вот родилась девочка, названная в честь мамы, Софьей. После родов Ковалевская долго и тяжело болела. Ослабленная, мучимая тревогами, она в конце концов стала уговаривать мужа покончить с сомнительными занятиями.

На беду, именно в это время Ковалевский встретил некоего нефтепромышленника. Этот искатель приключений прельстил Владимира Онуфриевича идеей быстрого обогащения. В результате Ковалевский оказался втянутым в финансовые махинации. Почувствовав неладное, жена потребовала от него немедленно выйти из игры. Но было поздно. Ковалевский понимал, что обратного хода нет, и действовал украдкой. В доме поселились недоверие и напряженность. Супруги отдалились друг от друга.

К семейной драме подтолкнуло и то, что, желая окончательно пресечь влияние Ковалевской на мужа, его компаньон-

нефтепромышленник задел ее женское самолюбие. Это был верный удар. Все доводы разума для Софьи Васильевны не значили ничего, если подымала голову ревность. В этом смысле никакой разницы между маленькой девочкой, которая набросилась на свою подругу лишь за то, что ее приласкал любимый Сонин дядя, и ею теперешней, взрослой женщиной, не было. Помимо всех талантов, природа наградила Ковалевскую опасным даром: ревнивостью. Стоило этому чувству подать голос, здравый смысл, доверие к другому человеку уступали место самым черным подозрениям.

И сейчас, хотя чутье подсказывало Ковалевской, что муж ни в чем не виновен перед ней, остановить себя она не могла. В семье начались скандалы, выяснения отношений. Они переехали в Москву, но устройство на новом месте не ослабило напряжения. Снежный ком взаимных обид нарастал. В ситуации, когда все вокруг черно, невозможно жить. Нужна отдушина, просвет, маломальская удача. Вместо этого — новый удар.

Чтобы получить место преподавателя, она попыталась сдать магистерский экзамен. Ей не разрешили этого сделать и сказали, что и она, и ее дочь «успеют состариться, прежде чем женщины будут допущены к университету».

Ковалевская понимала: жизнь зашла в тупик.

* * *

Давно замечено, что талант не столько дар небес, сколько тяжкий крест. Люди, им наделенные, невероятно страдают, если не имеют возможности его реализовать. Талант требует выхода, воплощения, иначе он, словно растущая опухоль, разъедает все внутри, увеча человека неосознанной смертельной тоской.

Ковалевская, рожающая ребенка, Ковалевская, униженно хлопочущая перед кредиторами, Ковалевская, не раз в мечтах являвшаяся себе в роли богатой владелицы недвижимостью, — Софье Васильевне казалось, что вместо нее действует ее двойник. И делает он то, что ей, настоящей, совсем не нужно.

Словно со стороны, Софья Васильевна наблюдала за самозванкой. Как положить всему этому конец и вернуться к себе той, полузабытой: к формулам, книжкам, ночным мучениям над трудными задачами? Как стать свободной, чтобы жить так, как хочется жить? Для этого надо скинуть семейную обузу. Муж — он был ей сейчас не нужен, раздражал, становился олицетворением ее просчетов, слабости, заблуждений. Да, наверное, она плохая жена, не слишком заботливая мать. Пусть! Она готова признать, что в этой области бездарна. Но зачем быть презренной троечницей, если можно стать отличницей, первой из первых. Только не здесь, не в квартирке с обоями в веселый цветочек, с

запахом обеда, с меховым жилетом мужа на спинке кресла, с его каждодневным вопросом: «Гуляла ли няня с Сонечкой?» Ее истинное место — теперь Софья Васильевна не сомневалась в этом — наука, и только она!

...Оставив Россию и мужа, Ковалевская, взяв маленькую дочь и лишь самое необходимое из вещей, ринулась к Вейерштрассу, единственному, на кого могла рассчитывать.

Карл Вейерштрасс за годы предпринимательских безумств Ковалевской не разуверился в ее высоком предназначении. Он стал мостиком между обрывом, возникшим было между милой его ученицей и наукой математикой. Он держал Софью Васильевну в курсе новостей в этой области, не давал погаснуть в ней интересу и желанью вернуться на престол, где она должна царить. Ни на секунду Вейерштрасс не сомневался в этом и сумел заразить своей убежденностью свою ученицу.

Благодаря немецкому другу Софья Васильевна познакомилась в 1876 году с весьма авторитетным профессором математики Миттаг-Леффлером. Обаятельный швед с пышной шевелюрой темных волос оказался учеником Вейерштрасса, которого тот буквально заразил рассказами о необыкновенной россиянке. Встретившись в Петербурге, ученики старого немца очень понравились друг другу. Через четыре года, вновь оказавшись в Петербурге, Миттаг-Леффлер рассказывал Ковалевской о том, что в Стокгольме открывается новый университет. В конце 1882 года он начал вести с Софьей Васильевной переговоры о возможности ее работы на кафедре математики Стокгольмского университета.

Тогда в сумятице семейных неприятностей, напуганная неудачами, следовавшими одна за другой, она отказалась. Еще неизвестно, примет ли Стокгольм женщину. Ах, если бы добрый профессор Вейерштрасс был рядом! Вот у кого можно было спросить: «Что делать дальше?»

Свидание с Вейерштрассом не заставило Софью Васильевну задержаться в Берлине. Она не могла простить этому городу обиду за то, что здесь ей отказали в праве сидеть на университетской скамье. Сам прусский дух был Ковалевской враждебен. Лишь добрый профессор искупал все грехи «неметчины». Теперь он слал ей письма в Париж, куда переехала Софья Васильевна.

Парижская жизнь понемногу сглаживала разочарования последних российских лет. Ковалевская много работала. Сейчас ей это шло на пользу. Она успокоилась, похорошела. В жизнь ее вошло событие, которому она хотела и не могла найти названия: любовь, романтическое приключение, такое обычное в Париже, а может, союз одиноких сердец?

Хозяйка пансиона, в котором остановилась Ковалевская, поднявшись однажды ночью, заметила, что жилище русской мадам покидает молодой мужчина. Спустившись из окна в сад, он перемахнул через ограду и исчез. Уверенность и быстрота, с которой действовал ночной гость, наводили на мысль, что он здесь не в первый и наверняка не в последний раз. Не в правилах хозяйки было вмешиваться в личную жизнь постояльцев, особенно тех, кто исправно платил и не нарушал ничьего покоя. Теперь она даже с некоторым интересом смотрела на русскую, постоянно ходившую с книжками в руках и в темной накидке, наброшенной на скромное платье.

...С молодым поляком Софья Васильевна познакомилась, едва приехав в Париж. Он оказался революционером, математиком, поэтом. А она? Приверженница переустройства России, поклонница романтики и науки. Их буквально швырнуло друг к другу, и, сложив два одиночества, они обрели то блаженное состояние души, которое им ранее было не знакомо. Ковалевская и поэт-математик постоянно были вместе, а если и разлучались на несколько часов, то сочиняли друг другу письма в стихах. Так радостно было, сидя за одним столом, их перечитывать.

Слова любви, вечное горючее, без которого стук женского сердца вял и замедлен, — как мало их слышала Софья! Такая живучая память о неудачных юных влюбленностях, необходимость носить маску законной супруги, уклоняясь от ухаживаний мужчин, — все складывалось совсем не так, как хотелось.

Детская мечта о рыцаре, совершающем безумства от страсти к ней, — вот какой встречи ей хотелось. «Я требую, — признавалась Софья Васильевна, — чтобы мне постоянно повторяли, если хотят, чтобы я верила любви ко мне. Стоит только один раз забыть об этом, как мне сейчас же кажется, что обо мне и не думают».

Должно быть, романтические отношения с поляком было как раз то, чего не хватало ей в браке с Ковалевским. Ей всегда казалось, и, должно быть, не без оснований, что любое из занятий мужа вполне заменяет ее. Она отступает на второй план. Уязвленное женское самолюбие лишало душевного покоя. А она еще не бегала на свиданья, ее не ревновали, и она не теряла голову от страсти. Ей уже перевалило за тридцать. Скоро она начнет стареть. Диплом же доктора математики — теперь Ковалевская отчетливо понимала это — не в состоянии возместить отсутствие полнокровной жизни сердца. Вот почему парижская страсть со всеми ее романтическими атрибутами — ночь, тайные свидания, пылкие послания — явилась как

воплощение давней и затаенной мечты. Но какая женщина не согласится с тем, что именно такое абсолютное, идеальное счастье неживуче и обрывается неожиданно!

Письма из России то и дело возвращали Софью Васильевну к печальной реальности. Ковалевский оставался ее мужем и отцом ее дочери. Кроме того, как это часто и необъяснимо бывает, даже после всех семейных дрязг, даже в очарованности поляком Софья Васильевна не могла поручиться, что с привязанностью к Ковалевскому окончательно покончено. Оттого в ее письмах отчаянные резкие фразы перемежались словами любви и нежности.

И вот в самый разгар своего парижского романа она получила письмо, написанное незнакомой рукой. Ее извещали, что Владимир Онуфриевич покончил жизнь самоубийством.

...Несколько недель Ковалевская лежала в жесточайшей горячке. Когда наконец поднялась, хозяйка пансиона поразилась перемене, произошедшей в ней. Чистое, светлое лицо Ковалевской, не собиравшееся прощаться с юностью, будто подернулось пеплом. Глаза смотрели измученно.

Едва собравшись с силами, Софья Васильевна выехала в Россию. Дальняя дорога, когда нечего было делать, а только думать и вспоминать, вспоминать и думать, растягивала донельзя ее страдания. Угрызения совести не давали покоя. Она старалась быть честной и не могла не признать, что в этой страшной кончине повинна и она. Владимир остался один на один со своей бедою. Его доконал не денежный крах, что он, вероятно, пережил бы. Но мужа обвинили в мошенничестве, обесчестили. И тогда его рука потянулась к газовому крану.

...Приезд в Россию был печален. Без Софьи Васильевны схоронили ее отца. Без нее опустили в землю гроб мужа. Эти две утраты как-то особенно остро чувствовались здесь, на родине. Любимый теплый дом в Палибино без хозяина пуст. Пусто и в их с Владимиром некогда семейном обиталище. Пусто было и на сердце. Единственная мысль не дает покоя: муж умер оклеветанным. Словно выполняя невысказанное желание покойного, Софья Васильевна взялась хлопотать о восстановлении его честного имени. Задача была трудная: она наткнулась на равнодушие и откровенную бессовестность. Тем энергичнее и настойчивее становились ее действия. Ковалевская не успокоилась, пока правда не восторжествовала. Это была горькая радость, вслед за которой пришли неотвязные раздумья: как, чем жить дальше?

Неожиданно она получила письмо от Вейерштрасса. Он как будто угадывал, когда ей было особенно плохо, и неизменно

предлагал помощь. Милый, добрый старик! Девятнадцать лет, с того самого момента, как женщина в нелепой шляпке переступила порог его жилища, его мысли неизменно будут обращены к ней. Но все, что достанется профессору от его безмолвного чувства к Ковалевской, — это пачка писем, которую он бросит в огонь камина, узнав, что пережил свою ученицу.

Однако в тот час, когда Софьей Васильевной владело полное смятение, он напоминал ей, что у нее есть верный друг. А стало быть, есть дом, где она может жить на правах его сестры, — профессор не смел предложить большего.

Берлин? Но там нет для нее работы, думала Софья Васильевна, а нахлебницей у доброго Вейерштрасса она не станет. В поисках выхода Ковалевская написала Миттагу-Леффлеру в Стокгольм. Она боялась его «да» так же, как и «нет». Если «да» — сумеет ли она, женщина, к которой наверняка отнесутся предвзято, остаться на высоте и не подвести симпатичного шведа? А он прислал ответ: «Да». Осенью 1883 года Ковалевская пишет Миттагу-Леффлеру: «Я надеюсь долгие годы провести в Швеции и найти в ней вторую родину». В ноябре, оставив дочку родственникам, она отправилась в Стокгольм... Балтика в это время особенно неприветлива. Свинцовые облака неслись вслед пароходу, плывущему в неспокойных волнах. Куда она направлялась, зачем? Оторвавшись от земли, которая была к ней так сурова, Софья Васильевна не чувствовала радости освобождения.

В Швеции она проведет почти восемь лет, до самой смерти. Отлучки в Россию и во Францию будут недолгими.

* * *

Первое, что делает иностранец, пока не врос в новую среду, — сравнивает. Не нужно было особенных стараний, чтобы заметить, насколько люди здесь мягче и предупредительнее. Это свойственно всем: толпе, суетящейся возле рыночных прилавков, и членам парламента. Конфликтов, выяснений отношений, желания насолить друг другу не было, и Ковалевская сделала вывод, что это итог куда более спокойной, чем у России, истории.

Приятно удивил ее и новый университет — дитя частной инициативы и добровольных пожертвований. Система обучения здесь была гибкая, направленная на то, чтобы в первую очередь удовлетворить человека, пришедшего учиться, а не департамент просвещения. Стоит ли говорить, как приятно было Ковалевской видеть в студенческой толпе женские лица. Мужчины и женщины допускались к слушанью лекций на совершенно равных правах и безо всяких оговорок.

Сначала Ковалевской было предоставлено место приват-

доцента, а летом 1884 года ее назначили ординарным профессором. Она читала четыре лекции в неделю, то есть два дня по два часа подряд. Кроме того, на ней лежала обязанность участвовать в заседаниях университетского совета. Безусловно, это льстило самолюбию Ковалевской, все-таки ожидавшей, что дискриминация ее, как ученой-женщины, даст себя знать. И потому она подчеркивала особо: «Я имею право голоса наравне с прочими профессорами».

На первых порах Ковалевская предложила своим слушателям выбрать, на каком языке они хотели бы слушать ее лекции: на немецком или французском. Они выбрали первое. А их профессор уже упорно штудировала шведский. Сверходаренная к тому же и трудолюбием, и упорством, Ковалевская настолько быстро им овладела, что на второй год смогла читать лекции и на шведском.

Благополучное вхождение в университетскую среду окрылило Ковалевскую. Она почувствовала себя на взлете. И, словно беря реванш за российские годы, ничего не давшие научной карьере, принялась наверстывать упущенное. А поставив перед собой какую-либо цель, она была беспощадна к себе. Работа по ночам, без выходных и праздников, работа до полного изнеможения.

От чрезмерных перегрузок у нее стали выпадать волосы, и она, как истинная женщина, с нескрываемым ужасом переживала это. Но по-прежнему свет в ее окне гас с восходом солнца. Еще бы! Софья Васильевна понимала, на что замахнулась. Если сначала ей хотелось достигнуть таких результатов, чтобы ни одна женщина не смогла соперничать с ней на стокгольмской кафедре, то скоро ставки повысились. Она пишет: «Я бы не хотела умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся решить проблему, которой я занимаюсь теперь, то имя мое будет занесено среди имен самых выдающихся математиков».

Но стать избранницей истории трудно, очень трудно. Тщеславие же Ковалевской равновелико ее таланту, и никакие жертвы не пугали ее. Сейчас или никогда.

Уже первый «шведский» 1883 год приносит ей успех. Большая работа о преломлении света в кристаллах вызвала, по словам Ковалевской, «впечатление в математическом мире».

* * *

Разумеется, благополучное вхождение в научную элиту Швеции придало Ковалевской уверенности. Не без тайного удовлетворения читала тридцатитрехлетняя женщина в газете:

«Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, высокого, но ничего не значащего лица. Нет, принцесса науки, г-жа Ковалевская почтила наш город своим посещением и будет первым приват-

доцентом женщиной в Швеции».

Итак, она могла себе сказать, что цель, которая потребовала столько жертв, ради которой она ринулась по неизвестному, таящему опасности пути, достигнута. Ученый мир признал ее настолько, что доверил воспитание молодых математиков.

Ковалевская могла поздравить себя и с тем, что стокгольмский свет, как везде придирчивый и подозрительный к чужеземцам, отдал должное ей и как математику, и как женщине.

«В особенности интересна г-жа Ковалевская; она профессор математики и, со всей алгеброй, все же настоящая дама. Она смеется, как ребенок, улыбается, как зрелая и умная женщина... На лице ее происходит такая быстрая смена света и теней, она то краснеет, то бледнеет, я почти не встречал раньше ничего подобного. Она ведет разговор на французском языке, свободно изъясняется на нем и сопровождает свою речь быстрой жестикуляцией. Это могло бы действовать утомительно, если бы не было очаровательно; она похожа при этом на кошечку», — пишет один из светских знакомых Ковалевской, и его впечатление подтверждается многими другими.

Более того, нежелание Софьи Васильевны в глазах людей выглядеть научным светилом ставило в тупик. От нее ожидали высокоумия, мудрствований, полного пренебрежения ко всему, что не наука. И ошибались. «М-м Ковалевская мило-детски улыбается, но я ожидала в ней больше содержания, чем нахожу», — даже с долей некоторого разочарования признается стокгольмская дама.

Желанную гостью в научных и светских салонах шведской столицы Ковалевскую называли «Микеланджело разговора». «Без малейшего желания учить или первенствовать, — вспоминала ее друг Эллен Кэй, — она делалась всегда центром, вокруг которого собирались заинтересованные слушатели. Своей безыскусственною простотой и сердечностью она делала людей общительными; умела слушать, хотя это ей редко приходилось, охотнее слушали, как она сама говорила, а еще более рассказывала».

...Оставшиеся фотографии не передают всего внешнего очарования Ковалевской. Но в том, что судьба наградила ее счастливой внешностью, не стоит сомневаться. Доказательством тому — многочисленные воспоминания современников в разные периоды жизни Ковалевской, сходящиеся на том, что эта женщина обладала необыкновенной притягательностью.

Пристальные взгляды, под перекрестье которых Ковалевская попадала, стоило ей где-нибудь появиться, оставили примечательные черточки ее внешности. Отмечали

необыкновенно красивые очертания чувственного рта... Когда Софья Васильевна улыбалась, на щеках появлялись очень молодившие ее ямочки. Даже несколько крупноватая для миниатюрной фигуры голова не портила дела. Лицо было очень подвижно и мгновенно отражало настроение, неровное, часто меняющееся. Оно то угасало, то вспыхивало, но никто бы не заметил на нем ничего неопределенного, невыразительного. Внешность Ковалевской, что характерно для впечатлительных, художественных натур, была продолжением ее внутренней сути.

Она знала, что продолжает нравиться, как в молодости. Это тем более льстило, что вся скандинавская элита состояла в ее знакомых. Тут были и шведский исследователь Арктики Н.Норденшельд, известный датский публицист Г.Брандес, драматург Г.Ибсен, шведский писатель А.Стриндберг и многие другие.

Софья Васильевна прилагала немалые старания, чтобы усилить производимое ею впечатление. Ей нравилось поклонение, и она старательно подогревала отношение к себе не как к феноменальному явлению в научном мире, а как к женщине красивой и эффектной.

Чтобы блистать на придворных балах, Софья Васильевна брала уроки танцев. Кавалерами были ее поклонники. Начала учиться ездить верхом и любила рассказывать о себе как об опытной наезднице. Это милое сочинительство ей с готовностью прощали, ибо широко было известно, что при малейшем движении лошади Софья Васильевна страшно пугалась и умоляла: «Пожалуйста, господин шталмейстер, скажите ей «стоп»!»

Где у Софьи Васильевны дело продвинулось вперед, так это в катании на коньках, которым она стала упорно заниматься. Чтобы публика не глазела на госпожу профессоршу, делавшую первые неуверенные шаги на льду, один из ее поклонников залил каток у себя в саду.

Скоро Софья Васильевна в изящном костюме смогла показаться на льду, с удовольствием слушая комплименты в свой адрес. Вот как описывала подобную сцену одна из свидетельниц ледовых успехов Ковалевской: «Когда я приходила после школы на каток, то иногда наблюдала там, как профессор Леффлер катался на коньках вместе с профессором Софьей Васильевной Ковалевской, которую он всюду сопровождал, как верный рыцарь. Они напоминали мне одну пару, о которой я читала в каком-то русском романе: его богатая шевелюра выбивалась из-под большой меховой шапки, а она со своими локонами походила на Анну Каренину — на ней была широкая юбка с меховой опушкой

и фалдистый жакет, обрамленный тем же мехом. Про них рассказывали, что, ведя все время между собой математические разговоры, они и коньками выписывали математические формулы...»

В отличие от многих «новых» женщин, чрезвычайно небрежно относившихся к своей внешности, Софья Васильевна придавала большое значение тому, как и во что она одета. К сожалению, как отмечали внимательные дамы, Ковалевская не обладала искусством одеваться. Она знала за собой этот грех и обычно просила подругу-польку, известную изысканным вкусом, выбирать для нее туалеты.

Широко известное изображение Ковалевской в скучном полосатом платье далеко не отражает настойчивого стремления «принцессы науки» следовать новейшим изыскам парижской моды.

Вот любопытная зарисовка, сделанная рукой самой Софьи Васильевны: «...я сижу в белом пеньюаре, с цветами и золотой бабочкой в волосах — через час я должна ехать на большой бал к норвежскому министру, там будет и король и все принцы».

В письмах Ковалевская тщательно помечает знаки внимания, оказанные ей как женщине. Обилие мужских имен, правда, наводит на мысль, что сердце Софьи Васильевны всерьез никем не занято. Это подтверждается и ее собственными словами: «Что же касается моей частной жизни, то вы не можете себе представить, до какой степени она вяла и неинтересна».

...Кем бы женщина ни была: адвокатом, балериной, проводником дальнего следования, космонавтом или барменшей, — у нее есть своя, особая «история женщины». Род занятий, успехи в профессии в этой истории не играют никакой роли, или роль эта слишком незначительна. Скромная библиотекарша в немодном пальтишке может быть столь удачлива и благополучна чисто по-женски, сколь фатально невезуча, скажем, экранная дива, чье имя у всех на устах. Стремление найти свою пару на этой земле, быть чьей-то избранницей уравнивает всех женщин на свете.

Вот почему удачный стокгольмский дебют не мог заставить Ковалевскую не думать о том, что, пожалуй, это печально — быть ничьей. Умной, знаменитой, красивой, обаятельной — и ничьей.

* * *

Летом 1886 года Ковалевская отправилась в Россию за дочерью, которую, уезжая в Стокгольм, оставила у родных. Все время ее вживания в новую почву стокгольмские дамы изводили Софью вопросами, как она может так долго жить в разлуке со своим ребенком. Хотя профессор Леффлер советовал российской

гостье не обращать внимания на «шведский курятник», эти разговоры, видимо, уязвляли Ковалевскую.

Действительно, маленькой Софье уже исполнилось семь лет, а виделась она с матерью урывками. Впрочем, надо вспомнить, с какими опасениями Ковалевская ехала в Стокгольм, сколько сомнений у нее было, сложится ли у нее здесь карьера. Именно этим объясняется ее долгая разлука с дочерью. И, только убедившись, что сможет создать девочке хорошие условия, она привезла ее в Стокгольм.

Спустя много лет Софья Владимировна вспоминала, что, когда она сошла на шведский берег, их с матерью никто не встретил. Видимо, это неприятно удивило девочку. Но стоял конец лета, и знакомые Ковалевской еще были на даче.

Они наняли ручную тележку для багажа, дав носильщику адрес, а сами отправились через большой сад, где Соню поразили огромные цветущие агавы.

На первых порах Софья Васильевна сама занималась с дочерью русским языком, читала ей русские книги. Когда Соня немного пообвыклась, Ковалевская отдала ее в шведскую школу. Дочь знаменитой матери привлекала внимание, и девочку часто спрашивали, любит ли она математику. На что Софья-младшая отвечала, что похожа на своего отца и к математике совершенно не способна.

Из множества людей, посещавших их дом, в памяти девочки остался красивый, словно король экрана, человек. Это был Фритьоф Нансен.

...Умевшая влюбляться мгновенно и безоговорочно, Ковалевская сразу выделила Нансена среди тех людей, знакомство с которыми подарил ей интеллектуальный Стокгольм. Все ярко, необычно было в этом человеке, начиная от внешности, просившейся на холст, и кончая манерой одеваться. Ковалевской нравился жизненный задор Фритьофа, этот неудержимый порыв, способность, махнув рукой на трудности, смертельные опасности, весело и дерзко служить своей идее. Это так сближало Ковалевскую и ее друга-полярника.

Они оба были не только романтиками, но и людьми дела, по праву прибиравшими к рукам положенную им славу. О Нансене Ковалевская писала, что «на великом жизненном пиру» великий норвежец «получил именно ту порцию, которую он сам желал».

Когда Нансен посвятил Софью Васильевну в план предполагаемого похода через льды Гренландии, она испугалась: так рисковать своей жизнью! Фритьоф украшал собою Стокгольм, когда приезжал сюда, свою суровую Норвегию, да и, пожалуй, весь мир. Но Софья Васильевна знала, что никакие силы во

Вселенной не заставят этого рыцаря ледяного королевства отказаться от задуманного. Он пойдет — и выиграет!

Об этом знакомстве, быстро приобретшем черты любовной интриги, в Стокгольме много говорили. Нансен был на одиннадцать лет моложе Софьи Васильевны, но ни тому, ни другому не было дела до арифметики. Наблюдавшие их стремительное, радостное сближение поговаривали о том, что в дальнейшем оно могло решающим образом изменить судьбу обоих.

Но романтическим отношениям двух красивых и таких значительных людей не было дано счастливого завершения. В Норвегии Нансена ждала невеста. Он был помолвлен и не решился нарушить данное слово в угоду нахлынувшему чувству к обаятельной россиянке. Ковалевская всегда тяжело переносила неудачи любого толка, что, конечно же, очень осложняло ее жизнь. Но к счастью, на сей раз обошлось без особых переживаний.

Может быть, причиной тому была случайная встреча в Париже. Давний знакомый, математик и профессиональный революционер-эмигрант П.Л.Лавров, познакомил ее с Максимом Максимовичем Ковалевским.

Они протянули друг другу руки, рассмеявшись, — однофамильцы! Софья Васильевна заметила: человек, стоявший перед ней, как бы застил свет — настолько мощной, внушительной казалась его фигура. Он не походил на записного красавца, но простое лицо было умно и значительно, а глаза, насмешливые, пронзительные, глядели на нее весело и с интересом.

В Софье Васильевне заговорила женщина, умеющая выбирать и ценить добротную мужскую породу. Что бы там ни было, с первой встречи и до конца она не изменила мнения о могучем бородаче — это был человек, о котором она с удовольствием написала бы не один роман. Судьба уготовила ей участь стать героиней его романа...

* * *

Максим Максимович Ковалевский родился в богатой дворянской семье в 1851 году. Стало быть, с Софьей Васильевной они были почти ровесники.

Отец Ковалевского, участник войны 1812 года, вышел в отставку в чине полковника кирасирского полка. До пятидесяти пяти лет он дожил холостяком. В этом почтенном возрасте его настигла страсть к девушке, на двадцать семь лет моложе его. Он поспешил жениться на ней, получив от шутников-приятелей прозвище Мазепа.

Шутка шуткой, но выбор Максима Максимовича-старшего был на редкость удачен. «Эта умная и необыкновенно сердечная женщина, — вспоминал Максим Максимович-младший, — получившая при этом хорошее эстетическое воспитание (она сама занималась живописью, музыкой и пением и была знатоком французской литературы), несмотря на свою молодость, красоту и светские успехи, всецело отдала себя заботам обо мне». Именно матери, считал Ковалевский, он обязан интересом к истории и этнографии. Это она со всем терпением и вниманием к его маленькой жизни развивала природные способности. Ее труды, тихое самопожертвование с лихвой были вознаграждены. Сын стремительно расправлял крылья: в гимназию поступил сразу в пятый класс и окончил ее с золотой медалью. Эту награду дали ему нехотя: ученик не отличался благонравием и почтительностью к гимназическому начальству. Потом Ковалевский поступил в Харьковский университет, где пришлось хитрить, так как ему не было и семнадцати. Тем не менее преподаватели говорили о нем, как о будущей «звезде». Юридический факультет Ковалевский окончил в числе лучших студентов, а подготовку к магистерскому экзамену проходил в высших учебных заведениях Берлина, Парижа, Лондона.

Вот как характеризовал Максима Максимовича приятель его молодости Климент Аркадьевич Тимирязев: «Молодой, талантливый, блестящий, остроумный, в совершенстве владевший шестью, а может быть, большим числом языков, лично знакомый со всеми видными представителями в избранной области и в то же время не уклонявшийся от самого тяжелого, усидчивого, казалось бы, скучно специального труда — он, конечно, являл собой редкое явление в рядах научных деятелей всего мира».

В июне 1880 года Ковалевский решением ученого совета Московского университета утверждается в степени доктора государственного права, а в декабре того же года становится ординарным профессором. С 1877 года он начинает читать лекции, и на все десять будущих лет они становятся событием, заставлявшим студентов набиваться в аудитории так, что яблоку негде было упасть. Импозантная, в неизменном черном, у дорогого портного сшитом сюртуке, фигура профессора приковывала внимание. Специально переводились на юридический, чтобы «слушать Ковалевского». Все, что он говорил, было смело, неожиданно, парадоксально. Все изобличало не только отточенный интеллект, энциклопедическую широту знаний, но и нескрываемое неприятие российской действительности.

«Господа, я должен вам читать о государственном праве, но

так как в нашем государстве нет никакого права, то как же я вам буду читать?»

Было ясно, что в конце концов за это придется расплатиться. Так и случилось. Ковалевскому вменили в вину «отрицательное отношение к русскому государственному строю». Сбылась угроза, высказанная еще директором гимназии непокорному, ершистому мальчишке: «Ваше поведение доведет вас до выведения из заведения».

«Выведение из заведения» — теперь уже из Московского университета — не оказалось для Ковалевского катастрофой. Во-первых, он, наследник богатой семьи, не ведал материальной зависимости от опостылевшего начальства. Во-вторых, во всем мире его уже хорошо знали, его авторитет был исключительно велик.

Ковалевский отправился за границу. Он по-прежнему вел активную научную работу, читал лекции в Европе и Америке, сотрудничал в журналах. Наконец Максим Максимович выбрал Стокгольм для продолжения преподавательской деятельности: его пригласили открыть в новом университете курс общественных наук. И вот здесь-то мимолетное парижское знакомство со своей однофамилицей продолжилось...

* * *

«Жаль, что у нас нет на русском языке слова Volkommen (совершенный. — *Л.Т.),* которое мне так хочется сказать вам. Я очень рада вашему приезду и надеюсь, что вы посетите меня немедленно», — писала Софья Васильевна только что появившемуся в Стокгольме Ковалевскому.

Максим Максимович пришел — могло ли быть иначе? Он не переставал изумляться уму и способностям этой женщины. Суть самых трудных проблем схватывалась ею на лету. Софья Васильевна рассуждала — ее знакомый радовался оригинальности ее мысли, интуиции. В беседах незаметно пролетал вечер за вечером. Тут было много всего: и согласия, и жарких споров.

Софья Васильевна в таких случаях любила, чтобы победа оставалась за ней. Доказывала свою правоту страстно, запальчиво. От волнения ее лицо розовело. Она становилась так хороша, что в памяти Максима Максимовича всплывали слова, услышанные от Тимирязева о тогда еще незнакомой женщине-математике. Тот говорил, что в молодости Софья Васильевна была очень красива и многие ухаживали за ней.

«Почему в молодости? — думал Ковалевский. — А сейчас?» Он, опытный мужчина, расчетливо избегавший брачных уз и тем не менее отдававший должное прекрасному полу, мог бы

свидетельствовать: природа наделила Софью Васильевну красотой, которая, как ему казалось, успешно сопротивлялась времени. Он терпеть не мог ученых дам, которых видел немало. Ему претили их апломб, дурная одежда, папироса во рту и до одури долгие «умные разговоры». Будь Софья Васильевна хоть чуть похожа на них, он бежал бы без оглядки.

Но Ковалевский всякий раз ловил себя на том, что, видя Софью Васильевну, любуется ею как прелестной маленькой игрушкой. От нее веяло женственностью. Она выдавала себя желанием нравиться, легким кокетством. Ее несравненная ученость была спрятана в маленькую кружевную театральную сумочку, и госпожа профессор как бы намекала: «Ах, забудьте про мое совсем не дамское дело. Я всего лишь женщина...»

Ноги сами несли Ковалевского в гостиную Софьи Васильевны. Здесь было ему уютно и легко. Здесь пахло Россией, по которой они оба втайне и не втайне тосковали. Не случайно Ковалевская обставила свою стокгольмскую квартиру мебелью, выписанной из Палибино. Она была, пожалуй, старомодна и тяжеловата. Красный атлас на креслах и диване местами вытерся, вылезали пружины. Их прикрывали салфетками. Дамы, заглядывавшие к Ковалевской, были разочарованы столь нешикарной обстановкой, в которой жила необыкновенная гостья из России, к которой благоволил сам король. Сама же Софья Васильевна не могла пожелать для себя ничего лучшего. От каждой вещи в ее доме веяло дорогими сердцу воспоминаниями. И большой, рокочущий Максим Максимович с его внешностью и ухватками вальяжного русского барина становился здесь родным и необходимым.

Они стремительно сближались. Приятельские отношения переходили в нечто более важное. Они еще не знали, как труден, порой мучителен будет их роман. Впрочем, едва ли можно было ожидать другого. Встретились два очень крупных человека, не слишком молодых, с уже определившейся жизнью и со сложными характерами. Но влечение друг к другу давало себя знать. Надо было что-то делать. Оба пребывали в некоторой растерянности.

«Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М., — пишет Ковалевская подруге. — Мы все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большею частью глаз на глаз и не говорили ни о чем другом, как только о себе, причем с такой искренностью и сердечностью, какую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему».

Стоило Максиму Максимовичу уехать — он часто покидал Стокгольм ввиду своих научных интересов, — как Ковалевская

начинала тосковать. Одиночество тяготило ее, и она осознавала, что чем дальше, тем нужнее для нее будет опора в жизни, надежный друг, способный оградить от жизненных проблем.

Теперь все в ее руках. И из письма подруге, как ни туманны слова о «планах» Ковалевских, все-таки ясно, что решительное объяснение произошло и речь идет о будущей совместной жизни. Но в том же письме есть фраза, которая настораживает: «...если бы М. остался здесь, я не знаю, право, удалось бы мне окончить свою работу».

* * *

Работа! Ее дело! Математическая загадка, которую пыталась решить Ковалевская как раз в то время, когда роман с Максимом Максимовичем принимал все более четкие формы, еще со студенческих лет занимала ее воображение. Дело шло о решении классического вопроса в области точных наук, вопроса важного и — нерешаемого.

Подобное обстоятельство особенно подстегивало тщеславие Ковалевской. Ее воображение уносилось в прошлые века. Лагранж, Пуассон, великий старина Эйлер — все они бились над решением этой задачи, подбирались к ней вкрадчиво, боясь спугнуть добычу, как к раковине с редкостной жемчужиной внутри. Но в самый последний момент, когда рука охотника готова была схватить драгоценность, створки плотно прикрывались и заветная диковина уходила под воду. Не случайно немецкие ученые назвали эту загадку «математической русалкой».

Когда же Софья Васильевна узнала, что Парижская Академия наук назначила специальный конкурс на соискание премии за лучшее сочинение на тему «О движении твердого тела», то есть за «математическую русалку», мысль у нее была одна: надо спешить, надо успеть к назначенному сроку оформить уже полученные результаты и написать это сочинение.

Максим Максимович на диване из черного дерева с красной обивкой — это как раз то, что Софье Васильевне сейчас, в момент творческой гонки, совершенно не нужно. Она жалуется, что ее безусловно желанный поклонник тем не менее «занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него». Под «другими» она имеет в виду, конечно, себя. И это невольно пробивающееся раздражение очень опасный симптом. Он говорит о том, что, несмотря на интерес, который вызывает в ней этот человек, он внес в жизнь Ковалевской сложности. И она не знает, как с ними сладить. В Софье Васильевне говорит то влюбленная, боящаяся упустить

последнюю надежду на счастье женщина, то человек, который уже не мыслит жизни без удачной на зависть всем карьеры. Эти метания между двумя берегами, распря ума и сердца стали истинной Голгофой для Ковалевской.

Да, она не на шутку увлечена Максимом Максимовичем, но, едва дождавшись, когда он уйдет, с чувством облегчения на целую ночь усаживается за письменный стол. Дело доходит до того, что Софья Васильевна просит верного Леффлера увести куда-нибудь Ковалевского, чтобы на просторе докончить в конце концов свой манускрипт. Кто-кто, а Леффлер понимает ее, и они вдвоем с Максимом Максимовичем уезжают в курортное местечко под Стокгольмом.

Но вот большой шершавый пакет отправляется в Париж. Кроме рукописи там находится маленький заклеенный конверт с указанием фамилии конкурсанта. Сверху же написан девиз, под которым тот выступал.

Всего работ было подано пятнадцать. Жюри признало достойным премии автора, выступавшего под девизом: «Говори, что знаешь, делай, что должен, будь то, чему быть». Вскрыли маленький конверт с именем победителя. Там значилось: Софья Ковалевская.

Исследование «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы тяжести» вознесло Ковалевскую на математический Олимп. В Париже чрезвычайное заседание Академии наук чествовало Ковалевскую, не скупясь на самые лестные эпитеты.

Но в то самое время, когда в Париже в ее честь устраивались банкеты и весь ученый мир приветствовал «принцессу науки», сама «принцесса» признавалась: «Со всех сторон мне присылают поздравительные письма, а я, по странной иронии судьбы, еще ни разу в жизни не чувствовала себя такою несчастною, как теперь. Несчастна, как собака. Впрочем, я думаю, что собаки, к своему счастью, не могут быть никогда так несчастны, как люди, и в особенности, как женщины».

Ирония судьбы заключалась в том, что Софья Васильевна была слишком проницательна, чтобы не понимать: поймав одну жар-птицу, она невольно упускала другую — ту, которая сулила любовь и семью. Что важнее? Что нужнее? Если бы она могла ответить на этот вопрос окончательно и бесповоротно... Если бы!

* * *

В Стокгольме Ковалевскую ожидал Максим Максимович. Он нашел ее плохо выглядевшей, усталой, взвинченной. Его забота и участие вызывали раздражение. Софья Васильевна ни на минуту не сомневалась в его привязанности к ней, но это лишь распаляло

ее подозрительность. Она изумительно умела себе отравлять самые светлые минуты. Почему он так внимателен? Куда логичнее ему было бы влюбиться в молодую красотку. Вот главный мотив его привязанности — ему лестно быть другом столь знаменитой женщины: кто же мог усомниться, что тогда в Стокгольме властвовали король Оскар и она, Софья Ковалевская, королева математики?

Ей же, как писала подруга Софьи Васильевны, хотелось внушить Ковалевскому «такую же сильную и глубокую любовь к себе, какую она сама чувствовала к нему. Эта борьба представляет всю историю ее жизни в течение последних двух лет».

Борьба... В характере Ковалевской действительно была черта, немало навредившая ей, о чем не умалчивали люди, с глубокой, искренней симпатией относившиеся к ней.

«Стоило ей задаться какой-нибудь целью, она пускала в ход все, чтобы добиться ее. Но когда на сцену выступало чувство, она теряла свою проницательность и ясность суждений». «Она требовала всегда слишком многого от того, кто любил ее и кого она в свою очередь любила, и всегда как бы силою хотела брать то, что любящий человек охотно дал бы ей и сам, если бы она не завладела этим насильно со страстной настойчивостью».

Любовь не терпит нажима, штурма, критики. Она съеживается и прячется, испуганная и обиженная недоверием. Эти горькие уроки Софья Васильевна постигала на опыте своего романа с Ковалевским, но, страстно мечтая избавиться от одиночества, делала одну ошибку за другой.

«Она мучила его и себя своими требованиями, устраивала ему страшные сцены ревности, они много раз совершенно расходились в сильном взаимном озлоблении, снова встречались, примирялись и вновь резко рвали все отношения», — писал человек, на глазах которого разворачивался роман двух необыкновенных людей.

Но то, что уже связывало Ковалевских, было сильнее их личного эгоизма, нежелания смириться с привычками друг друга. В противном случае они, конечно, расстались бы — и навсегда. Но попытки понять, притереться друг к другу следовали одна за другой. Любовь-борьба, любовь-противостояние, как ее ни назови, все-таки была любовью. И тот и другой наносили ей удары, а любовь все терпела и не покидала их сердца.

Максим Максимович, всю жизнь лелеявший в душе идеальный женский образ — свою матушку, — которая предпочла всему тихую семейную заводь, отлично понимал, что женщина, которую он встретил и полюбил, которую был готов назвать своей женою, ни в чем с ней не схожа. Едва ли Софья Васильевна была

способна жить для другого человека. И ничто не предвещало ему спокойной семейной жизни, присутствия хорошей хозяйки в доме. И все-таки Максим Максимович предложил Ковалевской стать его женою. Он поставил одно лишь условие: она покинет профессорскую кафедру. Ковалевская отказалась. Расклад ее мыслей легко постичь: «Да, я знаю, что именно тебя не устраивает. Но если ты меня действительно любишь, то пойдешь на любые жертвы».

Вместе с тем Софья Васильевна могла ожидать от Ковалевского того же: «Если любишь, то найдешь силы уступить». Она любила по-своему, насколько это было доступно ее импульсивной, нервной натуре. И вот они снова и снова пускались в изматывающие, ни к чему не приводившие объяснения. Сколько раз она говорила: «Я вижу, что мы с тобой никогда не поймем друг друга... Только в одной работе могу я теперь найти утешение».

Но в этой любовной мороке поставить точку было невозможно, пока кто-то из них окончательно и бесповоротно не покинул другого. Сил же на это не было.

...Максим Максимович пережил Ковалевскую на двадцать пять лет. Он так и не смог ее забыть, но, судя по воспоминаниям, вполне по-мужски не стал выносить на суд людской этапы их большого и трудного романа. «В наших отношениях, — писал он, — было много такого, что трудно понять людям посторонним, говорить и недоговаривать — задача нелегкая».

Тем не менее из вороха легенд и слухов, вившихся вокруг романа Ковалевских, стоит выделить весьма многозначительную дату — на июнь 1891 года была назначена свадьба.

* * *

В нелегком, с глубокими перепадами романе Ковалевских случались светлые безмятежные страницы. В 1890 году на рождественские каникулы Софья Васильевна выбралась на Ривьеру. Здесь, неподалеку от Ниццы, у Ковалевского было имение Болье, где обычно Максим Максимович скрывался от мира, углубившись в очередное научное исследование.

Отправилась она туда, как всегда, страшась мысли, что снова начнется их любовный поединок. «Уезжаю сегодня на юг Франции, но на радость или на горе, не знаю сама, — писала она подруге, — скорее на последнее».

И все же Болье чрезвычайно понравилось Ковалевской. Возле ласкового моря под солнышком она как-то быстро повеселела. Вечные препирательства и выяснения отношений словно остались в холодном Стокгольме. Максим Максимович лишь довольно усмехался в пышную бороду, видя, с каким азартом Софья

Васильевна ринулась в развлечения, не дававшие спать рождественской Ницце. Она участвовала в «бое цветов» и костюмированных балах, кончавшихся с рассветом. Возвращалась помолодевшей на двадцать лет, сияя цыганскими глазами. И Ковалевский снова начинал верить, что счастье возможно.

Между тем уже в это время Софья Васильевна начала прихварывать. Из Болье она уехала, чувствуя себя неважно. Максим Максимович проводил ее до Канн, и дорогой она говорила, что ей кажется, будто очень скоро кто-то из них двоих умрет. Вернулась в Стокгольм уже совсем больной, но от лекций не отказалась. Вечерами, без оставшегося на Ривьере Максима Максимовича, она не находила себе места.

...Когда вам сорок лет, любая болячка как-то особенно тщательно стирает с лица последние признаки молодости. Ковалевская смотрелась в зеркало и не нравилась себе. Серая, сделавшаяся дряблой кожа. Опущенные уголки губ: похоже, они приготовились к плачу, не к улыбке. А глаза? Где их веселый цыганский блеск?.. Скоро свадьба. Вся эта затея казалась неестественной, ненужной, о чем не хотелось и думать.

Что ж, у каждого на этой земле свой жребий, утешала себя Софья Васильевна, тщетно пытаясь согреться в своей постели. Гений любви не посетил ее — печально, но надо сказать себе правду. А что умение любить — такой же талант, как художество или наука, это она понимала теперь совершенно отчетливо. Не все люди могут любить... Ей приходило на ум, что природа, сделав ее ученой женщиной, поступила бы куда добрее к ней, вложив в душу уравновешенность и гармонию. Вот истинные дары! Конечно, можно держать себя в ежовых рукавицах, но от смирения и борьбы с собой так устаешь.

И она устала. Так устала, что мысль о смерти, как о сне, избавляющем от тоски и неудовлетворенности собою, все чаще и чаще наведывалась к ней.

Особенно обострились эти настроения со смертью сестры. Анна Васильевна уходила из жизни долго, мучительно, понимая, что умирает, рыданьями и криками сопротивляясь своему уходу. Ей сделали операцию на яичнике, но это была короткая отсрочка. Ковалевская приехала в Петербург ухаживать за умирающей. Состояние бедной Анюты потрясло ее. Какая-то страшная, неумолимая сила подтягивала истерзанное болезнью тело ее милой, веселой сестры к краю черной ямы. И ничто не могло остановить это сползание в небытие.

А казалось, только вчера, прижавшись друг к другу, они с радостно и тревожно бьющимися сердцами смотрели в свое будущее из окна старого палибинского дома. Сияли звезды в

бездонной мгле. И запах сирени заполнял всю Вселенную. «Боже! Как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, таинственна и прекрасна!» — вспоминала об этом ожидании счастья Софья Васильевна. Куда все уходит, куда?

После смерти сестры и новой женитьбы ее мужа Ковалевская хотела забрать к себе ее сына Юрия. Но Виктор Жаклар воспротивился.

Уход Анюты наложил неизгладимый отпечаток на Ковалевскую. Она мечтала о мгновенной безболезненной смерти и верила, что, с детства страдая пороком сердца, умрет молодою.

Софья Васильевна не раз говорила, что внушенная когда-то в детстве нянюшкой мысль о каре, настигающей самоубийцу, не раз останавливала ее у последней черты. Она к тому же боялась таинственной, быгть может, очень мучительной минуты перехода в небытие. Другое дело — уснуть вечным сном. Ей приходил на ум Шекспир:

> Окончить жизнь — уснуть,
> Не более! И знать, что этот сон
> Окончит грусть и тысячи ударов —
> Удел живых. Такой конец достоин
> Желаний жарких.

* * *

...В тот день младшая Ковалевская — Соня собиралась на детский праздник. Для нее был приготовлен цыганский наряд. Перед тем как уйти, девочка подошла к постели матери. Та осталась довольна ею. Дочке было двенадцать с половиной, она походила на нее. Когда-то в этом самом возрасте, что сейчас Соня, Софья Васильевна отчаянно влюбилась в Достоевского. И он заметил нечто цыганское в ее внешности. Это передалось и Соне.

Самой же ей день ото дня становилось все хуже и хуже. Третье февраля, день, когда Софье Васильевне исполнился сорок один год, прошел никак не отмеченным. Седьмого февраля записала в дневнике: «Сегодня мне очень плохо». Врачи терялись в догадках, докучали больной, а улучшения не наступало. Ковалевскую лечили от обострения болезни почек. Умерла же она от воспаления легких.

В промежутках между приступами надсадного кашля она, прикрыв глаза от света ночника, обдумывала сюжет повести под названием «Когда не будет больше смерти». О том, что конец близок, — не догадывалась.

...Агония началась глубокой ночью, когда возле нее никого не

было.

Максим Максимович, получив известие о болезни Ковалевской, срочно отправился в Стокгольм. Пароход стоял на причале в Киле, когда он узнал, что Софья Васильевна умерла. Но на похороны он успел.

Вышедшая через три года после кончины Ковалевской книга «Расплата за славу» возмутила его. Автор упирал на то, что якобы добровольный уход из жизни еще молодой, в самом расцвете таланта женщины связан с любовной катастрофой.

«Я получил самые точные сведения о всем ходе болезни, как и о результатах вскрытия, — защищал память своей ушедшей подруги Ковалевский. — Доктор Ковалевской, присутствовавший на нем, сообщил мне, что у Софьи Васильевны найден такой порок сердца, который и без болезни должен был вызвать скорый конец».

Максим Максимович умер в марте 1916 года. Перед кончиной он, так и не женившийся, поручил единственному близкому человеку, своему племяннику, сберечь то, чем так дорожил на протяжении двадцати пяти лет, — интимную переписку с необыкновенной женщиной, что встретилась на его жизненном пути. Но письма в конце концов затерялись...

* * *

Софья Васильевна Ковалевская историей своей жизни положила начало спору, который продолжается и по сию пору: что есть призвание женщины? Быть замужем за работой, карьерой, славой? Как утвердиться в избранном деле и с готовностью принять груз женских обязанностей, которые требуют самоотречения ради любимых, детей, семьи? В чем суть женской жизни и женского счастья?

Когда «принцесса науки» скончалась, появились стихи в ее память:

Душа из пламени и дум!
Пристал ли твой корабль воздушный
К стране, куда парил твой ум,
Призыву истины послушный?

Софья Васильевна грустно бы улыбнулась... Истина? Разве кто-нибудь знает наверняка, в чем она? И разве наш путь на этой земле не есть лишь слабая и бесполезная попытка разгадать ее смысл? Каждый в меру отпущенных ему сил делает эту попытку, далеко не всегда получая ответ. Великая Ковалевская незадолго до своей смерти писала, что в сочиненной ею драме с математической точностью доказала всемогущую силу любви —

«только она придает жизни энергию или заставляет преждевременно блекнуть».

Быть может, это и есть ответ...

УБИЙСТВО В МАЙЕРЛИНГЕ

Печаль ресниц, сияющих и черных,
Алмазы слез, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз,
Счастливых, радостных, смиренных, —
Все помню я... Но нет уж в мире нас,
Когда-то юных и блаженных!

И.Бунин

Судьба монархических династий решалась не только на полях сражений и в водовороте революций. История неоднократно доказывала: злой рок, а иногда возмездие за грехи, совершенные под сенью корон, может явиться в облике хрупкой девушки.

Так случилось с одной из самых древних и могущественных европейских монархий — Австро-Венгерской.

Девушку звали Мария Вечера.

Мария Вечера

Трагическая гибель единственного наследника имела печальные последствия не только для династии Габсбургов. Дейл Карнеги утверждал: «Если бы принц Рудольф остался жив... то возможно было бы не допустить не только Первой, но и Второй мировой войны». Вероятно, в этом есть доля преувеличения, хотя

несомненно: преемник короны Габсбургов, ненавидевший Германию с ее набиравшим силу милитаристским духом, мог бы поубавить прыть слишком воинственных соседей.

Но что случилось, то случилось... Ранним январским утром 1889 года, когда маленький занесенный снегом городок Майерлинг еще крепко спал, в охотничьем доме наследного принца Рудольфа раздались два револьверных выстрела. Вечный как мир, но всегда волнующий сюжет: двое влюбленных предпочли смерть разлуке. И немногие трезвые голоса, пытавшиеся подвергнуть сомнению очередную любовную идиллию, утихали: в конце концов надо признать — никто не знает точно, что же случилось в Майерлинге.

В первую очередь в таком положении вещей были заинтересованы сами Габсбурги — королевская семья приложила максимум усилий, чтобы всю эту историю замять. Более или менее подробный рассказ о гибели принца Рудольфа появился спустя десять лет после майерлингской трагедии.

Вот тогда-то принцесса Одескальки опубликовала сведения, сенсационные не только в силу того, что на обстоятельства гибели принца Рудольфа была наброшена плотная завеса тайны, но и потому, что эти сведения разрушали идиллию одного из самых потрясающих любовных романов.

...Принц Рудольф был любимцем австрийцев. Казалось, двадцатилетний красавец каким-то чудом избегнул пороков, накопленных монархическим семейством за столетие. Романтического, влюбленного в поэзию и искусство принца тянуло вон из королевского дворца, полного недоброжелательства, сплетен и интриг. Студенческая молодежь, артисты, художники — среди них Рудольф, переполненный либеральными идеями, находил себе друзей. Его, лишенного исконной заносчивости Габсбургов, видели в самых разных уголках Вены, где между собой люди называли его «наш Руди». Единственное, что наследник взял от отца, императора Франца-Иосифа, — это страсть к охоте. Часто, невзирая на протесты матери-королевы, до смерти опасавшейся за сына, Рудольф уходил в горы охотиться на орлов. Однако наступил момент, когда из своего горного одиночества принц стал все чаще поглядывать на переполненные людской суетой долины. То там, то здесь его все чаще стали замечать в обществе женщин. Рудольф открыл для себя ранее неизвестную и весьма любопытную книгу и читал все подряд без разбора. Дамы сердца сменяли одна другую, и коллекция была весьма разномастной: от жриц свободной любви — «звезд» кафешантанов, сговорчивых модисток до титулованных особ. Обаяние принца действовало безотказно.

Размах любовной охоты стал вызывать у родителей-королей беспокойство: Рудольф никогда не отличался хорошим здоровьем. Выход из такого положения нашли традиционный — мальчика надо женить. Однако все соискательницы руки принца убывали расстроенными. Набравшись терпения, король с королевой ожидали, когда Рудольф устанет от блужданий, от ярмарки невест. Их расчет оказался точным — наследник скрепя сердце остановил выбор на семнадцатилетней дочери короля Бельгии Стефании, сказав, что она ему «менее не нравится, чем другие».

Неожиданный инцидент едва не разрушил поистине королевский союз. Отправившись в Брюссель делать невесте официальное предложение, Рудольф прихватил из Вены одну из своих любовниц. Дама оставалась в специальном вагоне принца, куда он наведывался по вечерам, устав от жениховских хлопот. Как назло, Стефания уговорила мать-королеву поинтересоваться элегантным вагоном Рудольфа и, приехав на вокзал, сквозь зеркальные стекла увидела его чуть ли не в объятиях красивой женщины. Со Стефанией случилась истерика, папа-король готов был расстроить свадьбу, но тут за дело взялся венский двор. Дипломатические подходы к оскорбленным «высочествам» в конце концов возымели действие, и Рудольф обвенчался с белокурой принцессой. Поначалу ничто не предвещало осложнений. Молодые ладили между собой, и Рудольф весьма трогательно стал заботиться о собиравшейся родить жене. К несчастью, Стефания весьма нетерпимо относилась к неудобствам, связанным с беременностью. Она капризничала, жаловалась, изводила Рудольфа мнимыми и действительными страхами. Такого испытания молодой муж не выдержал — его теплое отношение к жене улетучилось без следа. Это заставляло думать: а было ли оно вообще?

Как назло, родив, Стефания располнела, подурнела, и Рудольф, любитель прекрасного, вернулся к прежним занятиям. Разумеется, среди женской части обитательниц двора нашлись доброжелательницы, которые в красках расписывали принцессе похождения мужа.

Нельзя сказать, что ускользающее семейное счастье бросило Стефанию в пучину отчаяния. Она трезво расценивала свой брак как вклад в общемонархическую копилку и, холодноватая по натуре, не слишком тяготилась пустовавшим местом в супружеской постели. Но ее женское самолюбие, безусловно, было задето.

Чтобы досадить мужу, Стефания, выследив его, отправлялась к дому очередной пассии в роскошной придворной карете и,

приказав кучеру ждать принца, возвращалась в его скромном экипаже. Толпа, заметив королевскую карету, терпеливо сторожила возле нее, и Рудольф, одетый конспирации ради в обычный костюм, выйдя от любовницы, попадал в самое неприятное положение. Агентура раздраженной супруги работала исправно, и принц нигде не мог спрятаться. Разумеется, во дворце начались бурные семейные сцены. Как и водится, Рудольф, не находя выхода, начал заливать горе вином. И вот тут нежданно-негаданно судьба устроила ему ловушку.

Двоюродная сестра наследника графиня Лариш, быть может, была единственной, кому принц доверял подробности своей неудачной семейной жизни. Вполне сочувствуя товарищу детских лет, графиня часто помогала принцу в его любовных похождениях. Желая очередной раз досадить «королеве Стефании», она пообещала познакомить его с девушкой необычайной красоты. Это была баронесса Мария Вечера.

Несомненным в том, о чем нашептывала Лариш принцу, являлось только одно — безусловно поразительная красота. И титул, и происхождение — все было смутно. Мать Марии, пока позволял возраст, побывала в любовницах чуть ли не у всех знатных венцев, включая и Габсбургов, всем была должна, отбивалась от преследований кредиторов, сорила деньгами, интриговала и, наконец, явила миру выросшее возле нее, расцветшее первым цветом сокровище — Марию. Вся ставка поблекшей мамаши теперь была на дочь. Кому как не графине Лариш было распорядиться этой ситуацией по-своему?..

У себя в доме она устроила бал. Заинтригованный Рудольф с волнением переводил глаза с одной гостьи на другую. Наконец графиня попросила принца следовать за ней. Они прошли длинную анфиладу комнат, и вот принц очутился в едва ли не самой отдаленной. Здесь царил полумрак. Всюду, где только можно было, стояли огромные букеты благоухающих цветов. Под роскошной пальмой в легкой полупрозрачной одежде сидела девушка ослепительной красоты. У принца закружилась голова. Все это было бы похоже на сон, если бы красавица не протянула к нему руки, не сказала, что любит его без памяти и прибежала сюда втайне от строгой матери, губя безвозвратно свою репутацию. Рудольф пал в объятия Марии. В эту ночь он в очередной раз не пришел ночевать домой, но все то, что с ним случилось, словно отсекло и прежнюю жизнь, и всех любовниц, вместе взятых. Принц влюбился яростно, страстно, забыв все на свете.

Приютом влюбленных стало охотничье поместье принца под названием Майерлинг близ Вены. Теперь наследник пропадал

здесь сутками, не показываясь на глаза королевской родне. Как всякий человек, на которого свалилось неожиданное счастье, он был готов кричать о нем на весь мир, и скоро, разумеется, ни для кого не осталась в секрете страстная любовь принца. Воронка затягивала все глубже и глубже — Мария нужна была ему уже как наркотик. Ни угрозы отца с матерью, ни пересуды и сплетни, переполнявшие Вену, не могли заставить Рудольфа соблюдать хотя бы рамки приличия. И вот, убедившись, что наследник основательно запутался в силках, мать Марии пригрозила Рудольфу, что увезет, спрячет дочь от него, если тот не женится.

Угроза возымела действие. Потерять Марию означало для Рудольфа потерять все. Он направил прошение в Ватикан расторгнуть ненавистный брак. Ему даже не ответили. Зато император получил от Папы наставление воздействовать на сына, впавшего в непростительный грех. Переговоры с Рудольфом, однако, ни к чему не привели. Тот стоял на своем: он отречется от престола и женится на любимой девушке.

Безусловно, отчаянное положение сказывалось на наследнике. Рудольф очень изменился, и придворный доктор стал предупреждать императора, что дело может кончиться плохо. Испуганный этими словами, Франц-Иосиф в полной растерянности прибегнул к средству, которое, казалось, не сулило ничего. Он обнял сына, заплакал навзрыд как ребенок и умолял Рудольфа пожалеть его, мать и всю страну: ведь он единственный наследник и корону, венчавшую головы Габсбургов на протяжении столетий, некому передать.

Рудольф дал слово принести в жертву свое личное счастье.

Далее события, однако, развивались слишком стремительно, Рудольф наконец сказал Марии, что они должны расстаться. К его изумлению, та встретила эту весть спокойно и попросила лишь о последнем свидании. Последнее — и она скроется навсегда. Мог ли Рудольф отказать все еще бесконечно любимой женщине? Они договорились встретиться в Майерлинге. Мария будет ждать его там...

«Ничто не нарушило последнего «прости» принца Рудольфа с Марией Вечерой, — рассказывает принцесса Одескальки. — Наконец, утомленный всеми событиями этого дня, а быть может, под влиянием крепких напитков, которые Вечера заставила его выпить более обыкновенного, он заснул тяжелым сном... Его разбудила самая отвратительная месть, которую только может придумать женщина. Увидев, что его жизнь навеки погублена, он схватил револьвер и убил ту, которая нанесла ему позорное унижение, а затем покончил с собой».

...Знаменитый фильм «Майерлинг» с Катрин Денев и Омаром

Шарифом в главных ролях, благодаря которому всё новые поколения вздыхают над трагедией двух влюбленных, настаивает на версии добровольного ухода из жизни. Те же мотивы стали основой романов на немецком, английском, итальянском языках. Однако история о Марии и Рудольфе, которую кино и литература постарались сделать безупречно романтичной, а монархи Австро-Венгрии — покрытой мраком, имеет помимо сообщенного принцессой Одескальки по меньшей мере еще две версии.

Одна из них заключается в том, что в Майерлинге Марии сделали аборт, и — неудачно: она погибла от кровотечения. Примчавшийся туда Рудольф в отчаянии застрелился. По другой версии, в Майерлинге произошло чисто политическое убийство с последующей инсценировкой самоубийства. Принц, а заодно и его возлюбленная были застрелены немецкими агентами с целью устранить влиятельное лицо, не питавшее симпатий к кайзеровской Германии. Те, кто занимался этим вопросом, строят подобную версию на убедительных, казалось бы, данных. В комнате, где нашли тела Марии и Рудольфа, явно были видны следы борьбы: стулья и посуда опрокинуты.

...Но вернемся к той страшной картине, которая открылась перед людьми, взломавшими дверь в спальне Рудольфа. Мария лежала на кровати, и смерть не исказила прекрасного лица. Рану на голове, как пишут, скрывали ее густые черные волосы, водопадом спускавшиеся с постели. Кстати, именно такое свидетельство и наводит на мысль: а была ли рана вообще? Ведь никаких медицинских документов по этому поводу не осталось. Тогда и гибель от кровотечения вовсе не представляется невероятной.

Рудольф же был неузнаваем: пуля буквально разнесла череп, и запекшаяся кровь, словно маской, закрыла его лицо. Рядом валялся пистолет. Императорская семья, превозмогая шок, пыталась спасти свою репутацию. Франц-Иосиф потребовал от придворного врача объяснить гибель сына внезапно приключившимся ударом. Однако тот отказался это сделать. Наследника похоронили с той пышностью, которая соответствовала его титулу, и Рудольф нашел свое упокоение среди предков, которые в течение шести столетий правили Австрией.

Иная посмертная участь ожидала Марию Вечеру. Думали, как бы вынести труп незаметно, так, чтобы никто вообще не знал о присутствии в доме «этой женщины». В конце концов тело упаковали в корзину для белья и ночью тайно перетащили в домик дворецкого, расположенный возле приюта любви. Несколько дней тело оставалось непогребенным. Наконец монахи

близлежащего монастыря получили предписание предать его земле. Марию положили в грубо сколоченный гроб, а под голову — шляпу, в которой она приезжала на последнее свидание с принцем Рудольфом...

ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА

Ее лицо мне нравилось... Оно
Задумчивою грустию дышало;
Всегда казалось мне: ей суждено
Страданий в жизни испытать немало...
И что ж? мне было больно и смешно;
Ведь в наши дни спасительно страданье...
Она была так детски весела,
Хотя и знала, что на испытанье
Она идет, — но шла, спокойно шла...

И.Тургенев

Однажды любимица князя Чавчавадзе, дочь Нина, которой и десяти лет еще не исполнилось, вбежала в кабинет отца со слезами на глазах. Тот сидел у стола и, крутя в руках диковинный пистолет, рассматривал его.

— Папа, накажи-ка дядю Сандро. Он смеется надо мной.

— Как это, смеется? — удивился Александр Гарсеванович.

— А вот так! Я играла и не взяла ни одной фальшивой ноты. Он говорит: «Если и дальше будешь так стараться, то я женюсь на тебе».

Александр Гарсеванович с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Ну и Грибоедов! Но чтобы не обидеть дочь, насупил брови и многозначительно заглянул в дуло пистолета.

— Наказать? Ну что ж, будь по-твоему.

Девочка увидела движение отца и испугалась:

— Не надо, прошу... Он больше так не будет...

Если бы он, Грибоедов, знал, что на этом свете его кто-то жалеет, хотя бы эта маленькая девочка, — черная тоска не забрала бы его так крепко в руки...

...Глаза умирающего Шереметева преследовали Грибоедова. И Петербург, и красавица Дуняша, и все то, чем лишь недавно тешилось сердце, раздражало и сделалось невыносимыми.

Это из-за нее, Дуняши Истоминой, разгорелась ожесточенная ссора между светскими приятелями Грибоедова Шереметевым и Завадовским. Грибоедов вмешался. Взял сторону Завадовского. В результате двойная дуэль. Шереметев вызвал на дуэль Завадовского, а его приятель Якубович — Грибоедова. Смертельно раненный Шереметев на другой день скончался. Поединок же между Грибоедовым и Якубовичем был отложен, однако в октябре 1818 года все-таки состоялся. Оба остались

живы, но у Грибоедова оказался простреленным мизинец руки — как некстати это для него, музыканта!

Шалил, ах, как шалил Грибоедов! Говоря его же словами, жизнь вел «веселую и разгульную». Ездит к актеркам, пишет, и весьма успешно, для театра. Его называют «почетным гражданином кулис», он «очень доволен своею судьбою». Все, знавшие Александра Сергеевича в это время, запомнили его «неистощимую веселость и остроту».

«Я молод, музыкант, влюбчив и охотно говорю вздор...» Как быстро все это прошло! Грибоедов, служивший тогда в Коллегии иностранных дел, после несчастной дуэли с готовностью ухватился за предложение отправиться дипломатом либо в Соединенные Штаты Америки, либо в Персию. Выбрал последнее. В качестве секретаря только что образованного русского посольства при дворе персидского шаха прибыл на Восток. Он провел там два с половиной года. Именно в Персии и сложился замысел «Горя от ума».

Грибоедов называл себя «секретарем бродящей миссии», поскольку много ездил по странам, а еще жаловался: «Веселость утрачена, не пишу стихов, может, и творил бы, да читать некому... Что за жизнь! В огонь бы лучше броситься...»

* * *

Отдушина все-таки была — Грузия. Пользуясь любым предлогом, Грибоедов выбирался из персидских краев в Тифлис — так тогда называли Тбилиси. Заимел здесь друзей, но более всего сошелся с тезкой — тоже Александром, но Чавчавадзе. Отчество у князя было Гарсеванович, что не мешало русским знакомцам перекрестить его в Ивановича. Грибоедов, как человек одинокий, не знавший ни дома, ни семейного тепла, обычно с каким-то особым чувством возился и ладил не только с Ниной, но и с двумя другими маленькими Чавчавадзе — Катей и Давидом.

Память маленькой Нины потихоньку, год за годом копила мельчайшие события в их с Грибоедовым уже начавшейся истории.

«Конечно, главное внимание Александра Сергеевича было обращено на княжну Нину... которой было лет четырнадцать тогда, — вспоминала одна из подруг юности княжны Чавчавадзе, — хотя она, как все южанки, была уже вполне сложившаяся женщина в эти годы. Он занимался с нею музыкой, заставлял говорить по-французски и даже, когда он, впоследствии, взял ее руку и повел в наш сад делать предложение, она думала, что он засадит ее за рояль».

...У Чавчавадзе был назначен вечер. Как всегда, старики толковали о своем, молодежь танцевала. Среди Нининых

поклонников был молодой офицер Сергей Николаевич Ермолов. Он, безоглядно влюбленный, буквально следовал по пятам за милой девочкой. Но Нина все обращала в шутку. Они с Сережей друзья, ведь правда? Вокруг и кроме нее много красивых девушек, и они будут рады, если на сегодняшнем вечере он уделит им внимание. Но молодой офицер видел только ее одну, маленькую княжну с чуть вытянутыми к вискам темными глазами. Он хотел жениться, увезти Нину с беспокойного Кавказа в свою тихую Москву, к маменьке. А потом они будут приезжать к Александру Гарсевановичу, чтоб и он понянчил внуков... Но где же Нина? Сергей заметил, что все повернулись к отворившейся двери. Один из тех, кто был на этом вечере, после записал: «Нина Александровна появилась в старинном грузинском костюме, сохранившемся у бабушки ее Марии Ивановны. Костюм этот много живописнее новейшего, и красота ее в нем была неописанная...»

Нина танцевала с Сергеем, танцевала с другими гостями. Ей хотелось, чтобы всем было весело и хорошо. Почему? Сегодня отец Александр Гарсеванович получил письмо. Он так и сказал: «Ниночка, вот письмо... Грибоедов тебе кланяется. Твой дядя Сандро...» — «Мой?» Нина вспыхнула, а отец сделал вид, что ничего не заметил.

Какой он особый, ни на кого не похожий, ее добрый «дядя Сандро»! Одиннадцати лет он стал студентом Московского университета. Учился блестяще. За шесть лет окончил три факультета: словесный, юридический, естественно-математический. Готовился сдавать экзамены на звание доктора права, но грянула война с Наполеоном, и дядя Сандро надел гусарский мундир. Он не захотел продолжать военную карьеру, стал дипломатом — и каким! Она, Нина, кроме родного и русского, знает только французский. А он? С детства говорит на английском, немецком, итальянском. В университете выучил греческий и латинский. Потом овладел персидским, арабским, турецким. А какой он музыкант! Играет на фортепьяно, флейте, органе. Пишет музыку. Ах, как любит она его вальс!.. Любит... любит... любит... Пришло время, когда Грибоедов стал писать Нине лично. Однажды она получила письмо, где была строчка, вовсе лишившая ее покоя: «Вы знаете, как я много вас люблю».

Наверное, сердце женщины противоречит законам природы: оно не взрослеет и не стареет. В нем от рождения заключено сокровенное знание о своем предназначении — любить. И без учителей и подсказок оно не может спутать это чувство ни с каким другим.

...Грибоедов уже давно отметил свое тридцатилетие и все это

время был, пожалуй, рад, что, оставаясь холостяком, сохранил свободу. Женитьба? Ветрены, мелочны, глупы, тщеславны — список пороков, обнаруженных им у дамского пола, можно было продолжить. Тех, в кого он влюблялся, любую из героинь своих романов, Грибоедов не хотел бы назвать женою. Вместе с тем зрело смутное желание встретить такую женщину, любовь к которой заставила бы его покончить с затянувшимся холостячеством. Но шло время — и он сознавал, как призрачна его мечта. Не суждено, наверное...

Когда он понял, в ком его надежда, то испугался. Нина! Испугался ее юности, чистоты, ее тихих глаз. «Мне простительно ли, после стольких опытов, стольких размышлений, вновь бросаться в новую жизнь?» Он суеверно отгонял от себя мысль о возможном счастье, исступленно желая его: «Это теперь так светло и отрадно, а впереди так темно! Неопределенно!»

Но запруда прорвана... Теперь эта девочка держит в руках его жизнь. Если она скажет «нет» — тогда он знает, что надо делать.

Приехав к Чавчавадзе, Грибоедов обратился к Нине непривычно сурово, сказав быстро: «Пойдемте в сад. Мне надобно сказать вам что-то важное». В аллеях, залитых лунным светом, отступил в тень, чтобы девушка не видела его изменившегося лица.

— Нина, я люблю вас!

— И я вас. Уже давно.

Сережа Ермолов, узнав, что скоро быть свадьбе, чуть не заплакал. Друзьям же говорил, что более не думает о Нине, а перед самым венчанием прибежал в их дом и срывающимся голосом сказал, что одного желает ей: счастья на всю жизнь.

Бракосочетание Нины и Грибоедова вызвало не только в Тифлисе, но и в обеих столицах российских живейший интерес. Оно казалось внезапным и оттого еще более романтичным. Собственно, так оно и было: 16 июля Грибоедов сделал Нине предложение, а на 22 августа была назначена свадьба.

«...Очень меня ошеломило такое известие о том, что Грибоедов женится. Его будущая жена — молодая шестнадцати лет княжна Нина Чавчавадзе: она очень любезна, очень красива и прекрасно образованна», — пишет Карл Аделунг, второй секретарь посольства Грибоедова, впоследствии погибший вместе с ним.

«Весь Тифлис проявляет живейшее сочувствие к этому союзу, — читаем в частном письме. — Он любим и уважаем всеми без исключения: она же очень милое, доброе создание, почти ребенок, так как ей только что исполнилось 16 лет».

Были и скептики. Женитьба много повидавшего человека,

которому за тридцать, на юной Нине у знакомого Грибоедова Н.Н.Муравьева-Карского не вызвала радостных чувств. Это супружество, как он полагал, «никогда не могло быть впоследствии времени счастливым по непостоянству мужа...».

Давнее знакомство с Грибоедовым, а более того, слухи о его громких историях, доходившие до Кавказа, рождали в Муравьеве-Карском сомнение: «Казалось мне, что он только искал иметь красивое и невинное создание подле себя для умножения своих наслаждений. Нина была отменно хороших правил, добра сердцем, прекрасна собою, веселого нрава, кроткая, послушная...»

Однако этого «впоследствии времени» не случилось. Семейная жизнь Грибоедовых вела счет не на годы, даже не на месяцы. Всего четырнадцать недель — с венчания до 9 декабря 1828 года, когда, оставив Нину в Тавризе, Грибоедов уехал в Тегеран, — вместило их короткое супружество. И самое безмятежное время, когда жизнь и счастье казались бесконечными, разумеется, выпало на первую свадебную неделю.

Из газеты «Тифлисские ведомости»:

«...1-й бал, или, лучше сказать, обед с танцами, дан был 24-го августа нашим полномочным министром в Персии А.С.Грибоедовым по случаю бракосочетания его с княжной Н.А.Чавчавадзе».

Следом бал в честь новобрачных устроил тифлисский военный губернатор Николай Мартьянович Синявин.

...Комнаты его большого дома были заполнены цветами. Звуки трубы возвещали о прибытии каждого гостя. К восьми часам все собрались. К этому времени перед домом губернатора на Александровской площади был устроен фейерверк. Его великолепие подпортил недавно прошедший дождь. Ракеты отсырели, и одна из них, так и не набрав высоты, упала в группу нарядных дам, вышедших полюбоваться огненными брызгами в вечернем небе. Тут были и переполох, и смятение. Все поспешили в дом. Однако это лишь способствовало оживлению и приподнятому настроению всех собравшихся.

Бал открыл полонезом сам хозяин дома в паре с новобрачной. Видевшие Нину вспоминали: «Она в тот вечер была восхитительна и могла бы быть признана красавицей даже и в Петербурге».

Кажется, в тот вечер веселились как никогда. Вальсы, кадрили, экосезы сменялись резвым котильоном. К общему восторгу на середине зала, в центре расступившейся нарядной толпы, молоденькие девушки-грузинки в национальных костюмах танцевали лезгинку.

Ужин окончился только в три часа ночи. Но никто не устал,

не поехал домой спать. Бал в честь Нины и Александра окончился лишь тогда, когда «светозарное солнце уже блистало на высотах Кавказа...»

...Памятью к свадебным тифлисским торжествам, будучи уже в Тегеране, Грибоедов возвращался постоянно. В удушливой атмосфере, куда он попал, это было единственным спасением. Закрывал глаза: перед ним снова появлялась его маленькая княжна с золотым ободком на безымянном пальце. Он вспоминал мельчайшие подробности их венчания под сводами Сионского собора, оживленную разноголосицу свадебного стола.

Насколько Грибоедов был во власти недавних впечатлений, говорят его письма к Нине. На все он смотрит глазами человека, недавно ставшего обладателем прелестной юной женщины, человека, несказанно счастливого этим обладанием. Пышная свадьба какого-то восточного владыки, куда его пригласили, кажется невыносимо утомительной и отчетливее заставляет думать о своем.

«Свадьба наша, — пишет Александр Сергеевич жене, — была веселее, хотя ты не шахзадинская дочь и я не знатный человек. Помнишь, друг мой неоцененный, как я за тебя сватался, без посредников, тут не было третьего. Помнишь, как я тебя в первый раз поцеловал, скоро и искренне мы с тобой сошлись, и навеки. Помнишь первый вечер, как маменька твоя, и бабушка, и Прасковья Николаевна сидели на крыльце, а ты, душка, раскраснелась. Я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче».

Когда Грибоедов и Нина поженились, он требовал, чтобы она называла его «мой Сашенька». Лицо молоденькой жены вспыхивало, Нина смеялась, отрицательно качала головой, и самое большее, чего Александр Сергеевич смог добиться, чтобы из привычного сочетания «дядя Сандро» исчез хотя бы «дядя».

После свадебного ужина и бала молодые уехали в Кахетию, в имение Чавчавадзе Цинандали. Они не разлучались ни на минуту, и каждый новый день приносил Грибоедову доказательства, что случилось немыслимое — он вытащил единственный счастливый билет из тысячи. Взял — и вытащил. А там написано — «Нина».

Ее женская прелесть не единственная награда природы. Кроткие глаза — что большая редкость в сочетании с красотою — были умны и серьезны. Грибоедов говорил с женой о важных вещах, не пытаясь упростить их, сделать понятными для существа юного возраста и сугубо семейного воспитания. Нина знала много его стихов и вообще литературу. Грибоедов с удивлением удостоверился в ее тонком уме и наблюдательности. Какое верное

понятие имеет его девочка-жена о событиях и явлениях, окружавших их жизнь! Откуда? Грибоедова, ироничного, резкого, злого языка которого боялись Москва и Петербург, заливала нежность.

С веселым ужасом он ловил себя на том, что день ото дня влюбляется в Нину все больше и больше, что воистину ничем не заслужил перед Богом этого удивительного создания. Он хотел быть отцом большого семейства. Дети будут носить русские и грузинские имена. Впрочем, как только Нине будет угодно... В этих мечтах Александр Сергеевич не видел ничего несбыточного. Какой глупостью казались ему досвадебные сомнения. Он уже твердо верил, что «свет и отрада» не покинут их с Ниной. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда.

* * *

В тенистых аллеях Цинандали об этом вспоминать не хотелось. Хорошо еще, что удержался и не сказал Нине. За два дня перед венчанием Грибоедова скрутила такая жестокая лихорадка, что в день свадьбы он едва поднялся и с трудом облачился во фрак. Проверил, не забыл ли обручальные кольца, достал, посмотрел на них, и в этот момент рука дрогнула: одно он выронил.

Едва не вскрикнул. Как нехорошо! Как некстати это! Какая дурная примета!

Но последующие события и ангельски прекрасная в белом кружевном венчальном наряде Нина отбросили в забвение неприятное происшествие. Сейчас, когда до окончания отпуска оставались считанные дни, он все чаще вспоминал его.

Медовый месяц истек. Молодожены вернулись в Тифлис. Нина упросила мужа взять ее с собой хотя бы до границы: женщинам в той обстановке враждебности, словно ждавшей своего часа, чтобы испепелить даже стены жилища «неверных», — делать было нечего. И потому чем дальше дорога для Грибоедовых — тем лучше, тем дольше они пробудут вместе. Перед самым отъездом отправились они на крутой склон горы Мтацминда к старому монастырю Давида. Грибоедов любил это место и ту величественную панораму, которая открывалась отсюда.

С отрешенным лицом смотрел он окрест и вдруг оборотился к жене, схватил ее за руки:

— Нина, ангел мой! Я чувствую, я знаю — мне не вернуться. Прошу тебя: не оставляй костей моих в Персии. Похорони вот на этом месте...

Он увидел, как лицо жены исказил ужас. Она хотела еще что-то сказать, губы шевелились, но тщетно. Грибоедов испугался.

Начал просить прощения и уверять, что пошутил, да так неловко.

Скоро Грибоедов с молодой женой, со штатом посольства и казачьим конвоем выехал в Персию.

Из письма к В.С.Миклашевич от 17 сентября 1828 года:

«...Жена моя по обыкновению смотрит мне в глаза, мешает писать, знает, что пишу к женщине, и ревнует... Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний, Нинуша моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела...

«Как все это случилось! Где я, что и с кем!! будем век жить, не умрем никогда». Слышите? Это жена мне сейчас сказала ни к чему — доказательство, что ей шестнадцатый год».

«Ни к чему»?! Видно, женское сердце так сложно устроено, что и искушенному мужскому уму его не постичь. В тех единственных подлинных словах Нины Грибоедовой, что записаны рукой ее мужа, в коротеньких фразах целая поэма о самой себе. Жила-была девочка и вдруг — вознесена! Все вокруг поменяло очертания, цвет, запахи. Это потрясение женщины, перенесенной мужскими руками в иной мир. Уже знакомый Грибоедову, для Нины он откровение, чудо, нечто такое, с чем теперь страшно расстаться. Вот оно откуда это «будем век жить, не умрем никогда». Заговор против несчастья, против разлуки, что сейчас для маленькой княжны одно и то же. Особенная боязнь смерти, когда так беспредельно счастлива. А что, если это — первый сигнал о приближающемся несчастье, итог необъяснимой интуиции любящей и любимой женщины?

С первого мгновения расставанья с мужем Нина, оставшаяся в приграничном Тавризе, вся во власти смутной тревоги. Казалось бы, причин для того нет никаких. Грибоедов последовал дальше, в Тегеран. Для него этот путь не внове. Сделает свое дипломатическое дело и вернется. В Тавризе же она и встретит его. Вдвоем они вернутся в Тифлис, и вдвоем же будут ожидать следующего события — рождения первенца. Нина знает, что будет матерью. Ее душа с благоговейным чувством раскрыта для еще одной любви — любви к будущему ребенку. Итак, счастье...

До наступления нового 1829 года остается неделя. Грибоедов пишет жене письмо. Ни он, ни Нина не знают еще, что оно последнее. Но сколько грусти в строчках о счастливой любви. С каким страхом после этих ласкающих сердце признаний Нина будет ждать следующего письма — и не дождется никогда.

«Бесценный друг мой, жаль мне, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем дальше от тебя,

тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы более не разлучаться...»

* * *

До сих пор неясно и едва ли когда откроется тайна того, что произошло в Тегеране 30 января 1829 года. Иногда восстановлению истины мешает обилие свидетельств, иногда — их отсутствие. В «тегеранском деле» Грибоедова принято опираться на показания одного человека из русской миссии, поголовно вырезанной толпой фанатиков. В живых остался только секретарь миссии Мальцев, который упоминается в качестве присутствовавшего на венчании Грибоедова. Спасся он случайно. Курьер миссии Ибрагим-бек завернул Мальцева в ковер и оставил в чулане. Все происшедшее известно в пересказе Мальцева. О том, как Грибоедов возглавил недолгую оборону посольства, в минуту смертельной опасности сохранял и присутствие духа, и мужество. О том, как обезображенный труп Грибоедова три дня таскали по городской пыли. Русское правительство потребовало выдачи тела. Грибоедова обнаружили спустя неделю в мусорной яме, куда свалили всех — тридцать семь — растерзанных русских. Изувеченного до неузнаваемости, его опознали лишь по мизинцу, простреленному на дуэли с Якубовичем. Через неделю, узнав о гибели миссии, русский консул направил в Тифлис рапорт наместнику на Кавказе И.Ф.Паскевичу. В феврале тот же Паскевич получил известие и от персидского чиновника, жившего в Тифлисе, Мирзы-Салеха.

В феврале Чавчавадзе узнали о страшной участи Грибоедова. Нина же вернулась домой в марте. Родные и домочадцы постарались сразу изолировать ее от внешнего мира. Но страшную тайну нельзя было хранить вечно. И вот обрывки неясного разговора, из которого Нина улавливает роковые, пронзающие сознание слова: «вдовья доля», «дитя, обреченное явиться в мир полусиротой». Она поняла, что Александра больше нет. Медленно сползла на пол и долго не помнила, не чувствовала, не осознавала ничего. Начались роды.

Сердечная боль была страшнее родовой. Доктор и акушерка, хлопотавшие вокруг Нины, ничем не могли помочь.

Обо всем, что с ней произошло, Нина писала в письме от 22 апреля 1829 года своей знакомой:

«Через несколько дней, проведенных в борьбе с тоской, охватившей меня, в борьбе с неясной тревогой и мрачными предчувствиями, все более раздиравшими меня, было решено, что лучше сразу сорвать покрывало, чем скрывать от меня ужасную правду. Свыше моих сил пересказывать вам все то, что я перенесла: я взываю к вашему сердцу любящей супруги, чтобы вы

смогли оценить мою скорбь, я уверена, что вы поймете меня: мое здоровье не могло противостоять этому ужасному удару. Переворот, происшедший во всем моем существе, приблизил минуту моего избавления. Опустошенная душевными страданиями более, нежели страданиями физическими, лишь через несколько дней я смогла принять новый удар, который мне готовила судьба: мой бедный ребенок прожил только час, а потом соединился со своим несчастным отцом — в мире, где, я надеюсь, будут оценены и их достоинства, и их жестокие страдания. Однако его успели окрестить, ему дали имя Александр в честь его бедного отца».

* * *

Лишь спустя месяц Нина стала подниматься после горячки. Ни плача, ни жалоб от нее не слышали. День за днем, неделя за неделей — она как бы неохотно прощалась с тем бессознательным состоянием, которое сейчас для нее было лучше жизни. Но вставать заставляла необходимость.

Грибоедов оставался непогребенным, и Нина знала, что гроб с его телом, одолевая бесконечные перевалы, все-таки неуклонно приближается к Тифлису. Стоял уже июнь.

Рассказывали, что за день до того, как траурная арба появилась на улицах Тифлиса, над городом бушевала такая гроза, какой старожилы не помнили. Следующий день был тих и светел. Родственники отговаривали Нину идти к городской заставе встречать гроб. Она настояла на своем и долго молилась перед иконами, прося сил все перенести.

Наступил вечер, когда на дороге, ведущей к Тифлису, появились повозка и люди с погребальными факелами в руках. Они подступали все ближе и ближе, и наконец Нина увидела гроб. Вот тогда сознание оставило ее.

На следующий день Грибоедова отпевали в том самом Сионском соборе, где стоял он рука об руку со своей невестой в белоснежной фате. Тому минуло меньше года.

Просьбу мужа она выполнила — похоронила его на Давидовой горе. И стала хлопотать о памятнике.

Дело оказалось очень сложным. Духовенство не давало согласия, упирая на то, что тяжелый камень вызовет оползень и принесет вред монастырю. Нина взялась на свои деньги укрепить церковь, возле которой был похоронен Грибоедов. Ей и в этом отказали. Тянулись долгие месяцы, прежде чем разрешение было получено.

Нина сама сделала набросок, каким бы она хотела видеть памятник мужу. Списалась со знаменитым скульптором Василием Ивановичем Демут-Малиновским, и он, не откладывая, приступил

к работе.

Памятник был уже готов, а вдова все искала слова, которые остались бы на мраморе вечно. Они пришли к ней ночью.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?

Незабвенному его Нина».

* * *

«Вся жизнь Нины Александровны после смерти мужа была посвящена родным и друзьям. То был ангел-хранитель всего семейства и существо, которому поклонялось все, что было на Кавказе...»

Так писал один из современников, долго и хорошо знавший Грибоедову. Несмотря на то что средства ее были весьма ограничены, всяк мог рассчитывать на деятельную помощь. Чем беднее, беззащитнее был человек, тем энергичнее шла она на помощь, снабжая деньгами, хлопоча у высокопоставленных лиц, что, как правило, давало положительный результат — отказать Грибоедовой, «популярнее которой», как писали на Кавказе, «никого не было», никто просто не осмелился бы.

Когда в одной из областей Грузии начались волнения, решили обратиться за помощью к Нине Александровне — таков был авторитет этой женщины, так высоко ценились ее ум, такт, знание людей, обаяние, которое к ней приковывало раз и навсегда.

* * *

Вспомните, как говорила о себе лермонтовская Тамара:

Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..

Лермонтов словно подслушал тайные мысли Нины Александровны... Эта женщина, с ее ореолом страданья вокруг прелестной головки, не могла не волновать его. А то, что Михаил Юрьевич был знаком с Чавчавадзе и его дочерью-вдовою, почти не подвергалось сомнению таким авторитетным знатоком жизни и творчества Лермонтова, как И.Л.Андроников. В доказательство он приводил слова троюродного брата и приятеля Лермонтова Акима Шан-Гирея. Тот же по поводу «Демона» писал в своих мемуарах: «Здесь кстати замечу... неточности в этой поэме: «Он сам, властитель Синодала...» В Грузии нет Синодала, а есть Цинундалы (так, видимо, правильнее произносить это название. — *Л.Т.),* старинный замок в очаровательном месте в Кахетии,

принадлежащий одной из древнейших фамилий Грузии, князей Чавчавадзе».

«Как видим, — делает вывод Андроников, — Шан-Гирею было известно, что мысль назвать жениха Тамары «властителем Синодала» возникла у Лермонтова в связи с пребыванием в Цинандали у Чавчавадзе. Иначе Шан-Гирею и в голову не пришло бы сопоставлять слова «Синодал» и «Цинундалы»...»

Нижегородский полк, где служил Лермонтов, широко пользовался гостеприимством семейства Чавчавадзе. Между «нижегородцами» и хозяевами Цинандали, по замечанию историка полка, «кровная связь». Их появление «на широком, как степь» дворе Александра Гарсевановича служило своеобразным сигналом для всей округи. Размеренная жизнь отступала. Наезжали гости. Дом был полон народа. Где-то спорили, кто-то уединялся для задушевных бесед. Поднимались бокалы, звенели здравицы в честь гостеприимного хозяина и его дочери. Она — ровесница молодых удальцов в мундирах, у которых при виде богини Цинандали бурлила кровь и молодой хмель ударял в голову.

Начинались лихие забавы, когда каждый хотел щегольнуть: в стрельбе ли, в джигитовке ли. Все при оружии — кинжал и шашка, пистолет за поясом и винтовка за спиной. Молодой задор бросал «нижегородцев» на коней. Не отставали однополчане-грузины на карабахских жеребцах под персидскими седлами, сверкавшими на солнце камнями и расшитыми серебром и золотом. Ветер в лицо. Свист в ушах. Кто первый, кто самый ловкий, на ком задержит взгляд прекрасных глаз дочь князя Чавчавадзе?

В 1835 году Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта, сообщил матери Надежде Осиповне, что «провел две недели в усадьбе вдовы Грибоедова». Главное впечатление — Нина Александровна. Дни, проведенные рядом с нею, отныне для Льва Сергеевича «прекраснейшее для его жизни», она, Нина, — «очаровательная женщина», и он «опять собирается туда».

Светлым видением Нина Александровна входила в жизнь тех, с кем сводила ее судьба. На настороженном воинственном Кавказе не водилось людей сентиментальных — все военные, рубаки, понюхавшие пороху. Живя среди опасности и риска, они редко отдавали себя во власть настроения, но стоило привычной к сабле руке взять перо да вспомнить «невесту Севера», как все они уподоблялись влюбленным восторженным гимназистам.

Нина Александровна Грибоедова

«Видел ли я что-нибудь подобное? — писал о Нине Александровне тот самый Синявин, который некогда в паре с ней открывал бал. — Нет, в мире не может существовать такого совершенства; красота, сердце, чувства, неизъяснимая доброта! Как умна-то! Божусь, никто с ней не сравнится».

«Одно из прелестнейших созданий того времени, — писала об избраннице Александра Сергеевича Грибоедова современница. — Красавица собою, великолепно образованная, с редким умом, она, безусловно, завоевывала симпатии всех, кто только был с ней знаком. Все, кто только ее знал, люди самых различных слоев, понятий, мнений, сходятся на том, что это была идеальная женщина. Не было мало-мальски выдающегося поэта в Грузии, который бы не посвятил ей несколько стихотворений».

Возле Нины Грибоедовой всякому хотелось быть лучше, благороднее, умнее. Вот где находило подтверждение известное высказывание: «Мужчины пишут законы, женщины образуют нравы». Во всем, что сочинено в честь «невесты Севера» и в стихах, и в прозе, заметно одно: мужчины вспоминают чувство, которое женщины уже давно не вызывали, — благоговение! Они уподобляются жрецам в храме. Пылкие речи заменяются робкой молитвой. Они чувствуют себя во власти чего-то более высокого, нежели красота и пленяющая женственность.

«Улыбка Нины Александровны все ли так хороша, как благословение?.. При свидании скажите ей, — просит генерал

Л.Л.Альбрандт приятеля, жителя Тифлиса, — что и здесь, за дальними горами, я поклоняюсь ей, как магометанин солнцу восходящему».

Что к этому прибавить?..

Люди не любят обременять себя зрелищем чужой печали, пусть даже потаенной. Она смущает, угнетает дух и настроение. К Нине же Александровне тянулись, общества ее искали — лучшее свидетельство тому, что она не производила впечатления человека, которому постыл мир и все сущее в нем. Никто не замечал в Грибоедовой ни малейшего желания из-за своего трагического прошлого оказаться в глазах других на особом счету. Вспоминали, что Нина Александровна «всегда охотно делила и понимала веселость других».

Приветливый взгляд Нины Александровны, ее общительность и, казалось, спокойное состояние духа вводили в заблуждение многих. И действительно: разве время не лечит? Искатели руки Нины Александровны не переводились в течение всей ее — увы! — недолгой жизни. Они не переставали надеяться, что в конце концов трагедия погибшей любви отойдет в прошлое и уступит место естественным стремлениям красивой женщины обрести семью, обожающего ее человека.

Среди поклонников Нины Александровны были люди очень достойные, доказавшие свою преданность. С каждым из них она была бы спокойна за свою судьбу. Но всякий раз она отказывала. И любящие ее не оскорблялись этим отказом, продолжали ждать, надеяться, снова предлагали руку и сердце и снова слышали ее тихое, твердое «нет».

Почему так? Какая в том справедливость, если одна погибшая жизнь хоронит заживо другую? Разве память об одном человеке так уж несовместима с привязанностью к другому? Да был бы доволен сам Грибоедов долей своей Нины, обрекшей себя на одиночество, на отказ от радостей материнства?..

А тоску — глубокую, непреходящую — она чувствовала. После смерти родителей образовавшаяся пустота мучила Нину Александровну. Недаром, когда ее невестка ожидала очередного ребенка, она буквально взмолилась:

— Вас окружают дети, а я совсем одна. Отдайте мне того, кто должен появиться на свет.

Давид Александрович обещал, что, если родится девочка, сестра возьмет ее и будет растить. Радости Нины Александровны не было предела: хоть одна молитва была услышана небом. Маленькая Катя родилась хилым, болезненным ребенком. «Мама Нина» самоотверженно выхаживала девочку. Кроватка Кати стояла рядом с кроватью Нины Александровны. Она не

разлучалась с воспитанницей, та обожала ее, и слезы, которые не всегда удавалось спрятать вдове, были первыми Катиными огорчениями.

— Кто тебя обидел, тетя? Ну почему ты плачешь?

Нина Александровна брала девочку на руки, прижимала к себе:

— Я просто так, Катенька. Больше не буду. Посмотри, я уже улыбаюсь...

«Мама Нина», правда, отлучалась. Это происходило каждый день, и, чуть подросши, девочка уже знала, что тетя ходит на могилу. Иногда брала и ее.

Еще воспитанница Нины Александровны запомнила шкатулку, всегда стоявшую на столике в их с тетей спальне. Ей не раз приходилось видеть, как та открывала крышку, водила пальцами по темному дереву. Потом лицо тети становилось странным, словно она, сомкнув веки, что-то силилась вспомнить и не могла, — и это очень мучило ее. Потом она опускала голову на поднятую крышку, плечи ее начинали мелко-мелко дрожать.

...Воспитанница Грибоедовой, Екатерина Давидовна Астафьева, на склоне лет вспоминала: «В 1871-м мать моя передала мне тетину шкатулку, говоря: «Береги, она была очень ценной для тети твоей, в ней когда-то хранились бумаги Александра Сергеевича Грибоедова».

...Люди едва ли когда поймут, что хранящие верность не совершают никакого усилия над собой. Это нечто само собой разумеющееся. Их ноша легка. Нина Александровна удивилась бы, услышав, что ее жизнь называют подвигом любви. Если бы ей хотелось, она полюбила бы другого. Но это было невозможно. Грибоедов, мертвый, легко справлялся с соперниками. Он оставался самым лучшим, умным, красивым. Как это удается тем, кого давно нет на свете, почему их любят, а живых забывают, легко заменяют другими — загадка...

* * *

Осенью 1856 года в Москве состоялась коронация нового царя, Александра II. Екатерина Чавчавадзе-Дадиани, ставшая после смерти мужа правительницей Мингрелии, разумеется, должна была присутствовать на торжественной церемонии. В этой поездке ее сопровождала сестра, Нина Грибоедова, ей шел сорок пятый год. Краски молодости покинули лицо «мадонны Мурильо», но теперь, вопреки всему, что-то истинно божественное, отрешенное от суеты, мелочных ухищрений и забот стало проявляться в нем. На женщину, чей скромный наряд оживлялся лишь белым воротником, оглядывались, где бы Грибоедова ни появлялась. Шептали вслед: «Кто она?» Узнав,

смотрели пристально и цепко, словно то было видение, которое появляется лишь раз в жизни, но потом, оставаясь недоступным забвению, светлым воспоминанием уходит в мемуары, в семейные предания.

Так было и тем вечером, когда Нина Александровна с сестрой появилась в Малом театре. Давали «Горе от ума». Актеры знали: в зале сидит вдова Г рибоедова. За кулисами чувствовалось волнение еще и потому, что спектакль был внеочередным, незапланированным. Дело в том, что в те дни, которые сестры предполагали еще быть в Москве, в афише Малого значились совсем другие спектакли. Нина Александровна, словно предчувствуя, что другого случая уже не представится, обратилась к поэтессе Евдокии Ростопчиной. Та была на короткой ноге с театральным начальством. Нельзя ли показать «Горе от ума»?

Ростопчина отозвалась с горячим сердцем, без промедления. «У меня к вам поручение, милостивый государь Алексей Николаевич, — писала она управляющему конторой театров Верстовскому. — Здесь теперь находится вдова Грибоедова и сестра ее, правительница Мингрелии. Они обе очень желают видеть на сцене «Горе от ума» и просят доставить им это наслаждение».

...Летом 1857 года в Тифлисе началась паника: из Персии пришла страшная гостья — холера. В Сионском соборе экзарх Грузии отслужил молебен, прося Всевышнего заступиться за несчастных людей. Смерть косила направо и налево. Молотки гробовщиков не умолкали даже по ночам, и казалось, скоро не останется живых, чтобы хоронить мертвых.

Люди богатые давно покинули город, оставив слуг сторожить добро. Знакомые и родные Нины Александровны, отправляясь в свои отдаленные имения, умоляли ее ехать вместе с ними. Она отказалась. Все, кто знал кроткую Нину, понимали — увещевания бесполезны. У нее один ответ: «В городе всего два врача да община сестер милосердия при русском госпитале. Я лишней у них не буду». И провожала, и махала уезжавшим вслед рукой.

...Она заразилась и знала, что умирает. Почти три десятилетия ее вдовства кончались вместе с жизнью. В последний миг забытье оставило ее, и склонившейся сиделке Нина Александровна сказала очень разборчиво, собрав последние силы:

— Меня... рядом с ним.

И ушла — с облегчением, быстро, словно торопясь на свидание, которое давно ей было обещано и так долго, так мучительно откладывалось.

ТАНЕЦ С ПОКРЫВАЛАМИ

Как над тобою посмеялась
Твоя жестокая судьба!
Какая жизнь в удел досталась
Тебе, царица и раба!
Я верю, что настанет время
Тебе вознесться меж людей
И сбросить вековое бремя
С судьбы таинственной своей...

Н .Щербина

Уже восемьдесят лет нет на свете великой обольстительницы Маргариты Зелле. Мир знает ее под именем Мата Хари. Написаны романы, сняты фильмы, голландцы создали мемориальный музей своей знаменитой соотечественницы. То там, то здесь появляются новые публикации: была ли действительно шпионкой танцовщица, сводившая с ума Европу? Или мир посетила женщина, владевшая истинно божественным ремеслом «аре амандис» — искусством любить?

...На рассвете 15 октября 1917 года недалеко от Венсенского леса под Парижем состоялась казнь. Солдат с карабинами выстроили в три ряда, а в десяти шагах от них, возле врытого в землю столба, стояла нарядная дама в широкополой шляпе с вуалью.

Офицер быстро зачитал приговор, и раздалась команда. Женщина, дернувшись вперед, упала на колени и медленно опустилась на землю.

По одной версии лишь три пули попали в нее, из которых одна, по счастью, прямо в сердце. По другой — одиннадцать. Кроме того, упоминают о «выстреле милосердия» — когда осужденного добивают наверняка из пистолета. На сей раз тяжелый свинец раздробил по-королевски благородное, будто из мрамора высеченное лицо. Лицо, которое грезилось во сне и наяву тысячам людей.

Солдаты же были уверены, что уничтожают исчадие. А эта высокая тонкая фигура, изящная рука, прижатая к груди, голос, спокойный и нежный, — все дьявольская оболочка, соблазн, смущающий их неискушенные души.

Однако, когда дело было сделано и тело положили в привезенный заранее гроб, встал вопрос: что дальше? Очевидно, у казненной ни родных, ни знакомых не было — просьб о выдаче

тела не поступало. Потому и решили во избежание лишних хлопот отправить его в анатомический театр под скальпель будущим Гиппократам.

Недруги казненной увидели бы в этом высшую справедливость: ненавистная будет расчленена, никто никогда не узнает, где, в какую яму бросили ее бренные останки. Но для многих обыкновенных людей Мата Хари была воплощением чего-то прекрасного, таинственного, иллюзорного. Ее снимки в газетах с восторгом рассматривали, покупали в киосках фотографии, читали интервью, которые она щедро раздавала. Танцовщица вовсе не была бабочкой-однодневкой. Она пользовалась успехом прочным и устоявшимся: обширная гастрольная география, аншлаги, присутствие на выступлениях коронованных особ. Сколько людей в Европе на протяжении двенадцати лет впадали в некое гипнотическое состояние, носившее имя Мата Хари! История этой болезни окончилась осенним рассветом у Венсенского леса. Началась — 5 марта 1905 года...

Тогда в парижском Музее искусств Азии на сцену, усыпанную лепестками роз, вышла темноволосая женщина, окутанная полупрозрачными одеждами. Ее тело, раскачиваясь под звуки старинной восточной музыки, старалось освободиться от них, как от ненужной обузы, скрывающей священное и совершенное. Последней падала набедренная повязка из легкого газа, и на мгновение танцовщица замирала обнаженной...

«Танцы с раздеванием» не были изобретением Маты Хари. В Париже было достаточно мест, где «красотки кабаре» устраивали подобное зрелище ежевечерне. Но именно -— лишь подобное. Как аляповатая мазня разнится с истинно художественным полотном, так и Мата Хари отличалась от стандартных стриптизерок темных подвальчиков. На это, рассказывая о ней, очень редко обращают внимание, делая акцент на шпионских перипетиях ее судьбы. Однако невозможно пройти мимо свидетельства авторитетнейших людей искусства, уважавших в Мате Хари именно ее артистическое дарование. Превратить сомнительный жанр с раздеванием в явление искусства — это ей оказалось по силам. А ведь каждому понятно, что именно здесь легче всего качнуться в сторону непристойности и пошлости. Один из театральных знаменитостей того времени в своих воспоминаниях писал: «Она обладала высокой культурой и производила впечатление человека аристократической среды. Она была серьезным артистом... Это была личность».

На удивление разная Мата Хари на своих изображениях. Будто фотообъектив запечатлел незнакомых между собой женщин. Безупречная светская дама. Холодноватая. Надменная. И

другая — со спокойным бесстыдством надевшая на себя лишь браслеты...

Мата Хари

Легкое сумасшествие, охватившее в тот вечер публику, скоро перекинулось на весь Париж, а затем захватило и другие города Европы. Выступления Маты Хари в Вене, Мадриде, Риме, Берлине, Монте-Карло проходили при полном аншлаге. Самые выгодные контракты звали ее в Лондон и Петербург. Публика жаждала зрелищ необычайных и невиданных. Что ж удивительного? Мата Хари, сама того не подозревая, появилась как раз вовремя и кстати.

Давно замечено, что та грань, когда один век перетекает в другой, несет в себе элемент взвинченности и истерии. Люди начинают тяготиться обычным ходом вещей, хотят испытать ощущения иные, нежели те, что предлагают им будни. Вот тогда-то и наступает звездный час всевозможных прорицателей, экстрасенсов, мастеров по части спиритизма и запредельного мира. Тогда-то так охотно заглатывается наживка из разных идей, теорий, мировоззрений, выходящих за рамки земного и каждодневного.

Мата Хари оказалась из разряда таких явлений. Ее эротические, переполненные восточной символикой пластические этюды были своего рода опиумом. Она — немыслимая и нездешняя, в торжествующей наготе говорящая с богами на божественном языке — в какой-то степени была просто обречена

на популярность и поклонение. Для прессы же «индусская богиня» была истинной находкой, и газетчики старательно превращали танцовщицу в символ чувственности и соблазна, в идола, в скандал.

По существу, Мата Хари стала первым, официально признанным секс-символом. Понятие, столь знакомое современному человеку, тогда, на заре века, окружалось тем же антуражем, что и сегодня. Фотографии танцовщицы в самых рискованных позах наводнили газеты и журналы. Интимные подробности ее жизни — не важно, реальные или выдуманные — становились достоянием всех. Ходить «на Мату», обсуждать, поклоняться, коллекционировать фото становилось делом мужского престижа. А уж входить в круг ее знакомых — это выпадало далеко не всем. Из сонма поклонников и любовников роковой красавицы пресса вылавливала крупные и широко известные фигуры.

Здесь принцы оттирали плечом герцогов. Добивались удовлетворения страсти министры, банкиры, государственные деятели. Называли даже двух монархов европейских стран.

Несчастные жены тщетно пытались привести в чувство обезумевших мужей. Рушились семьи и карьеры, пустели кошельки, и шли прахом состояния. И если утверждение, что именно женская ревность подвела «проклятую дьяволицу» под дуло карабина, ничем конкретным не подтверждается, то основания для такой мести были.

Тем более что Мата Хари сама, и не без успеха, создавала свой образ «суперженщины», которой по силам недоступное для других. Она родилась под знаком Змеи и этим фактом объясняла многое в своей жизни. Именно от нее известно, что, когда ей случалось верхом проезжать мимо клеток с рептилиями в аллеях зоологического сада, те, словно по команде, просыпались и подымали вверх гладкие изящные головки, словно приветствуя себе подобную.

...Поздними вечерами, когда в жилищах мирных граждан обычно гаснет свет, «змеиное гнездо» танцовщицы озарялось огнями. О так называемых «оргиях» Маты Хари ходили самые невероятные слухи. Считалось, что высокопоставленных гостей Мата Хари «потрошила» в своих роскошных апартаментах. Здесь они оставляли большие деньги, но не только их. Информация, полученная у ничего не подозревавших гостей, стоила дорого, и те, кому танцовщица ее передавала, платили исправно.

Догадывались ли поклонники красавицы, проводившие с ней время в ночных увеселениях, кто она? Откуда взялось это странное имя — Мата Хари?

Ее настоящее имя было не менее красиво — Маргарита. Дочь владельца магазина Антона Зелле родилась в 1876 году. Детство девочки прошло в голландском городке Леуварден — благополучном и уютном. На воспитание Маргариты не жалели денег, и она вполне соответствовала образчику ребенка из «хорошего дома»: говорила на двух языках, играла на фортепьяно. Природа дала ей прекрасный голос и миловидность, обещавшую превратиться в красоту.

Однако, когда Маргарите минуло двенадцать лет, отец разорился и благополучный дом мигом превратился в ад. Сцены между родителями прекратились только тогда, когда мать умерла. Девочка-подросток оказалась предоставленной самой себе: отцу было не до нее. Классический выход из положения в таких случаях — поскорее выйти замуж. Что Маргарита и сделала, видимо не особенно вдаваясь в достоинства будущего супруга. Рудольфу Маклеоду было тридцать восемь лет. Он служил офицером в голландской колонии в Ист-Индии, откуда вывез скромные сбережения и болезни, нажитые в тропиках.

Через год после свадьбы молодые снова уехали в Ист- Индию. Здесь у Маргариты Маклеод родился сын Норман, а через два года дочь, которую назвали экзотическим именем Нур. На местном диалекте это слово означало «девочка». Этому естественному развитию событий в молодой семье, однако, не удалось пересилить нелады, подтачивавшие супружество. Разразившаяся трагедия ускорила неизбежный разрыв. Она же и испытала душу Маргариты той самой страшной мукой, которая только может выпасть на долю женщины.

...Детей отравила местная няня, подсыпав им яд. Ходили слухи, что таким образом она отплатила лейтенанту Маклеоду за жестокое обращение с ее любовником. Двухлетний сын Маргариты умер в страшных мучениях. Дочка же Нур, нескольких месяцев от роду, чудом выжила.

Однако через семь лет Маргарита потеряла и ее. Это случилось, когда они с мужем вернулись в Голландию. Разведясь с ней, Рудольф Маклеод забрал девочку к себе. В следующем году ему удалось добиться лишения Маргариты родительских прав. Его доводы показались суду чрезвычайно вескими — Рудольф предъявил фотографию бывшей жены, танцующей обнаженной. Свою угрозу Маклеод выполнил — Маргарита никогда больше не увидела Нур. С этого времени исчезла госпожа Маклеод и появилась Мата Хари. Это имя означало «глаз рассвета».

Можно предположить, что пойти на сцену несчастную женщину вынудило жестокое безденежье. И в этом будет, конечно, часть правды — Маклеод так и не выплатил бывшей

супруге ни франка, хотя суд назначил ей ежемесячное содержание. Маргарита решила заняться танцами с раздеванием. Начинала она с дешевых полуподвальчиков, где ей платили несколько франков за выход.

И все-таки значительно труднее объяснить другое: зачем к своему и без того таинственному имени — Мата Хари — этой женщине нужно было присовокуплять еще одно: жестокое, так не идущее к ее неотразимо женственному облику — агент Н-21. Тем не менее многие, занимавшиеся судьбой Маты Хари, приходят к выводу, что ее дебют на сцене и в качестве агента германской разведки состоялся почти одновременно.

Довод одних — ей нужны были деньги. Женщина, почувствовавшая себя после развода щепкой в море, старалась спастись от нищеты, используя два источника дохода. Один подстраховывал другой: танцы в кабаках и отчет о разговоре с оставшимся ночевать, скажем, офицером генштаба. Германская разведка не брезговала ничем, умея и в куче мусора найти золотое зерно. Естественно, что эта статья дохода могла казаться начинающей танцовщице и стабильной, и значительной.

А может быть, все-таки агент Н-21 — это очередная роль, которую актриса Мата Хари придумала для себя? Если «индусская богиня» щекотала нервы другим, то почему бы не доставить такое же удовольствие себе? Шпионаж — что может быть романтичнее и опаснее? От чего более всего веет смертельным холодом? И что дает тайную власть над людьми и событиями? Она хотела быть неповторимой, исключительной и была права — никакое иное занятие не смогло бы сделать ее — и так необыкновенную — еще более необыкновенной. И так роковую — еще более роковой...

* * *

Женский шпионаж — занятие такое же старое, как и война. Разумеется, в зависимости от времени и места действий он видоизменялся.

Но одна из его форм традиционно оставалась постоянной. Вступить в близкие отношения с интересующим «хозяев» лицом, очаровать, притупить бдительность, направить разговор в нужное русло. Этот сценарий по плечу самым красивым, обаятельным, в совершенстве владеющим техникой обольщения женщинам. Известно, как широко пользовался такой дамской расторопностью Наполеон. Да и совсем недавние разговоры, ходившие о связях несравненной секс-бомбы Америки Мэрилин Монро с разведкой КГБ, дают представление, каким уровнем внешних достоинств надо обладать, чтобы из ложа страсти сделать источник информации.

Но каковы должны быть внутренние достоинства? Вот тут-то профессиональные разведчики не спешат аплодировать слабому полу. По мнению многих, чтобы добывать нужные сведения древним как мир способом, надо по сути своей быть представительницей древнейшей женской профессии. Но то, что продается даже очень дорого, всегда можно перекупить. История Маты Хари это прекрасно доказывает...

28 июня 1914 года в столице Боснии Сараево гимназист со странной фамилией Принцип смертельно ранил наследника австрийского престола Франца-Фердинанда. Принято считать, что это событие повлекло за собой начало Первой мировой войны, куда, как в адскую воронку, ввергнулись десятки стран и миллионы людей.

Тайная профессия знаменитой танцовщицы в условиях военных действий Германии против Франции становится вдесятеро опаснее. Учитывала ли она это? Вероятно, не в полной мере. Потому что уже в 1915 году французская контрразведка установила за ней наблюдение. Едва ли могло быть по-другому. Если перлюстрируемые письма Маты Хари не давали против нее прямых улик, то ее активное передвижение по Франции и интерес к прифронтовым зонам не могли не вызвать подозрения. Слишком яркой и известной фигурой она была, чтобы остаться незамеченной.

Но недаром близко знавшие Мату Хари люди отмечали ее несомненный ум. Почувствовав за собой слежку, она напрашивается на прием к своему противнику номер один — шефу французской контрразведки господину Ладу. Понимая, что тому известно многое, она предвосхищает его удар и, в сущности, предлагает перекупить ее. Сумма? Один миллион франков.

Деньги, и большие, ей действительно были нужны позарез. В обстановке войны желающих щедро платить за «танцы любви» поубавилось. Солидная клиентура сдвинулась с насиженных мест. К тому же Мата Хари пристрастилась к азартным играм, что порой ее ставило на грань полной нищеты. Не раз она покидала свой дом ночью, чтоб обмануть кредиторов. И в ощущении того, что на шее затягивается удавка, вопрос «кому служить?» ее не волновал. Важнее — «за сколько?».

В сущности, господин Ладу ничем не рисковал, принимая на службу нового агента. В Испании, куда он отправил Мату Хари для оказания услуг Франции, ее ожидала серьезная проверка — шифр германских спецслужб был известен.

Теперь все зависело от перехватчика, установленного на Эйфелевой башне. Он должен был полностью раскрыть карты Маты Хари — на кого в действительности та работает...

Не напрасно мсье Ладу дал очаровательному агенту совет не пытаться сесть сразу на два стула — не стричь купоны за свои донесения и с французов, и с немцев. Что произошло в Мадриде — сведения об этом, должно быть, и сейчас надежно похоронены в архивах германской разведки. Ясно одно — служанкой двух господ танцовщице-шпионке стать не удалось.

Скоро на стол в парижском кабинете мсье Ладу легли дешифровки. Из Мадрида сообщали в Берлин: «...прибыл агент Н-21. Ему удалось поступить на французскую службу... Сообщает следующие данные о местонахождении французских полков...»

И она вернулась... 13 февраля 1917 года в гостинице «Элизе-Палас» появилась деловитая группа мужчин и уверенно направилась к апартаментам прекрасной гастролерши. Часом позже Мату Хари уже допрашивали во французской контрразведке, обращаясь непривычно и страшно: «Н-21, когда именно вы поступили на германскую службу?»

24 июля 1917 года дело Маты Хари поступило на рассмотрение военного суда, который должен был определить степень виновности и ущерб, нанесенный французским и союзным войскам. Самое удивительное, что длительный судебный процесс, в сущности, так и не решил, кто же стоял перед обвинителями: матерая шпионка или жалкая дилетантка, романтические бредни которой подвели ее под трибунал? Этот вопрос и по сию пору не отпускает воображение людей. Буквально в каждом новом поколении находятся энтузиасты, горящие желанием вернуться к старому делу, чтобы еще раз спросить: «Была ли виновна Мата Хари?»

По мнению одних, она отправила на тот свет дивизии солдат, предупреждая немцев о планируемых военных операциях и передвижении войск. Но тот же шеф французской контрразведки, господин Ладу, считал, что в танцах, любви и даже в собственной смерти Мата Хари преуспела гораздо больше, чем на поприще шпионажа. Сведения, передаваемые в центр, были далеко не всегда точны и еще реже — значительны.

Третьи пошли еще дальше, утверждая, что против Маты Хари была сплетена адская интрига ее недругами и в Венсене расстреляли невиновную.

Однако все случилось так, как случилось. У военного времени свои законы, и суд единогласно приговорил танцовщицу к смертной казни.

* * *

История Маты Хари как-то сама собой настраивает на мысль, что речь идет об очень молодой женщине. Однако первый раз она вышла на сцену в преддверии своего тридцатилетия, а погибла в

сорок один год. До самого своего ареста она не переставала выступать, хотя, кажется, возраст уже должен был брать свое. Тут еще одна загадка Маты Хари: она продолжала оставаться юной богиней, сияющей и манящей. И это при жизни, никак тому не способствующей, — частые разъезды, ненормальный распорядок жизни, стрессовые ситуации, которые шли за ней по пятам. Однако факт остается фактом, и его можно объяснить, только поверив самой Мате Хари, утверждавшей, что ей известен секрет вечной молодости. Можно сколько угодно иронизировать по этому поводу, но и «весна сердца» настигла ее как раз на роковом рубеже.

Незадолго до ареста эта взбалмошная, холодная, расчетливая и эгоистичная до мозга костей — так, во всяком случае, утверждали многие — женщина влюбилась. По признанию самой танцовщицы, это была ее первая и самая чистая любовь. И она же признавала полную безнадежность своей запоздалой страсти. Ее избранник, капитан французских войск, человек из титулованной, с безупречной репутацией семьи, не мог жениться на ней. Мата Хари же мечтала о замужестве.

Иллюзии рассеялись. Наверное, в какой-то мере это облегчало ей ожидание смерти. Когда потеряна последняя надежда на счастье, смелее глядишь в бездну...

В последние дни перед казнью Мата Хари возвращалась мыслями к тому, о чем отвыкла думать. Или хотела убедить в этом себя и других? Одному из знакомых, добившихся с ней свидания, она передала миниатюрный портрет в рамке, вынув его из-под арестантского халата. «Вот, — сказала она, — у меня есть дочь, маленькая девочка, передайте это ей».

Трудно представить, чтобы Мата Хари могла не понимать, что «девочка» уже выросла, — Нур в ту пору было девятнадцать лет. Что это, если не маленькая хитрость с самой собой, последний шанс выговорить давно забытые слова: «...у меня есть дочь, маленькая девочка...» Сестры милосердия оказались последними ее зрителями. В казенной одежде заключенной Мата Хари танцевала для них, ничего не понимавших в танцах любви и смерти.

Из стен Сен-Лазарской тюрьмы ушли письма тому капитану и дочери. Усмехнувшись, Мата Хари просила письма не перепутать. И еще отказалась от услуг священника.

...То утро, по воспоминаниям современников, было ветреным и холодным. Женщина сама подошла к столбу, не дожидаясь приказа. Попросила не завязывать ей глаза. «Если мадам не желает, повязки не будет. Нам, собственно, все равно...»

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Люблю я пышных комнат стройный ряд,
И блеск и прихоть роскоши старинной...
А женщины... Люблю я этот взгляд
Рассеянный, насмешливый и длинный;
Люблю простой, обдуманный наряд...
Я этих губ люблю надменный очерк,
Задумчиво приподнятую бровь;
Душистые записки, быстрый почерк,
Душистую и быструю любовь.

И .Тургенев

...Шелестел над Страстным бульваром благословенный девятнадцатый век. Совсем рядом в одном из особняков жила семья Римских-Корсаковых.

Хозяйку дома, Марию Ивановну, Пушкин называл «чрезвычайно любезною представительницей Москвы». Того же самого мнения придерживались многие: Мария Ивановна хоть и была большой барыней, но в своем богатстве и родовитости ни на йоту не порастеряла душевного тепла. Была она исключительно хлебосольна, жила с размахом. На ее балах до утра плясала вся Москва. Устраивала их Мария Ивановна не абы как, а с выдумкой, с сюрпризами. Видно было, что молодость сердца не изменяла ей, хотя годы, как водится, шли и шли...

Когда-то Мария Ивановна вышла замуж за человека много старше себя, но весьма видного собою и очень состоятельного. Звали его Александр Яковлевич Римский-Корсаков. Богатство привалило Римским-Корсаковым, когда у Екатерины II появился фаворит той же фамилии. Как водилось, императрица облагодетельствовала всю семью. Супруг Марии Ивановны был пожалован в камергеры, получил и земли, и крестьян.

Между тем, как и екатерининский фаворит, слыл он человеком недалеким. Потихоньку управление громадным хозяйством и большой семьей перешло в руки его жены, которая всем взяла: и красотой, и умом.

Дождавшись, когда дети выросли, а жена начала стареть, Александр Яковлевич переехал жить в деревню. Мария же Ивановна по-прежнему безотлучно стояла на мостике семейного корабля, принимая на себя единственную все бури и шквалы житейского моря. И как всякой матери, у которой свет клином сошелся на детях, ей пришлось хлебнуть горького до слез.

...Когда начались бои с Наполеоном, проводила Мария Ивановна на войну двоих старших сыновей. Младший Сергей тоже записался в ополченцы, и соседи видели, как Мария Ивановна кладет истовые поклоны в храме, моля оберечь ее дорогих чад.

Но горе не обошло стороной. Первенец ее, Павел, погиб в Аустерлицком сражении. Тело его найдено не было. Мать считала сына без вести пропавшим и до самой смерти надеялась, что ее Паша вернется. От чахотки умерла и одна из дочерей, Варвара. Для семьи, где все с большим сердцем относились друг к другу, это были невосполнимые потери. Чуть придя в себя от горестей, Мария Ивановна стала думать, как бы выдать поудачнее замуж остальных дочерей. Кажется, что там! — не кривобокие, не дурнушки. Но, прославленные на всю Москву красотой, девицы Римские-Корсаковы и требовали, по понятиям матушки, женихов особых. Их бархатные глаза многим не давали покоя. Однако в письме среднему сыну Григорию Римская-Корсакова жаловалась, что, мол, женихи словно перевелись, один хуже другого, а которые чуть получше, так их сейчас же стараются перехватить.

Но не без Божьей милости все дочери оказались пристроенными, кроме самой красивой — Александры.

Она еще в девчонках бегала, только что в куклы не играла, а от женихов уже отбою не было. Теперь Мария Ивановна втихомолку себя укоряла: надо было не копаться, передержала она Сашеньку. Да ведь наперед не угадаешь. И характер у дочери не в пример остальным детям — самостоятельный. Ею не покомандуешь.

Мария Ивановна вспоминала, как однажды летом в деревне поспорила с Сашей:

— Дойдешь ли до церкви? Ежели дойдешь, я сто рублей даю. — Говорит, а сама посмеивается. Ночь хоть июльская, а тьмущая. Облака понабежали, ни луны, ни звезд. А Саша тут же:

— Иду, право, иду!

— Полно врать!

— А вот и посмотрим! Даете ли деньги, маменька?

— Даю, пострелиха!

После Мария Ивановна сыновьям писала да соседям рассказывала, какую дочка историю учинила. До церкви дошла и даже камушек положила на платок, чтобы ветер не унес.

Мать, правда, чуть ли не вдогонку человека послала, да только Саша на ногу быстрая. Он туда, она уже обратно...

И вот, когда Саше пошел девятнадцатый год, появился в Москве молодец, с которого все московские маменьки глаз не сводили: вот это жених! Красавец, наследник громадного

состояния. И вправду молодой граф Николай Александрович Самойлов, как говорится, всем взял. Благодаря семейным связям он быстро продвигался по службе и в августе 1821 года, перед тем как появиться в Москве, был назначен флигель-адъютантом при государе. Водились за ним грешки: в карты поигрывает, в громких компаниях замечался, так ведь молодость!

Стали в московских гостиных замечать, что молодой граф глаз не сводит с Алины Римской-Корсаковой. И танцует с ней, и беседует, и в дом ездить начал: что ни вечер, то тут как тут. Каждый раз, уходя и прикладываясь к ручке милых дам, вздыхал — отпуск истекает, скоро возвращаться на службу.

Мария Ивановна покой потеряла. Алина то зардеется, как маков цвет, то сидит бледная, грустная. Видно, не выходит у молодых решительного объяснения.

Все-то ночки подряд Мария Ивановна с боку на бок ворочалась и вставала, глаз не сомкнув, — как быть? Наконец решилась.

Как-то после ужина, когда Алина вышла из комнаты, подступилась она к Самойлову:

— Граф, я вижу вы так грустны...

— Ехать не хочется...

Он стоял у камина. Отблески огня играли на молодом лице. Самойлов, тихий и задумчивый, был так непередаваемо хорош, что Мария Ивановна невольно залюбовалась им. Она часто ловила себя на мысли, что порой совсем не по-матерински относится к ухажерам своих дочерей. Правда, ей уже на пятый десяток пошло, но женских радостей выпало, если вспомнить, с гулькин нос. С мужем они были далеки друг от друга.

— Я, дорогая Мария Ивановна, в вашем доме столько ласки увидел... Меня рано на казенный кошт отдали. Своего-то дома и не знал... Маменька у меня строга. Все говорила, что не мужское дело по теплым углам сидеть. Оно верно. Только к семейному очагу каждого человека тянет.

— Семейный очаг? Так за чем дело стало? Послушайте, граф... Я хочу говорить с вами без всяких извивов. Ваше ухаживание за моей дочерью и доверие, которое вы сумели мне внушить, дает мне это право.

Мария Ивановна увидела, как фигура Самойлова напряглась. Он словно и ожидал, и боялся того, что услышит дальше. Она продолжала:

— Я хотела бы знать, чем это кончится... Я понимаю так, что вы человек с правилами, честный человек. Какие же ваши намерения насчет моей дочери? Любовницей вашей она быть не может... Мезальянса между вами и ней ни на волос нет.

Самойлов заговорил взволнованно:

— Нет, нет, конечно, нет! Я за счастье почел бы связать судьбу свою с Александрой Александровной. Сейчас же бы! Но вы знаете, что у меня есть мать. Я не волен вполне. Мне надо к ней писать.

Лицо Марии Ивановны сделалось строго:

— Граф, вы должны были раньше думать о том, что делали, а не вносить несчастие в семью. К матери писать... Похвально! Вы добрый сын. Только и мои чувства поймите. Я вам божусь, что все это время покою не знала. Мне смерть грустно такой неприятный разговор иметь. Я доказала, что не интересантка. Трех дочерей выдала, богатства не искала, лишь бы они были совершенно счастливы.

— Верьте мне, я честный человек. Я напишу матери. Я постараюсь ее уговорить. Ваша дочь... Сердце мое отдано ей и никому больше принадлежать не может. Ей, только ей, верьте! Неужели вы полагаете, что у моей матери нет никаких чувств? Что она станет противиться моему счастью?

Мария Ивановна вздохнула: «Ах, милый мальчик! Что ты и впрямь влюблен в Сашеньку, это не диво. И писать будешь матушке — верю. Слезно умолять не губить молодое счастье. Да достанет ли характеру? Госпожа Самойлова, видно, зарок себе дала женить сына на одной из Скавронских. Богатства, говорят, дают за ней горищу... Да в богатстве ли счастье! Я вот всю жизнь рублей не считала, одних крепостных, почитай, тысячи три будет, а иной раз подумаешь — как и не жила вовсе...»

* * *

У графини Самойловой брови резко вскинулись:

— Что-о-о! Кого это вы любить изволите без материнского-то соизволения? Какая невеста? Римская-Корсакова? Не слыхала о такой. Вы, мой друг, не путаете ли чего, часом? Так я напомню, как зовут вашу невесту. Юлия ее зовут. Юлия! Из Скавронских. И попрошу вас не называть здесь неизвестных и неугодных мне имен.

...В Москву к Римским-Корсаковым перестали приходить письма. И хоть граф Самойлов не скоро сдался, Мария Ивановна понимала, что случилось, — материнская воля переломила сыновью. Ослушаться же, видно, молодой орел, не решился: тут недолго и без наследства остаться.

Чтобы Сашенька не ждала да не мучилась, мать ей и сказала, что, мол, есть у графа твоего невеста.

И вот уж бедная Мария Ивановна ночи напролет просиживает у постели дочери, свалившейся в жесточайшей горячке...

А в Петербурге в конце концов объявили о помолвке

фрейлины ее императорского величества графини Юлии фон дер Пален и флигель-адъютанта графа Николая Самойлова.

За Юлией давали миллионное приданое. В срочном порядке заново переделывался роскошный дворец, предназначенный для молодых. Сама императорская семья приняла участие в готовящемся бракосочетании. Свадебный бал решено было устроить в императорской резиденции, в Павловске. К венцу жениха и невесту благословили император Александр I и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Свадебные торжества, на которые собралась вся знать, прошли с размахом.

Можно ли было предполагать, что супружеский ковчег ослепительно красивой пары даст крен, едва отчалив от берега? Наверное, можно. Если знать, что жениха слишком настойчиво подталкивала к алтарю материнская воля. Если вспомнить, что невеста происходила из рода Скавронских, где все женщины, как на подбор, отличались неземной внешностью, но из которых упорно не получались хорошие жены.

* * *

Род Скавронских вклинился в русскую историю с того самого момента, когда Петру Великому приглянулась бойкая, хорошенькая служанка пастора Глюка, которая из незаконных жен перебралась в законные и в конце концов стала государыней Екатериной I.

Говорят, она стеснялась своих худородных родственников, но ее демократичный супруг-монарх вытащил их в Петербург, дав графский титул.

В свой срок сын графа Карла Скавронского и, стало быть, племянник государыни Екатерины I, Мартын Карлович, женился на родовитой и архибогатой Марии Николаевне Строгановой. Одних крепостных душ она принесла Мартыну Карловичу сорок тысяч. Немереные строгановские угодья в Сибири и на Урале год от года увеличивали материальное благоденствие удачно женившегося графа Скавронского.

Он оставил о себе воспоминания как человек вовсе не алчный, чуждый накопительства, интриг и вообще жизненной суеты. Мартын Карлович заботился о крепостных и старался облегчить их долю.

В завещании, составленном перед смертью, он писал: «...что касается до людей и крестьян, главное мое было попечение содержать их добропорядочно и не отягощать непомерною службою и поборами».

У супругов Скавронских был один сын Павел, родившийся в 1757 году.

В 1776 году графиня Скавронская овдовела и с

девятнадцатилетним сыном перебралась в Италию, которую страстно любила. Здесь она жила почти безвыездно, не имея сил расстаться с лучезарным краем, где во всем и всюду царствовала гармония.

Эта непобедимая страсть к итальянским красотам передалась и сыну Павлу Мартыновичу. Правда, всем видам искусства он предпочитал музыку. Почитая себя великим меломаном и композитором, этот Скавронский прославился более как великий чудак. Современники писали, что он «сочинял какую-то ералаш, давал концерты». В его доме полагалось говорить только речитативом. Слуги и лакеи подбирались голосистые и со слухом. Один приятным тенором докладывал их сиятельству, что карета готова. Метрдотель по нотам, написанным графом, хорошим баритоном оповещал, что стол накрыт. Кучер же имел, как ему и полагалось, бас. Сам Скавронский отдавал приказания в музыкальной форме. Гости, приходившие в дом, забавы ради тоже пускались в вокальные импровизации.

Осенью 1781 года странный граф женился на Екатерине Васильевне Энгельгардт. Она доводилась племянницею знаменитому екатерининскому фавориту, богатейшему вельможе Григорию Александровичу Потемкину.

Тот никогда не забывал свою родню. И вот дочери старшей сестры «светлейшего» Марфы Александровны прямо из деревни привезены ко двору императрицы. В это время Екатерине Васильевне шел только одиннадцатый год. Она была робка, напуганна, неловка, но пять последующих лет в Петербурге ее приободрили: дядюшка уверил, что она хороша, как Психея, и если окажется послушной, то никогда об этом не пожалеет.

Это были отнюдь не отеческие внушения мудрого родственника. Дело в том, что все пятеро сестер Энгельгардт — Екатерина была старшею, — по впечатлениям современника, были «лица бесподобного, и во всех дядюшка изволил влюбляться. Влюбляться на языке Потемкина значило наслаждаться плотью: любовные его интриги оплачивались от казны милостью, отличиями и разными наградами, кои потом обольщали богатых женихов и доставляли каждой племяннице, сошедшей с ложа сатрапа, прочную фортуну на всю жизнь».

Трудно поверить, что Павел Мартынович, как и прочие женихи девиц Энгельгардт, клюнул на богатое приданое. Он сам был единственным наследником огромного состояния и, похоже, не знал ему счету. В частности, когда Екатерина Васильевна согласилась выйти за него, он на радостях подарил человеку, хлопотавшему по этому делу, три тысячи крепостных душ.

Вероятно, меломан и обожатель всего прекрасного пал

жертвой необыкновенной привлекательности Екатерины Васильевны. Она обладала той счастливой внешностью, которая сама по себе способна отвергнуть любую мысль об отсутствии добродетели. Ангелы не умеют грешить, а Екатерину же Васильевну влюбленный в нее князь П.Д.Цицианов называл «ангелом во плоти». Многоопытный Сегюр уверял, что «ее головка — это головка амура», а Державин, плененный небесным ликом Екатерины Васильевны, говорил, что она «магнит очей» и «заря без туч».

Екатерина Васильевна Скавронская

Невозможно назвать эпоху, когда мужчины не попадали бы в капкан подобных «ангелов во плоти» и «магнитов очей». Почему бы и Павлу Мартыновичу не оказаться там же? Он пошел дальше воздыхателей юной красотки. Он женился. Женился, хотя, конечно, не мог не слышать, каковы были истинные отношения дядюшки с Катей.

Эти отношения постоянно оставались предметом обсуждения и пересудов. Предположения строились самые смелые. Французский дипломат М.Д.Корберон в своем дневнике от 24 сентября 1780 года незадолго до шумной свадьбы Павла Мартыновича записал: «...маленькая Екатерина Энгельгардт, теперешняя фаворитка Потемкина, как думают, беременна». Дело, видимо, обошлось, и светские всезнайки не без ехидства отметили, что «дядюшка благословил счастливый брак».

...Свадьбу обставили с необычайной пышностью. Тон

задавала императрица — она сама убрала невесту к венцу. Катенька сгибалась под тяжестью фантастической цены украшений. Жених приехал венчаться в карете, украшенной стразами. Участвовать в великолепном действе были приглашены самые близкие к трону люди.

После венчания начался грандиозный бал в Аничковом дворце. Люстры сияли, скрипки пели, хор славил молодых, а шестнадцатилетняя Катя выглядела кислой. К тому, с кем только что обвенчалась, она не проявляла ни малейшего интереса. Все пришли к выводу, что дочь подполковника Энгельгардта стала графиней Скавронской, исключительно не желая огорчать дядюшку.

Связь между ними не прекратилась. Однажды, одеваясь перед зеркалом в покоях Потемкина, Катя приколола к корсажу портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Лежавший на постели дядюшка что-то писал на листе бумаги. Закончив письмо, он сказал:

— Ступай к императрице, а портрета не снимай.

Катя заупрямилась, но в конце концов послушалась и скоро вернулась с ответом. Императрица писала, что выполняет желание Григория Александровича и жалует его племянницу статс-дамою.

Это звание давалось чрезвычайно редко, а для такой молоденькой женщины, как графиня Скавронская, вообще было недосягаемым. В Зимнем дворце с тайной завистью смотрели на счастливицу. Однако новая статс-дама Скавронская без восторга приняла царскую милость. Это отличало вообще женщин их рода — они оставались равнодушны к наградам, званиям и титулам.

Екатерина Васильевна очень не любила дворцовые церемонии. Всякая мысль о том, что надо одеваться, причесываться, увешиваться драгоценностями, пугала ее. «Для чего это? Зачем?» — плаксиво тянула она из-под своего одеяла, сшитого из собольих шкурок. Под ним, укутанная с головы до ног, она проводила день за днем, ничего более не желая.

Когда Павла Мартыновича назначили посланником в Италию, он умолял супругу следовать с ним вместе. Та упорно отказывалась. Казалось, никакие силы не смогут выманить Катеньку из-под заветного собольего укрытия, а тем паче оторвать от дядюшки, который продолжал осыпать ее благодеяниями.

Напрасно грустный граф из своего неаполитанского далека писал прекрасной ленивице длинные, полные истинной тоски письма. Муж напоминал Екатерине Васильевне о ее супружеском долге, жаловался, что каждый день жизни без милой жены дается

ему с трудом и даже музыка не веселит, — это была правда. Он писал, что чувствует себя неважно, здешний климат, если жена не приедет, вряд ли поможет ему — врачи подозревали чахотку, — и это тоже была правда.

Екатерина Васильевна не трогалась с места... Пересуды в обществе относительно странной жизни молодых супругов Скавронских ее не волновали. Вероятно, Павлу Мартыновичу пришлось бы смириться с участью соломенного вдовца. Но к его счастью, Россия вступила в военные действия. Потемкину пришлось, оставив Петербург, заняться сражениями и осадами.

Волей-неволей Екатерина Васильевна отправилась к мужу. Местное общество и газеты подготовили супруге посланника теплый прием, что, впрочем, вовсе не растрогало путешественницу. Наслышанная о ее красоте местная знать устраивала в честь Скавронской балы, но всякий раз муж чуть ли не на коленях умолял жену появиться там ради приличия, хотя бы на часок.

Екатерина Васильевна томно прикрывала бесподобные голубые глаза и стояла на своем. Всему на свете она предпочитала общество няни, привезенной ею из России. Единственная обязанность этой подруги неаполитанской затворницы состояла в том, чтоб рассказывать графине сказки. Старушка отнюдь не была Шахерезадой и по десять раз повторяла одно и то же, что, впрочем, вовсе не побуждало Екатерину Васильевну искать иных развлечений.

В апартаментах российской посланницы стояли нераспакованные тюки и ящики с наимоднейшими туалетами, выписанными для нее свекровью из Парижа. Это были восхитительные вещи, настоящие шедевры портновского искусства, вышедшие из мастерской мадемуазель Вертен, знаменитой модистки, одевавшей первую щеголиху в Европе, королеву Марию-Антуанетту.

Но Екатерина Васильевна чувствовала непобедимое отвращение к нарядам. Она — невероятное дело по тем временам! — не носила корсета.

Между тем о ее чарующей красоте говорили не только понимавшие в этом толк мужчины, но и женщины, которые, как известно, менее склонны баловать подруг лишними комплиментами.

Баронесса Оберкирх в своих «Записках» делилась впечатлениями о молодой графине: «Скавронская идеально хороша; ни одна женщина не может быть прекраснее ее».

Художница Виже-Лебрен, писавшая, кажется, всех красавиц Европы, находила Екатерину Васильевну не только «прелестной,

как ангел», но и чрезвычайно доброй и простодушной, что очень шло нежной, словно акварельными красками исполненной внешности.

Мадам Виже-Лебрен вспоминала, как однажды графиня вздумала показать ей свои драгоценности. Личная художница французской королевы Марии-Антуанетты, надо думать, кое-что повидала на своем веку. Но тут от изумления она не нашла слов, когда Екатерина Васильевна открыла одну за другой свои шкатулки и стала показывать ей бриллианты необыкновенной величины и самой чистой воды.

«Это подарки дядюшки», — говорила Скавронская. Однако ничего из этих сокровищ на графине не видели. Она, пожалуй, играла с ними, как малое дитя, радуясь их блеску, и тут же укладывала обратно.

...Отношение к драгоценностям было сродни отношению к супругу: он Екатерину Васильевну совершенно не интересовал. Более того, чем сильнее Скавронский старался завоевать хотя бы малейшее расположение жены, тем большим холодом она его обдавала.

Словно нехотя, для того, чтобы выполнить досадные обязанности и забыть о том навсегда, Екатерина Васильевна родила двух девочек. Одну назвали Екатериной, другую Марией. Крошки Скавронские подрастали и, научившись лепетать, действительно напоминали двух жаворонков («skavronek» по-польски жаворонок).

На портретах с дочерьми Екатерина Васильевна выглядит нежной попечительной матерью. Должно быть, эти сеансы несколько разнообразили ее добровольное заточение. Иногда развлекал графиню беседами капитан военного корабля, который то и дело заглядывал на огонек к Скавронским в их уютное палаццо...

Да-с, самое время на безлюдном горизонте словно дремлющей женщины показаться хоть кому-то: кузену, скажем, другу детства, бедному, красивому офицеру, блестящему дипломату-острослову, модной знаменитости, наконец. Иначе как же сдвинуться с места нашему сюжету?

...С некоторых пор экипаж корвета «Пилигрим» перестал узнавать своего командира. Обычно он, настоящий морской волк, шутил, что на суше его укачивает, и случалось, что «Пилигрим» подымал паруса даже тогда, когда иные корабли предпочитали отстояться в безопасной неаполитанской бухте.

Теперь же капитан корвета пропадал на суше. Команда удивлялась: дует благоприятный ветер, по всему им должно бороздить морскую зыбь, а они стоят на якоре. Эти странности

рассекретились очень быстро — овеянный ветрами морской волк пропадал в палаццо российского посланника. Знатные гости, навещавшие Скавронских, тоже то и дело натыкались на богатырскую фигуру бравого капитана. Многие думали, что тут ведутся переговоры по поводу приобретения Россией стоянки для военных кораблей на Средиземном море. Возможно, так оно и было, но лишь отчасти. Главная же причина того, что капитан военного корвета бросил якорь в доме посланника, заключалась в его жене.

* * *

Джулио Ренато Литта принадлежал к старинной итальянской аристократии. Его родословная брала начало от средневековых правителей Милана Висконти.

С четырнадцати лет он был записан в рыцари Мальтийского ордена. В девятнадцать начал службу и зарекомендовал себя человеком храбрым и опытным в морском деле. В 1789 году по дипломатическим делам Мальтийского ордена и России граф Литта побывал в Петербурге. Город, детище дерзкой воли Петра, произвел на него самое приятное впечатление. «Нельзя не поразиться при виде этой столицы, которая была основана только в начале нашего века, ее невероятно быстрому росту и расцвету. Здесь есть театры, в которых даются представления на русском, немецком, французском и итальянском языках, устраиваются балы, имеются клубы для любителей музыки, танцев, бесед, игр, не говоря уже о полной роскоши частной жизни». Если бы мальтийский рыцарь именно тогда встретил в Петербурге Екатерину Васильевну, он выразился бы более кратко: «Это самый прекрасный город на свете».

...Двадцативосьмилетний граф, однако, умел себя держать в руках: посещая Скавронских и развлекая прекрасную отшельницу разговорами, он ни единым словом не выдал своих истинных чувств. Капитан олицетворял саму сдержанность и благоразумие.

Сама Екатерина Васильевна тоже вела себя как добродетельная супруга. Единственное, что граф мог себе позволить, — это видеть предмет обожания.

Для Скавронской капитан был сродни нянюшке. Его рассказы о дальних странствиях, приключениях, забавных и драматических случаях напоминали прекрасной слушательнице сказки. Иногда, правда, Екатерина Васильевна расспрашивала капитана о нем самом.

— Почему, любезный синьор Литта, вы не женитесь?

— Я, как рыцарь Мальтийского ордена, дал обет безбрачия.

— О, Боже! А если вы встретите красивую девушку, которая покорит ваше сердце... Что вы будете делать? Ведь муки любви

беспощадны.

— Прежде чем дать клятву, я долго проверял себя.

— И убедились, что женщины для вас не существуют? Ну, что же вы молчите?

— Позвольте мне не говорить об этом.

— Так о чем же говорить? О мальтийских рыцарях? О том, что наша государыня Екатерина не любит вас, католиков? О! Я ничего не понимаю в этом. Политика совсем не мое дело. Как жаль, что вы уходите от разговора, который интересен каждой женщине.

— Я ухожу на своем корвете и из Неаполя. Увы, синьора! Время моего счастья посещать ваш чудесный дом истекло. Бог знает, когда мы увидимся снова.

Граф Литта внимательно смотрел на безмятежное личико красавицы. Нет, в нем ничего не изменилось. И голос звучал равнодушно:

— И куда же вы уплываете, граф?

— К берегам Африки. Это далеко, синьора.

Литта безнадежно вздохнул. Ничем он не задел ее сердца. Она забудет его прежде, чем за ним закроется тяжелая дверь палаццо.

* * *

Граф Литта действительно надолго исчез из жизни ленивой красавицы. За это время чахотка довела Скавронского до могилы. Там же, в Неаполе, он и умер в 1793 году. Екатерина Васильевна через некоторое время вернулась в Россию. В 1796 году скончалась тезка Екатерины Васильевны, императрица Екатерина II. Перед смертью она успела обласкать «неаполитанскую вдову», и та, обычно бесстрастная, заливалась слезами о своей доброй государыне.

Но никогда не знаешь, каким боком повернется в твоей судьбе то или иное событие на государственной сцене. На место скончавшейся матушки заступил ее сын Павел I. Он как нельзя лучше относился к Мальтийскому ордену, весьма существенно поправил его финансовые дела, и в конце концов в Петербурге в чине посла появился постоянный представитель ордена. Им оказался граф Литта.

Церемониальный въезд господина посла в столицу был пышно обставлен. Поезд его состоял из тридцати шести обычных и четырех придворных карет. В одной из них рядом с сенатором князем Николаем Борисовичем Юсуповым сидел бывший капитан корвета, которого в России сейчас же прозвали Юлием Помпеевичем.

Пробил час торжества для поклонника прелестной

Скавронской. Пробил час и для нее самой. Тридцатисемилетняя вдова безумно влюбилась в красавца графа.

...Юлий Помпеевич сразу же стал заметной фигурой в Петербурге. Колоссального роста и богатырского сложения, он имел приятное, выразительное лицо. К героической внешности природа прибавила голос, гремевший в петербургских дворцах, как «труба архангела при втором пришествии». Дамы были от него без ума, что еще больше распаляло страсть Екатерины Васильевны. К счастью для нее, Юлий Помпеевич не забыл вечеров в неаполитанском палаццо. Тридцатипятилетний рыцарь считал, что теперь ничто не мешает ему соединить свою судьбу с прелестной вдовой. Он обратился к Папе с просьбой снять с него обет безбрачия. Положительный ответ из Ватикана окрылил влюбленных, и осенью 1798 года Екатерина Васильевна обвенчалась со своим графом, принявшим российское подданство. Старик Державин пропел новобрачным прочувствованный гимн:

Диана с голубого трона,
В полукрасе своих лучей,
В объятия Эндимиона
Как сходит скромною стезей,
В хитон воздушный облеченна, —
Чело вокруг в звездах горит, —
В безмолвной тишине вселенна,
На лунный блеск ее глядит...

Как однажды было замечено: «Повторная свадьба — это триумф надежды над опытом». Хотя вокруг и поговаривали, что из этого союза ничего хорошего не получится, надежды Екатерины Васильевны на полнокровное супружеское счастье начинали сбываться.

Казалось, чем можно удивить обладательницу шкатулок, полных дядюшкиных бриллиантов? Но Юлий Помпеевич показал себя знатоком женской психологии. Презенты жене как знак любви им делались по поводу и без повода к зависти петербургских дам. На один из новогодних праздников Екатерина Васильевна получила знаменитые драгоценности, принадлежавшие некогда Марии-Антуанетте. Они имели астрономическую стоимость, и граф Литта не без гордости заявлял: «Только я во всей империи могу производить подобные расходы, платить наличными, и только я во всей империи могу похвастаться тем, что никому не должен ни одного гроша».

Стоит отметить, что желание порадовать супругу сюрпризами

такого рода с годами, как это часто случается, не убывало.

Осенью 1823 года супруги Литта отмечали серебряную свадьбу. Екатерина Васильевна, которой пошел уже седьмой десяток, могла в очередной раз подразнить великосветских подруг поистине царским подарком, полученным от мужа. К.Я.Булгаков, сообщая брату столичные новости, писал по этому поводу: «Третьего дня было 25 лет женитьбы графа Литты. Он подарил жене диадем жемчужный со всеми принадлежностями ценою в 280 тысяч. Что всего замечательнее — это то, что чистыми деньгами тотчас за него заплатил. Ужасно как богат!»

Однако вернемся к началу второго супружества Екатерины Васильевны. Как всякой матери, ей было, конечно, приятно, что муж относится к ее двум дочерям с истинно отцовской нежностью.

Благополучие в семействе не нарушила и временная опала, отторжение графа от государственных дел. Супруги уехали в деревню, и вот тут-то Екатерина Васильевна могла убедиться, какое сокровище ей попалось в руки.

Хотя она и была сказочно богата, но ее огромные владения, никогда не знавшие хозяйского глаза, постепенно захирели. И вот энергия нового мужа забила фонтаном. Бывший мореход и дипломат почувствовал вкус к иным занятиям. Он начал разводить породистый скот и лошадей, организовывал мануфактуры, строил винокуренные заводы. Все плодилось, произрастало и давало прибыль. В короткий срок граф утроил семейные доходы. Он не без гордости писал на родину: «У моей жены много владений в России, в Малороссии и в разных польских губерниях. Границы только одного имения — того, в котором мы сейчас находимся, — протянулись на триста шестьдесят тысяч верст. Оно занято бескрайними рощами строевого леса и плодородными пашнями... На каждый акр пашни приходится от шести до восьми голов крупного рогатого скота. Это вам дает представление о размерах наших владений».

Однако вовсе не процветание «наших владений» заставило измениться жену графа Литты настолько, что прежние поклонники меланхолической нелюдимки ее не узнавали. Вот что делает любовь, даже несколько запоздалая, — Екатерина Васильевна обернулась обворожительной светской женщиной. Она напрочь отказалась от прежних чудачеств и в свои почти сорок выглядела ровесницей дочерей.

Те уродились в мать, прелестные, с кошачьей грацией, природной способностью очаровывать и с большой склонностью извлекать из жизни все возможные удовольствия. Женихи кружили вокруг богатых наследниц, как пчелы вокруг улья с

медом. Но надо же было такому случиться: и Екатерина, и Мария влюбились в одного и того же человека. Это был Павел Пален, сын известного своей причастностью к убийству императора Павла I графа Петра Алексеевича Палена.

Немудреная арифметика — две невесты и один жених — внесла в жизнь благоденствующего семейства Скавронских-Литта некоторую нервозность. Наследницы не на шутку скрестили шпаги. Лихой кавалерийский генерал сам разрешил их спор. Он похитил младшую из сестер, Марию Павловну, и обвенчался с ней. Если такой романтический всплеск судьбы вполне пришелся красавице по вкусу, то кочевая жизнь в роли жены командира кавалерийской части вовсе не входила в ее планы. Походные будни, суровый быт — этого было достаточно, чтобы любовь прелестной Марии Павловны развеялась, как утренний туман под лучами ясного солнышка. Только ожидание ребенка заставляло ее до поры смириться с необходимостью засыпать и просыпаться под звук полковой трубы. Ах, не такое снилось красавице!

В простой деревенской избе графиня Пален разрешилась от бремени девочкой. Ей дали имя Юлия.

Вслед за рождением дочери последовал развод. Мария Павловна сгорала от нетерпения снова попытать счастья в любви. Маленькая дочка как-то сама собой оказалась в доме бабушки Катерины и дедушки Юлия. Родители маленькой графини фон Пален, разумеется, устроили свои семейные дела. Мария Павловна вышла замуж за графа Ожаровского, ее бывший муж тоже женился.

Надежды Екатерины Васильевны Скавронской-Литта на то, что внучка Юлия обретет счастье с Самойловым и даст их роду продолжение, оказались напрасными. Юлию будут называть «последней из рода Скавронских». Августейший историк великий князь Николай Михайлович скажет, что она была «красива, умна, прелестна, обворожительно любезна», а барон Корф добавит, что «графиня Самойлова пользовалась большой и не совсем лестной репутацией».

Юлия Павловна повторила печальный опыт своей матери Марии Скавронской, прожив с мужем лишь один год. Причиной разлада называют близость графини с Барантом-сыном. Говорили и о ее романе с управляющим их имениями Мишковским. Те, кто был в курсе скандалов, следовавших один за другим, свидетельствовали, что Юлия Павловна «на коленях умоляла мужа простить ее, но все было тщетно, и супруги разошлись».

Эти новости не могли не долететь до Москвы. Трудно сказать, испытала ли Сашенька Римская-Корсакова что-то похожее на удовлетворение. Ее личная жизнь все еще не складывалась. Но,

право, если бы двум молодым женщинам каким-то чудесным образом приоткрылось их будущее, и та, и другая пришли бы к выводу, что, как бы там ни было, обижаться на судьбу им все-таки не стоит. Они обе, родившиеся в 1803 году, стоят вплотную к той полосе своей жизни, которая сделает их историческими личностями. Обеим повезет в том, что их красота вдохновит двух русских гениев. Гения слова — Пушкина. Гения кисти — Брюллова...

* * *

«Нервическая горячка» от несчастной любви в девятнадцатом веке — дело обыкновенное. Однако если она сразу не вгоняла жертву Амура в гроб, то человек, выхлестнув в горячечном бреду все муки души, поднимался здоровехонек.

С Сашенькой Римской-Корсаковой так и случилось. И, право, стоило подняться! Александр Сергеевич Пушкин словно только и поджидал ее нового расцвета после несчастной истории с Самойловым. Часто встречаясь с Алиною в их родовом гнезде на Страстном бульваре да и в московских сборищах, где она была «душою и прелестью», поэт не замедлил подпасть под обаяние ее красоты.

Как утверждал П.А.Вяземский, Александр Сергеевич воспел несостоявшуюся невесту графа Самойлова в седьмой главе «Евгения Онегина»:

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

«Важно отметить, — пишет знаток истории и культуры пушкинского времени М.О.Гершензон, — что эта глава «Онегина», 7-я, писана именно в годы знакомства Пушкина с Корсаковыми: 1827 и 1828». И добавляет: «В «Дон-Жуанском» списке Пушкина указаны две Александры, — возможно, что одна из них —

Александра Александровна Корсакова».

Интерес поэта к этой девушке подтверждается не раз. В письме к брату поэт шутливо просит того не влюбляться на Кавказе, куда поехали отдыхать Римские-Корсаковы, в красавицу Алину.

А там с девушкой случилось чрезвычайное происшествие, о котором много говорили в обеих столицах. «Слыхали ли вы о похищении г-жи Корсаковой каким-то черкесским князем? — спрашивает у Вяземского Екатерина Николаевна Мещерская, дочь Карамзина. — Если б это была правда, какой прекрасный сюжет для Пушкина как поэта и как поклонника».

Случившееся, как всегда, обрастало разноречивыми подробностями. Один москвич передавал в письме услышанное: «...магометанский какой-то князек с Каспийского моря покупал Корсакову дочь; а потом хотел увезти, потом сватался с тем, что она может сохранить свою веру...» Позже выяснилось: не «князек с Каспийского моря», а некто генерал Тарковский предлагал Марии Ивановне «300 т. задатку» за красавицу дочку.

Карамзина словно в воду глядела: Пушкин мимо кавказской истории не прошел. В сентябре 1831 года он начал писать повесть под условным названием «Роман на Кавказских водах».

По наброскам видно, что главным действующим лицом должен был стать декабрист Якубович. Сюжет замешивался на похищении Якубовичем Алины Корсаковой — так в первоначальных планах звалась пушкинская героиня.

Итак, судьба воздавала московской барышне за сердечные огорчения. Она сближала ее с Пушкиным. Сашенька то в стихах, то в прозе появляется на его листах. Более того, единственный портрет прелестной дочки Марии Ивановны, дошедший до нас, сделан рукою Александра Сергеевича. Черные локоны, крупные, скульптурные, выразительные черты лица. И это не все! Помимо рисунка, Пушкин оставил еще один портрет Римской-Корсаковой в прозе.

«В эту минуту девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами, тихо вошла в комнату...»

...Мария Ивановна отмахивалась от наседавших лет. Ей уже перевалило на седьмой десяток, но она не упускала возможности и самой повеселиться на московских сборищах, и на шумную молодежь порадоваться. Была в ее заботе всюду и везде поспеть материнская корысть: выискать для Саши жениха. И что вы думаете! Все-таки «изловила», как ехидничали московские барыни.

На двадцать девятом году Римская-Корсакова вышла замуж за

князя Александра Вяземского. Свадьба, по мнению очевидцев, прошла «людно и парадно».

Молодые обосновались в особняке на Пречистенке, часто наезжая в дом на Страстном бульваре, где жизнь, хоть хозяева теперь отнюдь не богатели, все текла по заветам Марии Ивановны. После ее смерти в 1833 году младший сын «чрезвычайно милой представительницы Москвы» ввел в моду и широко устраивал на Страстном костюмированные балы...

* * *

Юлия Павловна Самойлова

Жизнь Юлии Самойловой, расставшейся с мужем, походила на бал: нарядный, оживленный, с бесконечной сменой лиц, костюмов и дворцов, где она царила. Чтобы там ни было, она избегала предаваться грусти, и каждый, кто оказывался с ней рядом, ощущал себя на празднике жизни.

Что более искусства может украсить нам дни? Тех, кто его творил: музыкантов, литераторов, художников, — Юлия Павловна обожала. Ее страсть к людям искусства, стремление быть в их компании шли вразрез со строгими правилами аристократизма. Самойлова ими легко пренебрегала, и в ее роскошное имение Славянка под Петербургом съезжалось шумное и весьма разномастное общество.

Титулованная знать, сановники, дипломаты, привычная толпа поклонников прекрасной Юлии всех рангов и мастей, художественная братия — знаменитая и еще безвестная, актрисы, великосветские дамы — обворожительная любезность графини объединяла всех без различия и делала Славянку заветным

местом, куда хотелось вернуться еще и еще раз.

...Популярность, которую завоевала Самойлова в Петербурге, не нравилась императору Николаю I. И то, что в Аничковом дворце скучают и рвутся в Славянку, в общество смелой Самойловой, ему тоже не нравилось. Графиня не очень-то беспокоится о своей репутации. Ей приписывают бурные любовные истории. Он и сам не монах, но все должно быть пристойно и не подавать повода для разговоров.

Однажды на балу они встретились. Император попробовал очень осторожно сделать графине нарекание:

— Что за шум стоит на Славянке, графиня? Наверное, вам там не покойно? Так обоснуйтесь где-нибудь в другом месте. У вас столько имений, дражайшая Юлия Павловна...

Император был «роста чрезвычайного» и втайне гордился этим: дистанция между ним и тем, с кем он говорил, подчеркивалась как бы самой природой. И то, что сейчас темные глаза Самойловой оказались совсем близко, как-то неприятно укололо. «Высока и очень красива», — мелькнуло в мозгу. Император сказал ей об этом, сделав над собой усилие и улыбнувшись.

— Что удивительного, государь? Ведь мы с вами родственники. Скавронские всегда отличались ростом...

Это прозвучало дерзостью. Но следом император услышал еще более возмутительное:

— А шум?.. Ездят не в Славянку, ваше императорское величество, а к графине Самойловой. И где бы она ни была, будут продолжать к ней ездить.

Ах, Юлия Павловна! С императорами вообще не стоит портить отношений, Николай же Павлович Романов особенно запоминал малейшее непочтение.

...В 1829 году умерла бабушка Самойловой графиня Литта. Юлия Павловна всегда относилась с большим сердцем к тем, кого любила, и горько рыдала под сводами Александро-Невской лавры, где похоронили Екатерину Васильевну. Граф Литта был убит горем. Он писал в Италию родственникам, что эта потеря «разбила ему сердце».

Теперь единственной его привязанностью оставалась удочеренная им внучка покойной жены. Когда Юлия объявила ему, что не хочет более оставаться в Петербурге и думает обосноваться в Италии, граф Литта почувствовал себя совсем осиротевшим.

Он писал Юлии длинные письма, полные нежности и неподдельной тоски. Отвечая ему, графиня предлагала Юлию Помпеевичу оставить сырой Петербург, вернуться туда, где он

родился, и жить с нею вместе.

Ей, право, казалось, что для нее Италия — самая настоящая, истинная родина. Один взгляд в зеркало мог удостоверить ее в этом. Откуда у нее смоляные тяжелые волосы, глаза, словно впитавшие негу и страсть римской полночи, а главное, этот внутренний голос, звавший ее остаться здесь навсегда с того первого раза, когда она еще девочкой увидела землю Данте и Петрарки?

Все, все здесь было ей по сердцу. Жизнь не текла, как в Петербурге, а неслась, словно Юлия подгоняла ее хлыстом. И эта земля подарила ей любовь, постояннее которой не бывало в ее жизни, любовь, не знавшую ни жажды безраздельной власти, ни эгоизма, ни даже ревности, такую любовь, когда каждый из двух, разлученных расстояниями и превратностями жизни, мог повторить друг о друге пушкинское, печальное и светлое: «Есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я...»

* * *

Девица Демулен бросилась в воды Тибра от неразделенной любви. На следующий день почта принесла Карлу Брюллову прощальное письмо, где Анриенна упрекала его в равнодушии. Художник схватился за голову: бедная Анриенна, что она наделала! Он, так любящий женщин, он, который никогда не прекословил голосу своей жаждущей наслаждения плоти, наверное, даже женился бы на ней. Черт с ним совсем! Он пошел бы на что угодно, даже на то, чтобы пришпилить себя к одной-единственной юбке, лишь бы не этот труп в Тибре. Но поздно!

Брюллов почти бежал в дом русского посланника князя Гагарина, выбирая улицы побезлюднее. Ему казалось, что весь Рим показывает на него пальцем, а уличные торговки, смуглые и горластые, шлют ему вслед проклятья.

Князь, как мог, утешал Брюллова, уговаривал остаться на вечер, немного развлечься. Тот отказывался, поминутно прикладывая платок к глазам, но в конце концов согласился. Потом ругал себя: дамы, не зная о его несчастье, цеплялись к нему с веселыми разговорами. Карл, с лицом эллинского бога, с его талантом, невероятно привлекал их. Сегодняшняя хмурость казалась такой романтической. «Отчего это, милый маэстро?»

Брюллов уже хотел уйти, как гул от разговоров в огромной гостиной на мгновенье затих: кто-то вошел в отворенную дверь. Послышались возгласы, голоса стали оживленнее. Забившийся в угол Карл старался рассмотреть, в чем дело, и вдруг услышал от соседа насмешливое: «Берегитесь, мой друг! Это Самойлова».

Высокая, цветущая, с копной темных волос, и под кружевом зонтика сумевшая позолотить кожу здешним солнцем, Юлия

походила на ожившую богиню, которой прискучило стоять на мраморном пьедестале. Вот она спрыгнула, и веретено жизни закрутилось как сумасшедшее.

«Да, богиня...» — Брюллов смотрел еще издалека, но кровь уже стучала в висках. Глухо долетал голос, рокотавший в ухо:

— ...нашли в луже крови. Неужели не слыхали? Бедный Эммануил Сен При... корнет не перенес ее холодности. Что делать? Зато другие были счастливее! Муж, говорят, выгнал ее, отхлестав хлыстом, как молодую кобылицу. Вы слышите меня, Брюллов? Идемте, я представлю вас.

А часом позже Юлии уже нашептывали о замашках Брюллова, что довели молодую красотку до могилы. Услышанное отнюдь не привело ее в ужас. Жаль, конечно, бедную Анриенну! Но любить человека, дважды отмеченного Богом — красотой и талантом, — не по силам простушке.

Очень скоро Юлия смогла убедиться, что молва не так уж и не права: у Брюллова действительно безалаберный, тяжелый характер, он вспыльчив, порой, как говорили, «несносен и невыносим». Наверное, она осознавала, что Карл будет самый непокладистый, несветский, нелюбезный из ее любовников.

Надо быть смелой женщиной, чтобы без опаски, не раздумывая, сблизиться с этим человеком, не зная, чем обернется подобная прихоть. «Это был космос, в котором враждебные начала были перемешаны и то извергались вулканом страстей, то лились сладостным блеском, — писал один из современников художника. — Он весь был страсть, он ничего не делал спокойно, как делают обыкновенные люди. Когда в нем кипели страсти, взрыв их был ужасен, и кто стоял ближе, тому и доставалось больше».

Летом 1827 года Брюллов не случайно оказался в Неаполе и не случайно хотел «провести сие жаркое время с большой пользой в вояже, среди развалин Помпеи и Геркуланума». Туда ехала Самойлова, и это сейчас решало все.

Есть женщины, которые врываются в мужскую судьбу, словно бедствие, круша, сжигая и затопляя. Юлия Самойлова, слишком яркая для спокойного счастья, словно большая красивая птица, не знающая гнезда, казалось, была из той же породы. Но вопреки всему, с Брюлловым вышло наоборот. Появлялась Юлия — появлялись удача, умиротворение, куда-то расползались облака, и наступала ясная погода.

Неаполитанская прогулка превратилась в путь к вершине творчества. Совершенно случайно художника и его спутницу встретил богач-меценат Анатоль Демидов и заказал тому в будущем знаменитую «Помпею».

...Они шли с Юлией по улице погибшего города, как дети по стране сказок, взявшись за руки. На графине было белое платье с красной шалью на плечах. Легкая ткань постоянно сползала, вытягивалась багровым следом. Карл подхватывал ее и возвращал на плечи Юлии.

— Ты не боишься? Везувий, говорят, только вчера перед самым нашим приездом перестал куриться.

— А что, это дурной признак?

— Еще бы! Если бы жители Помпеи вовремя обратили на это внимание, многие остались бы живы...

— Да? Почему же ты мне об этом не сказал раньше? Ты чувствуешь, как дрожит земля?

Лицо Юлии исказил ужас. Глаза расширились. С полуоткрытых губ готов был сорваться вопль. Она побледнела.

— Что ты наделал, несчастный! Ты погубил нас!

— Да нет же, Юлия, все спокойно. Откуда ты взяла, что дрожит земля?

— Дрожит!! Все! Все! Нам конец!

Юлия вдруг согнулась, прикрывая голову кружевным зонтиком. Карл отбросил его, чтобы подхватить теряющую сознание спутницу.

В следующий миг увидел: она хохотала, запрокинув голову, — от души, до слез, такая довольная своей проделкой. И голубое небо высветлило ее темные глаза. И кружевной зонтик валялся в помпейской пыли. А Карл все держал Юлию в объятиях. Вдруг, притихнув, она сказала:

— Ну что, маэстро? Вы испугались?

— Я ничего не боюсь, синьора. Но вы, как видно, прекрасная актриса. Так погодите же!

Брюллов отпустил ее, нагнулся к колодцу, оставшемуся еще с тех времен и по-прежнему полному воды, подхватил пригоршню. Капли взметнулись вверх, блеснув на солнце. Они упали на разгоряченное лицо Юлии, открытую шею, платье.

— Спасибо, Бришка, за этот дождь. — И вдруг загрустила: — Полно дурачиться. Здесь люди так страдали... Расскажи мне, как все было?

Брюллов не обижался на это придуманное ею — Бришка. Карл Павлович — нелепо. Карл — холодно. То, что соединяло их теперь, допускало все, что ей вздумается.

— Ах, Юлия, здесь был маленький, но уютный город. Нечто вроде курорта для патрициев. Мраморные виллы, театры, даже водопровод. Обычная жизнь. В старых хрониках остался случай: сын важного господина развлекался тем, что подбрасывал грушу и ловил ее ртом. И вдруг она так глубоко вошла ему в горло, что

мальчик задохнулся.

— Ужасно! Что за город, право, одни несчастья.

— Да нет же, Юлия. В Помпеях жили веселее нашего. Тут остались смешные рисунки. Ребята рисовали пьяницу-учителя с красным носом. А надписи! О, чего только нет! Любовные послания, объявления о спектаклях... Посмотри, вот колея. Словно только сейчас проехала повозка.

— Это тоже страшно. Была жизнь и остановилась. Пропала, исчезла...

Юлия была права. Город не выглядел местом страшной катастрофы, хоть большинство зданий были разрушены. Прямые улицы. Голубые блюдца колодцев со следами от веревок. Посуда, оставшаяся в тавернах. Выложенные веселой мозаикой у порогов жилищ надписи: «salve» — здравствуйте. Не хватало только людей, птиц, осликов, везущих свою поклажу.

...24 августа 79 года. Начавшись в полдень с чудовищного, оглушительного грохота, катастрофа нарастала с каждой минутой. Кратер Везувия разверзся. Из него ударил огромный столб огня, пепла и камней, вес которых достигал шести килограммов. Дома рушились на обезумевших людей. Те метались с подушками на головах, погибали, раздавленные камнями, удушенные густыми испарениями серы. Пепел в несколько метров толщиной покрывал саваном зрелище страшных страданий. Птицы падали камнем, а море выбрасывало мертвых рыб. Наступила кромешная тьма...

* * *

Над «Помпеей» Брюллов работал до изнеможения — порой его выносили из мастерской на руках. Но центр холста по-прежнему пуст, чего-то не хватает. Героя? Героини?

Самойлова явилась вовремя. Это — его женщина. Она не женщина Рафаэля «с тонкими, неземными, ангельскими чертами — она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянка во всей красоте полудня, мощная, крепкая, пылающая всею роскошью страсти, всем могуществом красоты, — прекрасная, как женщина».

И когда такая женщина гибнет — а Юлия гибнет в «Помпее», — это должно восприниматься вдвойне трагично, ибо что останется в этом мире, если с нею будет сметена красота, любовь, материнство?

...Брюллов был похож на гончую, наконец-то взявшую верный след. К черту головки ясноглазых римлянок, от которых млеют в Петербурге! К черту миленькие пейзажи, которые вымаливают у него местные аристократки! Теперь пусть знает Академия художеств, снарядившая в Италию своего выпускника, что все это

— только пробы. Теперь от его неуверенности, осилит ли он громадное полотно, не осталось следа.

В центре холста, который все время оставался пустым, появляется желанная фигура. Юлия Самойлова!

В мастерской Брюллова все больше и больше скапливалось картонов с набросками, возле постели валялись листы с пока что еле намеченными фигурами, еще не различимыми лицами. Его картина должна быть чем-то бОльшим, чем упрек бессмысленному произволу природы.

Он покажет любовь и благородство, не угасающие перед лицом смерти. Молодой человек будет спасать старика отца. Немощная мать — убеждать сына не обременять себя. Жених вынесет из-под града камней уже мертвую невесту, а отец семейства последним в жизни движением попытается укрыть своих близких. Но вот обуреваемый страхом всадник, у которого шансов спастись куда больше, чем у других, мчит во весь опор, не желая никому помочь. И жрец, которому привыкли поклоняться, трусливо покидает гибнущий город, надеясь остаться незамеченным.

Люди, вы разные... Брюллов будет рисовать вас такими, какие вы есть в жизни. Но в Помпее будет и идеал. Нечто такое, что встречается так редко и что встретилось ему.

Юлия! Она появится на полотне великой картины Брюллова трижды.

...Молодая мать старается прикрыть от камнепада крошку-сына. Это Самойлова первая. Тем, чем обделена была Юлия в жизни — материнством, Брюллов вознаградит ее сполна. Вторая Самойлова изображена помпеянкой с двумя дочерьми, в ужасе прижавшимися к ней.

Была и третья Самойлова...

* * *

«Между мной и Карлом все делалось не по правилам», — признавалась Самойлова. Не по правилам общества, в котором жили, — и за это им придется расплатиться. Но по правилам страсти — такой обильной, яростной, почти языческой, что смешно было скрываться. То, что графиня Самойлова — любовница художника Брюллова, знал и Рим, и Петербург. Юлия и Карл Брюллов появлялись вместе, не скрывая своих отношений.

Одно время ходили слухи, что они хотят пожениться. Однако у них хватило здравого смысла, чтобы не сделать этой глупости. Тем самым они спасли свои отношения, оставшись на двадцать лет в жизни и навсегда в истории Гением и его Музой.

Абсолютно свободные, не давая ни клятв, ни обещаний, не видясь годами и бросаясь из одного увлечения в другое, они

оставались необходимыми друг другу людьми. В их сердцах было отгорожено место друг для друга, на которое никогда и ни при каких обстоятельствах не мог претендовать никто.

Ветреная, взбалмошная графиня испытывает, быть может, единственную постоянную потребность — писать Карлу: «Скажи мне, где живешь и кого любишь? Нану или другую? Целую тебя и верю, буду писать тебе часто, ибо для меня есть щастие с тобой беседовать хотя и пером».

«Дорогой мой друг, — пишет Юлия, спустя почти два десятилетия после их знакомства, — я поручаю себя твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна, и повторяю тебе, что никто в мире не восхищается тобою и не любит тебя так, как твоя верная подруга».

Верность ее доказана. Она помогала ему деньгами: Брюллова от этой заботы не избавляло ни звание «великий Карл», заслуженное на родине, ни огромное количество написанных им полотен.

Зимою 1839 года Юлия перестала получать нежные письма из Петербурга. А потом пришло известие — граф Литта скончался...

Ему было уже семьдесят шесть лет, но он по-прежнему выглядел молодцом. Смерть пришла за ним в одночасье, позволив графу-гурману съесть на прощанье тройную порцию любимого мороженого. Юлий Помпеевич не забыл отпустить комплимент повару: «Сальватор отличился на славу». Закрыл глаза и умер.

Но Литта успел и нечто более важное. Все свои несметные богатства как в России, так и в Италии он завещал Юлии. Если по выходе замуж она получила от графа-отчима миллионное приданое, то теперешнее наследство делало ее одной из богатейших женщин не только России, но и Италии.

Ей достались роскошные дворцы и виллы в Милане и его окрестностях. Она — об этом стоит сказать особо — стала наследницей колоссальных художественных ценностей, которыми буквально были переполнены роскошные итальянские апартаменты двух могущественных семейств: Литта и Висконти.

В этой коллекции были и такие шедевры, как «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи, — одно время он был на службе у семьи Висконти.

Коллекция художественных ценностей, доставшаяся Самойловой, была поразительно большой даже для Италии. На нее мог взглянуть каждый желающий. С особым гостеприимством здесь встречали соотечественников. В письмах и воспоминаниях остались восторженные отзывы об этих визитах.

Однако то обстоятельство, что Юлия стала почти единственной наследницей могущественных династий, породило

много слухов и пересудов. Почему из нескольких наследников граф выбрал именно Юлию?

Дадим слово двум исследователям — И.Бочарову и Ю.Глушаковой, которые в книге «Итальянская Пушкиниана» писали:

«Отеческие чувства Джулио Литты к Ю.П.Самойловой, оказывается, имели глубокие основания. Юлия Павловна, родившаяся в 1803 году, по-видимому, является внебрачной дочерью сиятельного итальянского графа, состоявшего, как нам говорили, в связи с ее матерью графиней М.П.Палей даже после женитьбы на бабке Екатерине Васильевне.

Насколько отвечает истине это предание, судить трудно. Известно, правда, что разлад в семье Палеев начался вскоре после рождения дочери, и год спустя родители ее разошлись. Следует напомнить также, что у графа в России были внебрачные дети: сын, провинциальный актер Аттил (прочитанная с конца фамилия Литта), и дочь. Поговаривали и о третьем ребенке, которым, согласно семейному преданию, и была Ю.П.Самойлова. Если это так, то вот откуда типично итальянские черты в облике Юлии Павловны, так озадачивающие по сей день исследователей окружения Карла Брюллова».

Все это наводит на мысль, что Екатерина Васильевна Литта была весьма снисходительной женой, умела редкостно владеть собой, играя в безмятежную семейную идиллию.

Что бы там ни было, наследница графа Литты прибыла из Италии в Россию для улаживания формальностей с наследством. И как вовремя она оказалась в Петербурге!

...Когда Брюллову было почти сорок, он женился. Женился скоропалительно, с предощущением несчастья. Вот как описывает Тарас Шевченко избранницу художника и странное венчание: «Я в жизнь мою не видел да и не увижу такой красавицы. В продолжение обряда Карл Павлович стоял глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту».

А через месяц с небольшим после свадьбы произошел разрыв. Оказалось, что Эмилия Тимм, дочь рижского адвоката, молодая жена Брюллова, давно состояла в интимной связи с ближайшим родственником. Этот брак нужен был для прикрытия. Брюллов ужаснулся, но все простил, считая Эмилию жертвой домогательства. Он надеялся: все пройдет, забудется, она так молода. Он заставлял себя — забыть. Но воистину, если ты, человек, сам не навредишь себе, то не навредят тебе ни друг, ни враг, ни сам дьявол...

Снисходительность и терпение Брюллова привели как раз к обратному результату. Эмилия решила, что ей и вправду попался

наивный простак. Любовные отношения с родственником продолжались. Когда Брюллов убедился в этом, в доме произошла сцена, поставившая точку в этом браке.

Почему ему так страшно не везет? Все в его жизни мутно, вскользь, а многое нельзя вспомнить без приступа отвращения к себе. Где-то растет сын Алеша, которого он никогда не видел и имени его матери не помнит, потом череда мимолетных связей: то уличные девки, то дамы из общества, желающие романа с модным художником, самоубийство бедной Демулен, запоздалое желание обрести семью, женитьба на порочной девочке, по возрасту годившейся ему в дочери. Зачем все это, зачем?

С Брюлловым происходило худшее, что может случиться с человеком: он начал бояться жизни и был преисполнен неприязни к себе.

К тому же семейство Тимм повело настоящее наступление на Брюллова. Они громко сплетничали по Петербургу о жестокости художника, якобы избивавшего молодую жену, о его пристрастии к спиртному.

Скандал докатился до Зимнего дворца. Неудовольствие Николая I, не любившего в своей столице историй, переходящих границы приличий, сейчас же дало себя знать. Общество действовало как по команде. Двери для Брюллова всюду закрыты. Художник пишет послания «наверх», пытается доказать, что оклеветан. Все напрасно.

Цензор Никитенко написал — «безнравственен». Дамы, державшие в домах бюсты «великого Карла» с лавровым венком на голове, срочно убирают их в темный угол. Брюллов ощущает себя прокаженным. Те, которые некогда искали знакомства с ним, льстили, предлагали бешеные деньги за портреты жен и дочек, делают вид, что не знают его. Судачат много, ложно, грязно. Говорят, что он даже умудрялся изменять влюбленной в него Самойловой с ее же горничной. И вот наконец в Италию приходят слухи из Петербурга: Брюллов застрелился.

Нет, он не застрелился. В те страшные дни Брюллов ежедневно приходил к скульптору Клодту и, забившись на антресольный этаж, отведенный детям, рисовал нервно, быстро, рвал, опять рисовал. И маленькие Клодты видели, как часто дядя Карл ронял свою кудрявую голову на лист бумаги и беззвучно, вздрагивая всем телом, плакал: «Юлия! Где ты, моя единственная, светлая радость?»

Самойлова явилась кометой, сжегшей паутину наговоров и сплетен, разметав уныние и подавленность художника. В свои тридцать семь лет она была по-прежнему прекрасна, а когда такая женщина говорит: «Я восхищаюсь тобой как одним из величайших

когда-либо существовавших гениев», — это не могло остаться без последствий. Они снова вместе. Она верит в него и заставляет поверить других.

Из Брюллова словно выпустили дурную, отравленную злобой и сплетнями кровь. Жилы наполнились новой кровью — молодой, снова загоревшейся от близости этой женщины-кометы. Брюллов не мог предать восхищения Юлии. Он взялся за кисть.

* * *

С момента первой встречи с Самойловой и до конца своей жизни Брюллов находил ее красоту идеальной. Облик графини звал его к кисти. Он был готов рисовать Юлию бесконечно, но из многочисленных изображений Самойловой до наших дней дошли лишь два больших полотна. Одно, где Самойлова изображена со своей приемной дочерью Джованной, находится в частном собрании в США, другое — в Русском музее. Это знаменитая картина «Графиня Самойлова, удаляющаяся с бала».

Здесь, рядом с Юлией, стоящей на ступенях миланского театра, еще одна ее воспитанница — прелестная маленькая Амалиция в греческом костюме. Между девочками было восемь лет разницы. Видимо, графиня любила детей и страдала от того, что у нее не было своих собственных.

Пришло время, когда она, как и ее «Бришка драгоценный», стала тяготиться одиночеством. Но им обоим не везло. После двухмесячного супружества до 1841 года над Брюлловым тяготел мучительный бракоразводный процесс. Не лучше были дела и у Юлии.

В том же 1841 году графиня надумала помириться с мужем. Их друзья этому способствовали. И в Славянке графская челядь уже вовсю старалась навести порядок перед приездом хозяйки и хозяина. А вышло так, что Юлия приехала на похороны. Буквально за несколько дней до встречи с ней Николай Самойлов скончался.

Юлия была, конечно, опечалена, но внимательно наблюдавший за ней великосветский Петербург не верил в это. И действительно, живая сценка, оставшаяся в памяти современника, весьма выразительно рисует не склонную к долгой грусти вдову: Самойлова сажала знакомых детей на длинный шлейф траурного платья и возила их по паркету...

Она снова вернулась в Италию, где в Милане, на живописной вилле «Джулия» близ озера Комо, возобновилась прежняя жизнь в общении с музыкантами, художниками, поэтами.

В блестящей свите Самойловой было целое созвездие талантов Италии и России: Г.Доницетти, В.Беллини, Дж.Россини, В.А.Жуковский, Ф.И.Тютчев, С.Ф.Щедрин, А.И.Тургенев. Графиня

приняла близко к сердцу творческую судьбу Джузеппе Верди и способствовала успеху его первых оперных постановок на сцене «Ла Скала». Литературно-художественный салон Самойловой играл заметную роль в культурной жизни Италии. Ее отзывчивая натура стремилась поддержать людей одаренных, но придавленных нуждою. Тем самым графиня из России оставила по себе очень добрую память.

Но Юлия изменила бы себе, если бы удовольствовалась налаженной жизнью и снова не заставила бы говорить о себе итало-российскую знать.

В 1846 году сорокатрехлетняя красавица проезжала через небольшой итальянский город. У нее сломался экипаж, и, чтобы скоротать время, пока его чинят, Юлия отправилась в местный театр.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Здесь как раз состоялся оперный дебют никому не известного тенора. У молодого человека была романтическая внешность печального рыцаря и дивной красоты голос.

Юлия в одночасье влюбилась. Дождавшись окончания спектакля, она посадила ошеломленного героя в карету, которую очень кстати починили, и увезла его вон из города. Любовь была так безоглядна, что графиня решила стать «просто синьорой Перри» и, естественно, не замедлила воплотить это желание в жизнь.

В России рассказывали друг другу свежую новость: Самойлова «вышла вторично за границей за иностранца, что лишило ее русского подданства». Ей пришлось продать свои имения, в том числе и графскую Славянку, «имение истинно царское».

Конечно, полученные деньги отнюдь не восполняли потерянной части российских богатств. Привыкшая бросать деньги без счета, щедро помогавшая направо и налево, Юлия неминуемо должна была прийти к печальному финалу. Супружество с синьором Перри ей стоило очень дорого. Но за свое счастье она готова была платить сполна и не раздумывая.

Увы, это супружество продлилось недолго. В том же 1846 году молодой муж графини умер в Венеции от чахотки. Горе ее было беспредельно. Она без чувств опустилась на холодный мраморный пол собора Святого Марка, где стоял гроб с телом покойного.

Похоже, утрата мужа охладила любовь Юлии к Италии. Она похоронила Перри на кладбище Пер-Лашез в Париже и осталась жить во Франции.

Говорили, что дважды вдова ставила перед собой портреты

своих усопших мужей, Самойлова и Перри, сравнивала их красоту и находила, что последний более красив.

Время притупляет горечь потерь. К тому же Самойлова не принадлежала к тем, кто живет прошлым. Куда более ее занимал день завтрашний. Одно ее огорчало — потеря графского титула. Долгими вечерами в имении Груссэ близ Парижа Юлия раздумывала, как быть. И наконец придумала.

В 1863 году шестидесятилетняя муза Брюллова вновь оказалась под венцом.

Когда-то он был весьма пригож и даже, наезжая в Россию, кружил голову великосветским дамам. Но к шестидесяти четырем годам у французского дипломата Карла де Морнэ не осталось ни красоты, ни денег. Единственное, чем он владел, — это графский титул.

И Юлия купила его. Тотчас после венчания новобрачные разъехались, но вернувшая себе титул графиня вынуждена была выплачивать своему супругу колоссальную субсидию.

Это пробило такую брешь в ее поистощившемся состоянии, заделать которую уже не было ни сил, ни возможности. Слухи о том, что Самойлова умерла в нищете, не соответствовали действительности. Но нужду ей все-таки пришлось узнать. Одно то, что в конце концов графине пришлось продать свои портреты кисти «великого Карла», говорит само за себя.

Быть может, более всего огорчало то, что очень многие из тех, кому она щедро помогала, совершенно забыли ее. Нуждающаяся старуха уже никому не была нужна. И та, которая настежь распахивала двери своих дворцов, теперь тщетно ждала, не зазвонит ли колокольчик возле ее обшарпанной двери.

Брюллов не увидел верную подругу, обезображенною старостью. Юлия на двадцать три года пережила своего «Бришку драгоценного».

Тот же, простудившись, расписывая Исаакиевский собор в Петербурге, уехал в Италию, предчувствуя скорую кончину.

...Летом 1852 года русские художники, жившие в Риме, вышли на городскую заставу встречать прах Брюллова, скончавшегося в маленьком курортном городке Манциана.

На повозку, прогромыхавшую рядом, они не обратили внимания. Измаявшись в ожидании, художники спросили стражников, а те ответили: «Его давно уже привезли». Тогда вспомнили о жалкой повозке.

Похоронили Брюллова на кладбище Монте Тестаччо близ Рима. Могила же Юлии Самойловой находится в Париже на кладбище Пер-Лашез, в одном склепе с могилой тенора Перри. Надо сказать, что, несмотря на пеструю личную жизнь, Юлия

Павловна всегда подписывала бумаги и письма как графиня Самойлова.

Хотя она умерла в возрасте семидесяти двух лет, так больше и не показавшись на родине, в «графской Славянке», все-таки доставшейся «родственнику» Самойловой Николаю I, помнили старую хозяйку.

Как писали, она унаследовала красоту от бабки, а простоту и отзывчивость от своего странного прадеда. Графиню видели в крестьянских избах, она щедро раздавала пенсии, награды, пособия.

Ее приемные дочери Джованна и Амалиция были выданы Самойловой замуж с большим приданым.

* * *

Могилы Брюллова и Юлии Павловны разделены большим расстоянием. Встретились ли их души за пределами земной жизни?

Как бы то ни было, Брюллов оставил потомкам свидетельство своей любви. В левом углу «Помпеи», на втором плане, как бы защищенный от слишком докучливого взора, есть, в сущности, парный портрет Брюллова и Юлии. Молодой художник, уносящий ящик с кистями, и испуганная девушка рядом. Точно такой же взгляд был у Юлии, когда они вдвоем бродили по Помпеям и она говорила, что чувствует, как дрожит под ногами земля...

Здесь, на картине, Брюллов и Юлия снова вместе. Навсегда.

ТРИ ЕКАТЕРИНЫ ПЕТРА БАГРАТИОНА

Женский голос как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется —
Все становится сразу иным.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

А.Ахматова

Какой герой не мечтал, чтобы его подвиг был вознагражден любовью прекрасной женщины! В мудрых сказках так и водилось: богатырю в жены доставалась прекраснейшая из прекрасных. В жизни же все устроено менее справедливо...

Генерал Багратион, легендарный герой двенадцатого года... Его называли «львом русской армии». Солдаты его боготворили.

Но то была армия. Здесь Багратиону было полной мерой отмерено и преданности, и любви. Жизнь же мирная — короткие передышки между боями — обделила его теми обыкновенными радостями, что без всяких хлопот достаются большинству.

Между тем в этом стоике билось сердце, не менее других готовое обожать странное загадочное создание — женщину...

* * *

...Едва эта восемнадцатилетняя красавица появилась в свете, как за ней утвердилась слава отчаянной кокетки. В голубых, из-за близорукости по-детски беспомощных глазах отражалось совсем не то, что было в сердце. Однако далеко не все могли вовремя заметить расставленные силки, и попадались, и страдали.

Встретившись с Екатериной Скавронской на балу в 1800 году, Багратион поначалу сторонился слишком роскошной дочери знаменитой потемкинской племянницы Екатерины Васильевны Скавронской-Литта.

Петр Иванович был уже далеко не мальчик. Он отлично понимал, что для него, солдата, нужна совсем иная подруга жизни. Наверное, тихая и терпеливая, которая способна отрешиться от всего: дворцовой круговерти, разговорчивых флигель-адъютантов, легкомысленных подружек, ради него, которого надо ждать с полей сражений, проводя одинокие вечера

у колыбели.

Багратион подозревал, что молоденькую Скавронскую это не может устроить. Танцуя с ней, он старался унять предательски громко стучавшее сердце, был на глазах у нее очень любезен с другими дамами. Его хитрость отстраниться от кокетливой красавицы, должно быть, принесла бы свои плоды. Но на горе Багратиона Екатерина Павловна решила затеять свою игру.

Ее увлекла мысль, от которой, кажется, кровь в жилах бежала быстрее: завладеть сердцем человека прославленного и известного, вскружить голову, заставить страдать того, кто презирал все опасности на свете.

...«Уже один швейцарский поход мог бы составить славу Багратиона — без него померкла бы слава Суворова и его чудо-богатырей», — писали о князе Петре Ивановиче. Но все слова меркли перед теми превосходными характеристиками, которые ему давал сам великий генералиссимус. Чуть ли не в каждой реляции с театра военных действий он подчеркивал личное мужество своего молодого сподвижника. Все понимали, на ратном небосклоне России появилась яркая полководческая звезда. Имя тридцатипятилетнего генерал-майора, овеянного романтической славой, было у всех на устах.

Уязвленная упорным нежеланием Багратиона идти на сближение, Скавронская перешла в решительное наступление. На одном из балов она сама подошла к Петру Ивановичу и сказала, что храброму воину не к лицу избегать слабой женщины.

Перчатка была брошена. Багратион принял вызов. В этом поединке он оказался безоружен и влюбился в молодую красавицу, не подозревая подвоха, со всем пылом и безоглядностью темпераментного южанина.

Как только Екатерина Павловна поняла, что цель достигнута и герой у ее ног, азартное чувство охотника оставило ее. Она дала понять Петру Ивановичу, что рассчитывать на взаимность тот не может.

Удар был неожиданным, коварным, а доверчивый Багратион выглядел слишком ошеломленным, чтобы этого не заметили другие.

Слухи о сердечной ране, нанесенной генералу, дошли до Павла I, и он решил дело без долгих церемоний. Петру Ивановичу было приказано задержаться после дежурства, а Екатерине Васильевне Скавронской прибыть во дворец вместе с дочерью, одетой непременно в венчальное платье. Птицелов, таким образом, сам попался в сети.

Драматизм ситуации усугубился еще и тем, что принявшая такой неожиданный поворот интрижка с Багратионом совпала

для Екатерины Павловны с семейным скандалом. Обе сестры Скавронские были влюблены в одного и того же человека — графа Павла Палена. Тот же предпочел младшую, Марию. Екатерина не смогла примириться с потерей, во всем обвиняла коварную сестру и на всю жизнь с ней рассорилась.

И вот, повинуясь приказу, в пять часов вечера 2 сентября 1800 года невеста в сопровождении родственников прибыла в придворную церковь Гатчинского дворца, где ее ожидали дежурный пресвитер Николай Стефанов и тридцатипятилетний жених — Багратион. При их венчании присутствовали Павел I и императрица Мария Федоровна.

Екатерина Павловна Багратион

«Блиц-венчание», как отмечал камер-фурьерский журнал, завершилось «вечерним столом». Вероятно, невеста в парадном «русском» платье и с бриллиантовыми украшениями, подаренными в день свадьбы императрицей, как и жених, лишь вчера не помышлявший о супружеском союзе со Скавронской, были во власти сложных чувств.

Вот суждения генерала Ланжерона об этой истории: «Когда Багратион приобрел известную славу в армии, он женился на маленькой племяннице кн. Потемкина... Эта богатая и блестящая партия не подходила к нему. Багратион был только солдатом, имел такой же тон, манеры и был ужасно уродлив. Его жена была настолько бела, насколько он черен; она была красива, как ангел, блистала умом, самая живая из красавиц Петербурга, она недолго

удовлетворялась таким мужем...»

Кое в чем Ланжерон сгущал краски. Судя по портретам, а их осталось не так уж мало, Багратион не был ни «черен», ни «уродлив». Другое дело, что его внешность отличалась своеобразным кавказским колоритом, который некоторым резал глаз в сравнении с классической красотой юной супруги. Выражением «только солдат» Ланжерон, видимо, хотел сказать о неловкости и неуклюжести Багратиона. Между тем остались сведения, что Петр Иванович был человек вполне светский, отнюдь не чуждался общества и порой даже открывал балы в паре с дамой.

Ланжерон уловил внутреннюю чужеродность новобрачных. К мысли об этом, право, было нетрудно прийти.

Несомненно одно — эта насильственная свадьба стала началом семейной драмы, глубоко затаенного несчастья Петра Ивановича. Он и его жена остались для биографов полководца «лжесупругами». Разумеется, на Екатерину Багратион потрачено много черной краски. Главное обвинение — нелюбовь к мужу. Никогда не принимался во внимание факт навязанного замужества, сам по себе не предвещавший ни любви, ни согласия.

Однако поначалу ничто не предвещало близость семейной драмы. После медового месяца, проведенного в Гатчине, и скорого переезда в Петербург жизнь каждого из молодоженов пошла по своему, уже заведенному кругу.

Петр Иванович служил, Екатерина Павловна прилежно исполняла обязанности светской дамы.

После официального придворного траура по поводу смерти Павла I, убитого заговорщиками 11 марта 1801 года, жизнь двора была даже оживленнее, чем прежде. Багратион посещал со своей женой балы, танцевальные и музыкальные вечера, но завсегдатаем дворцов ему не удавалось стать. Да он к этому и не стремился. По сути дела, все его время поглощала служба — егерский батальон Багратиона считался лучшим в петербургском гарнизоне.

Положение известного генерала и круг светских знакомств, значительно расширившийся с женитьбой, требовали больших средств. А их у Петра Ивановича не было. Жил он всегда исключительно на свое жалованье. Для того чтобы как-то свести концы с концами, на продажу шли деревни, пожалованные за боевые отличия. Когда появлялись деньги, в квартире Багратиона, которую он нанимал, так как своего дома у супругов не было, пир шел горой. Денис Давыдов в своих воспоминаниях писал: «Он любил жить роскошно, всего у него было вдоволь, но для других, а не для него. Сам он довольствовался весьма малым...» Вот этого

нельзя было сказать о Екатерине Павловне, чье приданое, терзаемое безумными тратами, таяло, как сугроб на мартовском солнце.

Неумение жить по средствам было, наверное, единственной чертой, роднившей супругов. Во всяком случае, новая родня Багратиона была очень озабочена крепнувшими связями с кредиторами и растущими долгами зятя и дочери. Принято считать, что Петр Иванович был холодно принят родственниками жены, что их грызла мысль о более завидной партии для красавицы Екатерины. Конечно, в отношении богатства Багратион не мог равняться со Скавронскими-Литта. Но что касается знатности... Тут Петр Иванович, происходивший из древнего рода грузинских царей, мог дать десять очков вперед фамилии жены, выплывшей из небытия в начале XVIII столетия благодаря бойкой служанке в доме пастора Глюка.

И все-таки остались свидетельства того, что отношения Багратиона с родней жены были доброжелательные и сохранились таковыми даже после окончательного отъезда Екатерины Павловны за границу.

Это произошло в 1805 году и подвело итог первому и последнему «супружескому пятилетию» Багратиона. Да и оно не было отмечено особой привязанностью Екатерины Павловны к дому. Судя по всему, «охота к перемене мест» овладела ею вскоре после свадьбы. Петр Иванович не препятствовал путешествиям жены. Он и сам не раз собирался поехать в теплые края вместе с нею.

В феврале 1802 года он обращался к чиновнику государственного казначейства Д.И.Трощинскому с настоятельной просьбой выдать из причитающихся за продажу деревни денег «хотя 30 тысяч рублей. Мне прекрайняя в них нужда...» Деньги были ему нужны для поездки за границу с Екатериной Павловной. Однако то долги и безденежье, то дела службы прочно удерживали Багратиона дома.

Осенью 1805 года Петр Иванович все же покинул пределы Отечества. Он отправился на войну, Екатерина Павловна же — на поиски острых ощущений в европейских столицах. Их петербургское жилище, так и не обжитое, не согретое семейным теплом, опустело, и теперь уже навсегда...

В постоянных метаниях из государства в государство «блуждающая княгиня» словно искала и не находила себе пристанища, сделав, по словам современников, из своей кареты как бы второе отечество. Эффект, который она производила, должно быть, изрядно тешил ее тщеславие. Все в этой женщине удивляло, вызывало смятение чувств: восхитительная внешность,

обилие роскошных нарядов, непривычная даже для Европы смелость поведения, огромное состояние, расточаемое в безумных тратах. Она сводила с ума поэтов и членов королевских семейств.

Принц Людвиг порвал из-за Екатерины Багратион старинную любовную привязанность, шокировав этим общество.

Гёте был сражен ее красотой. Кстати он, видевший Екатерину Павловну в 1807 году в Карлсбаде, оставил выразительный портрет княгини. «Чудный цвет лица, алебастровая белизна кожи, золотистые волосы, таинственное выражение...» Он добавлял: «При своей красоте и привлекательности, она собрала вокруг себя замечательное общество». Наблюдая успехи княгини Багратион, один из свидетелей ее европейского триумфа справедливо замечал, что «на это одних денег недовольно, надобно уменье, любезность, ловкость...».

Безусловно, всем этим Екатерина Павловна обладала в полной мере. Однако что в этом самому Багратиону? При живой жене он чувствовал себя то ли вдовцом, то ли разведенным. Трудно в одиночку переживать горе. Быть может, еще труднее, чем блистательный час славы...

В сражении при Шенграбене Багратион не только сохранил от верной гибели свой шеститысячный отряд, но этими малыми силами сумел сдержать тридцатитысячный корпус Мюрата.

«Я сегодня воспользовался воскресеньем и объездил почти всех знакомых, важных и не важных, и у всех только и слышно, что о Багратионе. Сказывали, что генерал Кутузов доносит о нем в необыкновенно сильных выражениях». Эта дневниковая запись красноречиво свидетельствует о степени популярности героя Шенграбена. Москва собиралась устроить ему достойную встречу. Каждый хотел попасть на чествование Багратиона, чтобы «поближе увидеть этого витязя, который сделался так дорог сердцу каждого русского». Каждого русского — но не Екатерины Павловны, продолжавшей оставаться в прекрасном далеке и не разделившей с мужем час его торжества.

Прием в Английском клубе был не единственным. По Москве и Петербургу прокатилась волна балов и праздников в честь героя Шенграбенского сражения. И не случайно — в ту пору не было в русской армии генерала, способного соперничать с Петром Ивановичем в благоговейном отношении соотечественников. Однако, как это всегда бывает, его популярность вызывала повышенный интерес к его личной жизни. А именно ее-то генерал хотел бы оградить от постороннего взгляда.

Конечно, небрежение жены, ее вызывающее поведение и, как следствие, пересуды в обществе больно задевали. Но заставить умолкнуть и сочувствующих, и злорадствующих было не в его

силах. Гнев и досада Петра Ивановича выливались в строчках немногих сохранившихся писем тем, кому он доверял: «Если бы я и был недоволен моею женою, это я. Какая кому нужда входить в домашние мои дела», «...она, кто бы ни была, но жена моя. И кровь моя всегда вступится за нее. И мне крайне больно и оскорбительно, что скажут люди и подумают...»

Последняя фраза приоткрывает завесу над малоизвестным эпизодом, когда жен отличившихся военачальников решено было наградить орденами, а княгиня Багратион оказалась обойденной. С точки зрения здравого смысла это было абсолютно справедливо. Но самолюбие Багратиона было чрезвычайно уязвлено. Он порывался даже уйти в отставку. Екатерина Павловна носила его фамилию, и, по разумению Петра Ивановича, этого было вполне достаточно. Никогда сам не искавший ни наград, ни благоволения сильных мира сего, он настойчив в убеждении, что его жена достойна даже более почетной награды, чем все прочие: «Ее надо наградить отлично, ибо она жена моя...»

Кажется, нет такой легенды, в которую не был готов уверовать оставленный муж, дабы доказать обществу, что Екатерина Павловна добродетельная женщина, в силу особых обстоятельств принужденная разлучиться с ним. И эти особые обстоятельства он отыскивает в запутанной и действительно далеко не безмятежной истории Скавронских.

После смерти Павла Скавронского мать его жены, Екатерина Васильевна, вышла замуж за тридцатипятилетнего итальянца, осевшего в России, графа Литту. Это была заметная личность в Петербурге: великан, с голосом, гремевшим, как «труба архангела при втором пришествии», жизнелюбец и оригинал. Правда, ходили слухи, что после смерти супруги граф Литта энергично защищал семейное богатство от притязаний родственников, в том числе и падчерицы Екатерины Павловны Скавронской-Литта-Багратион.

Во всяком случае, Багратион был уверен и уверял других, что отношения с отчимом грозят его жене смертельной опасностью и именно это послужило причиной ее отъезда из России. Он пытался вызвать к ней сочувствие: «Она была в доме матери хуже служанки». Что касается необыкновенных обстоятельств их свадьбы, то Багратион со своей стороны заверял: «...я женился с теми намерениями, что честный человек...», то есть по велению сердца, любя свою избранницу и желая стать ей опорой. Благородная его натура была далека от какого-либо недоброжелательства к супруге, заставлявшей его столько раз испытывать мучительные приступы ревности и ставившей порой в

невыносимые обстоятельства.

Например, в июле 1809 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось уведомление о том, что «генерал-лейтенантша княгиня Екатерина Павловна Багратион, урожденная графиня Скавронская, по случаю пребывания ее вне государства» по всем имущественным вопросам просит обращаться к князю Куракину. Таким образом, Петр Иванович как бы полностью скидывался ею со счета.

Но великодушие ни разу не изменило Багратиону. Он продолжал заботиться о жене и брал на себя нелегкую миссию переговоров с тещей, раздраженной безудержным мотовством дочери, хлопоча, чтобы та погасила ее долги. Денег и только денег постоянно требовала Екатерина. На этой почве возникали беспрестанные недоразумения, тяжбы, займы, продажи, закладные, что грузом висли на шее Багратиона. Даже десять его генеральских заработков не смогли бы удовлетворить расточительную красавицу. Но что было делать? В его представлении женщина, носящая его фамилию, продолжала оставаться нераздельным с ним существом. «Однако она жена моя, и я ее люблю конечно». В этой фразе весь Багратион. Нет ни одной ситуации, в которой он повел бы себя не как настоящий мужчина и рыцарь.

Долго и отчаянно звал Багратион жену в Россию. Он бомбардировал ее письмами с таким упорством, что даже знакомые уговаривали Екатерину Павловну черкнуть мужу хоть строчку. Иногда Екатерина Павловна удостаивала Багратиона ответом. Легко представить, каким напряжением воли удавалось смирять гордому кавказцу самолюбие, чтобы просить посредников склонить княгиню к возвращению домой. В ответ она жаловалась, что больна, а посему принуждена лечиться в Европе. Однако громадные суммы расходов свидетельствовали о том, что княгиня Багратион в высшей степени здорова и полна энергии. Светские знакомцы, впрочем, не отказывали себе в удовольствии осведомиться у Петра Ивановича о самочувствии жены...

Не раз Багратион собирался к Екатерине сам, но то окаянное безденежье, то военная кампания рушили его планы.

Тем временем княгиня Багратион без особого труда завоевывает австрийскую столицу. Самая модная, блестящая, заставляющая о себе говорить женщина. «Ее туалеты и экипажи отличаются неслыханною оригинальностью», — заносит в свой дневник княгиня Мелания Меттерних. Но не это выдвигает Екатерину Багратион в ряд самых примечательных личностей, осевших в Вене. Ее салон сделался оплотом антинаполеоновского

влияния. Ненависть к диктатуре, установившейся во Франции, стала толчком к совершенно новой сфере деятельности. Екатерина Павловна как бы заступила на негласный дипломатический пост, объединив вокруг себя весьма влиятельных и авторитетных европейцев — противников Наполеона.

Под воздействием энергичной, умевшей вербовать себе сторонников княгини подверглось бойкоту французское посольство в Вене. Из ее дома распространялась антифранцузская пропаганда. «Тут составлялись заговоры против лиц, стоявших у власти, — пишет свидетель тех событий, — здесь зарождались оппозиционные страсти... В результате горсть русских галлофобов заняла в Австрии положение влиятельной партии».

Знаменитый француз — историк Вандаль, посвященный в тонкости и хитросплетения светско-дипломатической жизни в Европе, указывал совершенно конкретно: «В открытой против нас кампании главным помощником Разумовского (русского посла в Вене. — *Л.Т.)* была женщина, княгиня Багратион. Княгиня на деле играла в политике ту роль, о которой в то время мечтали многие русские дамы высшего света»...

Надо сказать, что эта роль ей вполне удалась. Во многом разделяя те чувства, что владели ее соотечественниками в эпоху наполеоновского нашествия, княгиня Багратион не упускала случая подчеркнуть свою принадлежность России. В 1815 году, во время Венского конгресса, она устроила грандиозный бал в честь императора Александра I, который называл очаровательную соотечественницу «интимным другом».

Видимо, к этому времени относится и следущее свидетельство: «Тайным агентом России называли, например, красавицу княгиню Екатерину Багратион, умную и ловкую интриганку, но женщину в высшей степени легкомысленную; император Александр бывал у нее по вечерам и во время этих посещений, затягивавшихся до позднего часа, выслушивал интересовавшие его сообщения».

После 1815 года княгиня Багратион перебралась в Париж. Войдя во вкус, свой роскошный особняк на Елисейских полях она сделала средоточием политических секретов. Донесения тайной полиции, посчитавшей нужным подкупить слуг княгини, как нельзя лучше свидетельствуют о том, что верная себе Екатерина Павловна удачно сочетала интересы, так сказать, общественные и личные.

«Сегодня утром, — сообщается в донесении от 27 мая 1819 года, — прибыл из Брюсселя курьер к генералу Поццо ди Борго, русскому послу. Княгиня Багратион ожидала с этим курьером

письма, но, по-видимому, ничего не получила. Эта дама очень известна в высшем обществе, благодаря своим политическим связям и кокетству. В понедельник вечером, довольно поздно, ушли от нее два поляка, и один из них, граф Станислав Потоцкий, вернулся обратно. Подобные проделки случаются часто, и героями их бывают то один, то другой, т.е. княгиня очень переменчива. У нее бывают личности всякого рода и придворные...»

К личностям «всякого рода» доноситель мог бы спокойно отнести всех знаменитостей Парижа, таких как Стендаль, Бенжамен Констан, де Кюстин, звезд художественного и музыкального мира и даже греческую королеву. Екатерина Павловна по-прежнему умудрялась возбуждать к себе всеобщий интерес. В бумагах Бальзака есть запись о том, что читающая публика признала в одной из его героинь «дочь холодной России, княгиню Багратион». Вероятно, ее экзотическая фамилия в какой-то степени тоже способствовала этому. Грузия лишь в 1801 году стала частью Российской империи. И княгиня Багратион как бы несла на себе знак таинственной земли, родом из которой был ее знаменитый муж. В память о нем в селе Кожино под Арзамасом она распорядилась поставить церковь.

Можно сказать точно: Петр Иванович тоже, несмотря ни на что, не забывал ту, с которой стоял перед алтарем Гатчинской церкви. Незадолго до гибели он заказал художнику Волкову два портрета: свой и жены. Воистину у каждого сердца — своя загадка...

* * *

Время щадило Екатерину Павловну. Остались воспоминания современников о том, что и в тридцать лет у нее была фигура пятнадцатилетней девушки. Уже в 30-х годах она вышла замуж за английского генерала Карадока, но скоро с ним рассталась, не пугаясь подступавшего одиночества.

Умерла княгиня Багратион в весьма преклонном возрасте в 1857 году. Маленькая заметка из французской газеты, опубликованная в России, сообщала, что княгиню похоронили в Венеции. Вероятно, она туда перебралась, как и все русские, покинув по требованию властей Париж во время Крымской войны. По другой версии, Екатерина Павловна окончила свои дни в Париже. Но могилы не сохранилось. Быть может, она уничтожена, как «беспризорная».

Слишком долго сюда никто не приходил...

* * *

Екатерина Федоровна Долгорукая

«Никого я так не любил, как вас, и ни к кому от роду не был так привязан, как к вам, хотя вы и будете хохотать и говорить, что, как я смею писать. Но воля ваша, я люблю правду говорить...»

Это строчки из письма Багратиона к еще одной Екатерине — княгине Екатерине Федоровне Долгорукой. Обнаружены они совсем недавно. Листки бумаги, пропитанные почти двухвековой пылью, доносят до нас живое, горячее чувство Багратиона к доселе неизвестной адресатке.

«Багратион, не знавший никакого другого языка, кроме русского, и на этом языке не мог написать ни реляции, ни записки, ни письма без ошибки», — вспоминают современники, и это, видимо, правда. Неразборчивый почерк, весьма приблизительное представление об орфографии, но через мгновение обо всем этом забываешь, подпав под магию багратионовской строки. А она — точный слепок с его характера: прямого и ясного. Забирает в плен энергия и пронзительная искренность каждого слова. Тут не приходит на ум: верить — не верить. Конечно же верить — так же страстно, как и написано!..

Петру Ивановичу, видимо, от природы было дано владение пером. Особенно выразительно он писал, когда что-то воодушевляло его. «Прощальный приказ князя Багратиона был одним из самых трогательных и хорошо написанных статей, которые я когда-нибудь читал в России», — свидетельствовал один из кутузовских генералов. Однако многие были уверены — этого заблуждения не избежали даже современники князя Петра,

— что этот суровый воин не писал ничего, кроме приказов и донесений.

И вот перед нами несколько писем к любимой женщине. Каким, оказывается, остроумным собеседником мог быть Багратион! Каким изысканным комплиментом способен был наградить адресатку. Нет тут перебора по части эпитетов, витиеватости и многословия, достаточно распространенных в его эпоху, когда для прекрасных дам превосходных степеней не жалели. Армейская привычка сказывалась — Багратион писал кратко. Но откуда знал он ведомое лишь поэтам — «как сердцу выразить себя?».

...Вот наконец он получил от Екатерины Федоровны долгожданное письмо. «Признаюсь вам, читавши оное, в сердце моем производилось большое волнение. Знаете, как говорится: «тук-тук...».

Представьте себе генерала во весь рост со шпагой в руке, шагающего под свинцовым дождем Шенграбена. И это — от «ее» письма! — «тук-тук...».

Кто же она, заставлявшая биться сильнее обычного сердце, привычное к канонадам и разрывам снарядов?

Дочь обер-гофмаршала князя Федора Сергеевича Барятинского, женатого на княжне Марии Васильевне Хованской, родилась в 1769 году. Девушке исполнилось шестнадцать лет, когда родители повезли ее на бал- маскарад в Аничков дворец.

Русский двор всегда славился красавицами. Отцветали одни, их сменяли другие, но цветник оставался благоухающим, свежим, приводящим в восторг каждого зрячего. И когда на празднике, данном в честь Екатерины Великой, появилась еще никому не ведомая Екатерина Барятинская, садовнику — а его роль в тот вечер выполнял Потемкин — стало ясно, что в оранжерее расцвела роза редкой прелести. Очень высокая, с роскошными темными волосами, юная дебютантка очаровала всех не только поистине торжествующей, королевской красотой, но и редкой грацией, которую сумела показать в танце. Девушка явно была призвана украсить двор, и скоро ее пожаловали во фрейлины.

Молодая Барятинская недолго пребывала в девицах, и в семнадцать лет она стала женой генерал-поручика князя Василия Васильевича Долгорукого. Супругов связывала искренняя любовь, и, когда началась турецкая кампания, Екатерина, только что родившая сына, ни за что не хотела разлучаться с мужем и отправилась с ним на войну.

Затянувшаяся осада турецких крепостей заставила Потемкина предпринять кое-какие шаги, дабы не скучать. Великий мастак украшать себе жизнь, он устраивал балы в своем дворце-

землянке, правда, не такие пышные, как в Аничковом, но не менее веселые. Царицей этих балов стала молодая супруга князя Долгорукого. Светлейший, приметивший ее еще на балу в Аничковом, увлекся серьезно, но, кажется, без взаимности. Не привыкший к неудачам, Потемкин осаждал Екатерину Федоровну с не меньшим упорством, чем Измаил. Кстати, по уверению современников, он ускорил штурм крепости ради того, чтобы доставить удовольствие молоденькой генеральше захватывающими звуками ночной тревоги и стопушечной пальбой.

Однако все было напрасно: и роскошные праздники в ее честь, и атласные туфельки, за которыми фельдъегеря отправлялись прямо в Париж с дунайских берегов. Долгорукая обладала характером твердым и рассудительным.

И все же, как всякой женщине, ей доставляло удовольствие купаться в волнах всеобщего благоговения. И надо сказать, что скромному ординарцу мужа тут удалось занять более заметное место, чем светлейшему.

Каков он был, двадцатитрехлетний Багратион? Чем понравился избалованной красавице худой, с густой шапкой жестких волос молодой человек, еще только подступавший к своей легендарной славе?

Его ровесники были в куда более высоких чинах — их записывали в гвардию с младенческого возраста. Петру же предстояло каждый шаг по служебной лестнице оплатить кровью и смертельным риском. «Самое прекрасное после вдохновения — это самоотверженность; вслед за поэтом первым идет солдат», — сказал Альфред де Виньи. И вот тут становится понятен интерес Екатерины Федоровны к тому, кто состоял всего лишь в скромной должности ординарца.

В декабре 1788 года Багратион в составе Кавказского мушкетерского полка участвовал в штурме Очакова. Это было одно из самых ожесточенных и кровопролитных сражений: Багратион одним из первых ворвался в крепость.

Его изумительная личная храбрость покорила даже Потемкина. Он, главнокомандующий русской армией, произвел ординарца генерала Долгорукого из подпоручиков сразу в капитаны. Воинская доблесть! Это ли не лучшая аттестация мужчины в глазах женщины!

Не могла Екатерина Федоровна не замечать и того, что, конечно же, отличало Багратиона от богатых, опекаемых влиятельными родственниками сослуживцев. В карманах его не водилось лишних монет. И ждать их было неоткуда. Это диктовало стиль поведения, несколько отличный от принятого в

потемкинском лагере. От Багратиона веяло мужественной сдержанностью. Среди изнеженных сибаритов он казался стоиком.

Конечно, ему трудно было тягаться в образованности с теми, кто значился в поклонниках прекрасной княгини Долгорукой. Но не заметить щедрой природной одаренности Багратиона было невозможно: «...ум, когда он говорил и о самых обыкновенных вещах, светился в глазах его...»

Почти ровесники, Долгорукая и Багратион тянулись друг к другу, каждый выбрав из толпы другого, как наиболее яркую, заметную, интересную личность.

Красота Екатерины Федоровны в сочетании с ее безусловной неординарностью не могла оставить Багратиона равнодушным. Она же в нем верно определила самородка, человека той редкой неукротимой породы, которого, если он надел мундир, первым встречает или пуля, или слава.

С присущей ему прямотой Багратион, не знавший полутонов и недомолвок, называет их отношения любовью. До конца его жизни она остается человеком, которому он доверял, как никому.

О том, что письма к Екатерине Федоровне являлись его исповедью, Багратион писал сам. Он не утаивал от нее ничего. По этим письмам видно, какой незатягивающейся раной была для него «блуждающая» жена и то, что их семейная неурядица подкармливала сплетников и злоязычников.

Ни одно из посланий Багратиона к Екатерине Федоровне не обходилось без слов любви. Судя по всему, она не раз пыталась перевести бурные излияния своего поклонника в более спокойное русло. Но тщетно, Багратион остается Багратионом: «На что мне твоя благодарность? Мне нужна дружба твоя и память верная. Вот что дороже всего».

Идут годы. Багратион служит. Долгорукая блистает в свете. Наделенная сценическим талантом, именно Екатерина Федоровна ввела в Петербурге моду на домашние спектакли, в которых принимала живейшее участие. Она считалась одной из самых изысканных женщин Петербурга. Это, впрочем, не мешало ей оставаться заботливой матерью и хозяйкой дома. У Долгорукой было трое детей: сыновья Василий и Николай, дочь Екатерина...

С воцарением Павла I родители Екатерины Федоровны, к которым благоволила почившая императрица, подверглись опале и уехали во Францию. Вскоре за ними в Париж приехала княгиня Долгорукая. Она быстро вошла здесь в моду. Всех поражала ее оригинальная внешность, необычные, экстравагантные туалеты и бриллианты, которыми она любила осыпать себя с головы до ног.

Знаменитая французская художница Виже-Лебрен, писавшая,

кажется, всех прекрасных соотечественниц и не менее прекрасных россиянок, и та, словно не доверяя своей кисти, дополняет портрет Долгорукой восторженными словами: «Красота ее меня поразила: черты ее лица были строго классические, с примесью чего-то еврейского, особенно в профиле; длинные темно-каштановые волосы падали на ее плечи, талия ее была удивительная, и во всей ее особе было столько же благородства, сколько и грации».

Художница и ее модель подружились. Виже-Лебрен увидела в ней не только представительницу высшей российской знати, но и человека содержательного и глубокого. Недаром она изобразила Екатерину Федоровну с раскрытой книгой.

Появление Екатерины Федоровны при наполеоновском дворе произвело необычайный эффект.

С царственной осанкой княгиня в драгоценностях умопомрачительной стоимости буквально затмила новоявленных аристократок во дворце в Сен-Клу. К тому же она не скрывала презрительного отношения к этому обществу и своими колкими замечаниями в конце концов вызвала неудовольствие Наполеона. Против Долгорукой в печати была развернута кампания. Ей пришлось покинуть Париж. После путешествия по Италии Екатерина Федоровна вернулась в Россию.

С момента знакомства с Багратионом прошло много лет. Они подолгу не виделись, но продолжали писать друг другу. Генерал при каждом удобном случае посылал своей «умнице», «грамотнице» подарки. Когда у Екатерины Федоровны подрос старший сын Василий, она, желая отдать его в надежные руки, обратилась к Багратиону.

Человек щепетильный и принципиальный в вопросах службы, Багратион, идя навстречу просьбе, предупреждал свою «умницу», чтоб ни на какие послабления ее сыну она не рассчитывала: «Дружба и родство у меня прочь. А долг и присяга святы и нерушимы». Однако молодой человек служил отменно, чем, к великой гордости матери, заслужил одобрение Петра Ивановича, представившего его к награде.

Лишь однажды на отношения Багратиона и Екатерины Федоровны легла тень. В 1810 году Петр Иванович был отстранен от командования Молдавской армией и, по существу, попал в опалу. Многие, прежде заискивавшие перед генералом, искавшие его покровительства, отвернулись от него. То, что Долгорукая не проявила в этот трудный момент дружеского участия, не уверила лишний раз в неизменности своих чувств, очень обидело Багратиона. С присущей ему прямотой он сказал ей об этом. Их давняя дружба давала ему право надеяться на бОльшую чуткость

с ее стороны. Но отходчивый, не умевший держать досады на сердце Багратион скоро все забыл и простил. Пускался даже на хитрости, чтобы заставить Екатерину Федоровну лишний раз написать ему. Вероятно, ее острый и насмешливый ум, умение судить о всем здраво, беспристрастно давали часто и надолго отлучавшемуся генералу четкую картину того, что происходило в столицах, держали его в курсе событий. Он полностью полагался на правильность ее оценок. Для него Екатерина Федоровна не только прекрасная, но и, что не менее важно, умная женщина.

Именно в письме Долгорукой Багратион высказывает свой взгляд на прекрасный пол вообще: «Правда, я до вертушек никак не охотник. Я люблю умных...» Знаменательное признание! Во всяком случае, оно объясняет не только длительную привязанность Багратиона к Екатерине Федоровне, но и к своей жене, которую многие считали пустой кокеткой.

В одном из писем Екатерина Федоровна, видимо в ответ на оказанную ей услугу, пишет Петру Ивановичу, что признает себя у него «в подданстве». На что получает справедливый упрек в женской хитрости: «Вы тогда отдали себя в подданство, когда не достать, не видеть вас не мог». И полушутя-полусерьезно, в ожидании возможной встречи с ней, продолжает: «Моя милая красавица, чем ты меня наградишь? Шутки на сторону!.. Я ведь не отвяжусь. А надо уже, чтоб были мы душа в душу. Я тут не нахожу никакого порока. И, кажется, я не дурак — вкус имею. Прошу поспешно отвечать, но не по-дипломатически, а дружески. Не прикидывать, что там я старуха, тому и другому подобное, а правду написать...»

Но, видимо, напрасно, подтрунивая над юношески пылкими излияниями друга давно отшумевшей молодости, Екатерина Федоровна напоминает о своем возрасте. Тщетно! Его привязанность к ней неизменна, и возраст здесь ни при чем. Багратион сетует, что она выдерживает между ними дистанцию, и, стремясь сократить ее, то и дело заменяет в письмах «пустое «вы» сердечным «ты»...

...Долгую жизнь прожила Екатерина Федоровна, окруженная всеобщим уважением. Овдовела она в 1812 году. Детям дала прекрасное воспитание. На склоне лет получила орден Св. Екатерины Большого Креста — высшую для женщин России того времени награду.

Умерла Екатерина Федоровна в 1849 году, в возрасте восьмидесяти лет, окруженная всеобщим почетом и уважением. Похоронена она рядом с мужем Василием Васильевичем в селе Полуэктове под Рузой.

* * *

В мае 1788 года Екатерина II сообщала Потемкину: «Любезный друг, князь Григорий Александрович. Вчерашний день великая княгиня родила дочь, которой дано мое имя, следовательно, она — Екатерина».

Римляне говорили: «Nomen est omen» (имя — это предзнаменование).

Сиятельная бабка встретила появление на свет очередной внучки без особой сентиментальности. Особ женского пола, рождавшихся возле трона, она считала существами бесполезными, обреченными на тусклую и бесцветную жизнь.

Впрочем, императрица, против обыкновения, принимала самое деятельное участие в крестинах. К купели же новорожденную поднесла Екатерина Романовна Дашкова. Трудно в хлопотах двух великих женщин возле новорожденной тезки не увидеть особого знака судьбы, сигналившего из бездны мирозданья: для этой крошки природа вывернет наизнанку все карманы с щедрыми дарами, ничто тусклое и бесцветное не коснется ее. И лишь прихотливая, недоступная человеческому разуму игра судьбы — или игра случайностей? — не позволит этой Екатерине сделать девятнадцатый век продолжением века восемнадцатого, века женщин на русском престоле.

Стоило Багратиону умереть, как его вещи были тщательно досмотрены. Делалось это по прямому указанию Александра I. Более всего императора интересовала переписка генерала с его сестрой. Писем не нашли, но из портфеля Багратиона вынули три миниатюрных портрета: императрицы Марии Федоровны, жены Екатерины Павловны Скавронской-Багратион. И наконец, еще одной Екатерины Павловны, но Романовой, — младшей царской дочери, сестры Александра I.

Если бы не этот портрет — подаренный? — если бы не приглушенные голоса прошлого, намеком, полусловом, но все же обмолвившиеся о потаенной любви Багратиона, — едва ли бы знали о ней. Во всяком случае, в жизнеописании Екатерины Павловны Романовой, принцессы Вюртембергской, о романе над светлыми водами Славянки нет ни слова. Но именно та тщательность, с которой старались «развести» имена генерала и императорской сестры, служит лишним доказательством того, что было о чем стараться.

Царская дочь Екатерина Павловна

Екатерина Павловна Романова была четвертой из дочерей императора Павла I и его супруги Марии Федоровны.

Природа сделала все, чтобы выделить ее из вереницы как бы не отличимых друг от друга принцесс. То, что обычно мешает женщине дерзать, едва подросшей Екатерине было чуждо: «...робость совершенно ей несвойственна; смелость и совершенство, с которым она ездит верхом, способны возбудить зависть даже в мужчинах». И склад ума у Екатерины был мужской: резкий, критический, легко постигавший сложные понятия в самых разных сферах.

«...В ней нет нисколько женской пустоты, религиозной сентиментальности, она обладает... особенною силой мышления; в ее взоре светятся чистые мысли, высшие интересы», — отмечали соотечественники. А один из послов, убедившись во влиянии Екатерины Павловны на всю императорскую семью, доносил своему правительству, что это «принцесса, обладающая умом и образованием, сочетаемым с весьма решительным характером».

Внешность младшей царской дочери заставляла, раз увидев ее, уже не забыть всю жизнь. В мае 1807 года ее среди прочих членов царского семейства случайно повстречал в Павловске известный театрал и бытописатель С.Жихарев. Он записал в своем дневнике: «Великая княжна Екатерина Павловна — красавица необыкновенная; такого ангельского и вместе умного лица я не встречал в моей жизни, оно мерещится мне и до сих пор...»

«Она была совершенная красавица, — вторит Жихареву его современник, — с темными каштановыми волосами и необыкновенно приятными добрыми карими глазами. Когда она входила, делалось как будто светлее и радостнее».

Однако не одним внешним совершенством отметила природа младшую царскую дочь. И не только характером, глубоким, сильным и самобытным. Девушка обладала недюжинными способностями, и, казалось, ее ждал блестящий результат во всем, за что бы она ни бралась. Если она рисовала, то это вовсе не походило на дилетантские упражнения. Ее картины отличались такой профессиональной зрелостью, что люди, понимавшие в этом, говорили: «Не будь она дочерью императора, она в Италии была бы величайшей художницей». Современники отмечали ее незаурядное мастерство рассказчицы, искусство вести увлекательную живую беседу и, чем могли похвастаться немногие из представительниц высшего света, прекрасное владение русским языком!

Багратион знал Екатерину, когда та была еще подростком. С 1800 по 1811 годы на него, шефа лейб-гвардии егерского полка, возлагалась охрана царской семьи, выезжавшей из Петербурга на летние месяцы.

Лагерь разбивался в непосредственной близости от загородных резиденций, сначала Гатчины, затем Павловска. Шла обычная военная жизнь: маневры, ученья, вахтпарады. В то же время пикеты и разъезды егерей круглосуточно следили за территорией, примыкавшей к дворцам. Записывали имена людей, оказавшихся поблизости, проверяли документы, подозрительных направляли к коменданту Багратиону, если только он не находился в боевом походе.

Очевидно, что деликатная обязанность стража и телохранителя ставила Багратиона в особое положение. Она сближала его с венценосной четой и их детьми. Если Павел I благоволил к генералу за служебную безупречность, столь ценимую им, то на Марию Федоровну не могло не действовать обаяние человеческой натуры Багратиона. Этот неустрашимый, презиравший смерть воин в обыденной жизни был скромным, немногословным и сдержанным. Он жестоко страдал от критики и дворцовых пересудов. Ему, в частности, пеняли на отсутствие военного образования. В нем искали изъян, как во всяком, кто поднялся над заурядностью. Императрице легко было растолковать это огорченному герою, даря добрым и внимательным отношением. Он обречен быть чужаком среди тех, для которых жизненный интерес сосредотачивался на интригах, сплетнях, злословии. Багратион — другой. И это отводило ему в

глазах императрицы особое место. После убийства ее мужа, Павла I, порфироносная вдова видела в нем едва ли не единственного человека, кому могла доверить жизнь свою и своих детей. В то злополучное 11 марта 1801 года, когда под сводами Михайловского замка разыгралась кровавая драма, Багратиона не оказалось в Петербурге. Вынужденная была отлучка или нет — теперь уже едва ли удастся выяснить. Но в глазах потрясенной женщины, не беспричинно подозревавшей в кознях и злом умысле свое ближайшее окружение, Петр Иванович был чист. А это значило многое.

* * *

...Однако роман юной Екатерины и сорокалетнего генерала не мог не тревожить императрицу. Младшая дочь, с детства самостоятельная до дерзости, не раз создавала острые ситуации в семействе. Однажды еще девочкой-подростком она увлеклась человеком не их круга, заставив изрядно поволноваться родственников. Правда, Багратион был женат. Но для сумасбродной, умеющей настоять на своем Екатерины это ли препятствие? К тому же невозможно не заметить, что семейная жизнь генерала явно не задалась. Багратион словно вдовец при живой жене. И то благородное достоинство, с которым он несет крест одиночества, способно лишь добавить огня в пылкое сердце дочери. Да, генерал не обладает чертами Аполлона. Но как оригинально, выразительно его лицо! Какой истинной значительностью и редкой мужской статью отмечена его фигура! В темно-зеленом с красным мундире, в блеске эполет, Петр Иванович мгновенно притягивал к себе внимание, едва появившись в зале. Это была редкая птица: все знали и привыкли к тому, что место Багратиона на войне. Как привыкли к тому, что если суждено ему вернуться, то это будет возвращение героя, увенчанного еще одной победой.

Хорошо зная свою дочь, Мария Федоровна понимала, что именно такой человек может покорить ее сердце и воображение. И кажется, это уже произошло. Та особая приязнь, которой дарит Екатерина князя Петра, привлекает внимание не только родственников. Разве можно иначе истолковать дружеский упрек князя Куракина в адрес царской дочери, доведенный до сведения императрицы: «Умоляю, ваше величество, выразить от меня крайнее огорчение о том, что она до сих пор не почтила меня ни одной строчкой, между тем как Багратион получил от нее, как он мне сам говорил, уже три письма»...

Естественно, ничто так не могло обезопасить императорское семейство от нежелательных пересудов или даже вещей более серьезных, чем замужество Екатерины. В 1807 году для нее

планировалось три жениха: принц Баварский, принц Вюртембергский и один из сыновей эрцгерцога австрийского Фердинанда. Однако ни с одним из них дело до свадьбы не дошло.

В следующем году претендентом на руку прекрасной россиянки стал император Франции. Вероятно, ответ дошел до Наполеона в более мягкой форме, чем та, которую избрала Екатерина Павловна: «Я скорее пойду замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца». И все-таки, говорят, Наполеон был сильно раздражен.

1 января 1809 года Екатерина Павловна обручилась с принцем Ольденбургским, а 18 апреля состоялась свадьба. Императрица известила Багратиона о знаменательном событии, и он прислал молодым свои поздравления и свадебный подарок.

Принц Георг Ольденбургский приходился Екатерине двоюродным братом. Сын незначительного немецкого князька, состоявший на русской службе в чине генерал-майора, он ровным счетом ничем не был примечателен, составляя в этом плане разительный контраст со своей супругой. Назначенный тверским, новгородским и ярославским генерал-губернатором, он оставался как бы мужем своей жены. Впрочем, его губернаторство имело для Романовых ту несомненную выгоду, что надежнее всех венчаний отдаляло Екатерину от князя Петра...

Однако, как только наступало лето, Екатерина Павловна появлялась в Павловске. Их взаимная симпатия снова грозила стать притчей во языцех высшего света, тянувшегося сюда вслед за императорским семейством. Но теперь очередь волноваться, наблюдая бродивших по павловскому парку Багратиона и Екатерину, настала для ее старшего брата, Александра I. Что составляет предмет их долгих разговоров? У нового императора, взошедшего на трон, переступив труп отца, был свой резон интересоваться тем, что стоит за сближением его сестры и боевого генерала. Накатывавшие события заставляли его поневоле быть подозрительным. После заключения мирного договора с Наполеоном он услышал ропот недовольства и осуждения своих подданных. Да что подданных? Родная и любимая сестра высказала ему немало горьких слов и упреков в неумении отстоять интересы России. Само по себе это могло и не особенно волновать его. Так, небольшие семейные распри. Но когда он понял, что Екатерина сделалась фигурой весьма популярной в обществе, настроение его изменилось. Близость к ней генерала, в руках которого была реальная военная сила, способная подняться по его единому слову, становилась опасной. Александр умел прятать свои истинные чувства, но теперь

неприязнь к Багратиону поселилась в нем прочно. Он подозревал его в сговоре с сестрой, в выжидании момента, когда можно будет покончить с ним. И, надо сказать, донесения шпионов, оседавшие у него на столе, подтверждали его самые мрачные предположения.

Шведский посол граф Стединг писал своему королю о том, что в обеих столицах открыто обсуждается вопрос о замене царя: «...доходит даже до утверждений, что вся мужская линия царствующей семьи должна быть исключена, и, поскольку императрица-мать, императрица Елизавета не обладают надлежащими качествами, на трон следует возвести великую княгиню Екатерину».

Той же осенью 1807 года, когда составлялось это донесение, было перехвачено письмо, посланное неизвестным корреспондентом в Россию, содержание которого, однако, не оставляло сомнений в готовящемся на Александра I покушении.

«Разве среди вас больше нет ни П..., ни Пл..., ни К..., ни Б..., ни В...?» — спрашивал анонимный автор, и в начальных буквах сокращенных слов легко угадывались имена лиц, принимавших участие в убийстве Павла I: Палена, Платона Зубова и других.

«...Говорят, что русский император будет убит», — в письме, датированном 1 сентября 1807 года, пишет Наполеон.

Итак, мысли о смещении монарха носятся в воздухе, как и имя той, что обладает «надлежащими качествами», чтобы заменить развенчавшего себя в глазах общества Александра и стать новой императрицей — Екатериной III. Это — Екатерина Павловна Романова.

В какой мере слухи о перевороте, вновь открывавшем путь на русский трон женщине, имели под собой реальную основу? Этот вопрос остается до сих пор не выясненным. Главная трудность здесь в отсутствии документов, подтверждающих существование заговора. Но ведь бумаги, содержащие такого рода сведения, горят в первую очередь.

Как бы там ни было, но несомненно то, что общность взглядов на вещи, принципиально важные для них, лишь усугубила взаимную симпатию Багратиона и Екатерины. Что же было — это принципиальное? В первую очередь Россия. Со всем клубком трудных, порой трагических ситуаций преднаполеоновской поры и самой эпохи 12-го года.

Н.М.Карамзин, связанный с Екатериной Павловной узами дружбы и душевного расположения, говорил о ней: «Она русская женщина», подчеркивая ее патриотичность, чувство глубокой личной заинтересованности во всем, что происходит в государстве. То же самое можно отнести и к Багратиону. Он,

грузин по рождению, пожалуй, один из самых «русских» генералов, если понимать под этим готовность ради интересов России забыть самого себя, идти на любые жертвы, лишь бы она — жила, процветала...

Тильзитский мир, уступчивость Александра раздражали Багратиона. Ему было легче умереть на поле боя, чем поставить под сомнение неоспоримость российского могущества, престиж суворовских «чудо-богатырей». Сестра царя в этом вопросе его полная, безоговорочная союзница. Ее мнения по поводу внешней политики России существенно отличались от того, чего придерживался Александр I.

Разве могло это — жгучее и больное — не быть предметом разговоров в безмятежных аллеях Павловска? Разве только одно взаимопонимание, единение мыслей и чувств не способны дарить минуты душевной близости?

И все-таки Александра мучил вопрос: мечтала ли сестра о лаврах Екатерины Второй? Отводила ли она Багратиону роль Орлова в грядущем перевороте? Узнав о смерти Петра Ивановича, царь обратился к генерал-лейтенанту С.И.Салагову, бывшему доверенным лицом Багратиона, с прямым вопросом: нет ли в бумагах покойного писем его сестры, компрометирующих высочайшую фамилию? Салагов не замедлил сообщить Александру I результаты выполнения «всевысочайшего поручения отыскания записок». Сначала он поделился с царем недоумением: против обыкновения, Багратион, отправляясь в Житомир, захватил с собой шкатулку, в которой хранил личные бумаги. Раньше он этого не делал, и переписка, по-видимому, хранилась у Салагова. После житомирской поездки «записок» Салагов не обнаружил. А то, что он знаком был с их содержанием, следует из его собственных слов: «Верьте мне, всемилостивый государь, что оные ничего в себе, кроме одной детской игрушки, не составляли». Дабы убедить императора в абсолютной безобидности писем его сестры к Багратиону, Салагов прибавляет: «Я и по днесь не могу понять, ради каких причин он и тогда хранил записки».

Едва ли царя могли успокоить замечания относительно «детской игрушки». Он, конечно, предпочитал бы сам определить важность написанного. Но как быть? Салагов уверял, что «записки» сожжены Багратионом в Житомире.

И все же император не мог успокоиться. А вдруг Багратиону и Екатерине удалось увидеться еще раз? И не был ли Багратион в Твери?..

* * *

Тверь вступила в свою золотую пору с момента появления

здесь Екатерины Павловны. Она стала тем вдохновительным началом, от которого все закипало вокруг, шло в рост: промышленность, просвещение, градостроительство, общественная жизнь.

Яркая фигура «тверской полубогини» привлекла сюда целое созвездие российских знаменитостей, деятелей культуры и искусства, крупных чиновников. Дорога в Тверь стала накатанной и для императора, который, стараясь заглушить подозрения, испытывал все-таки постоянную потребность в общении с сестрой. Ум, осведомленность и интуиция Екатерины Павловны делали ее незаменимой советчицей. Еще до начала вторжения Наполеона Александр I обсуждал с сестрой ход будущих военных действий. Они оба отдавали себе отчет, что схватка будет жесточайшая. Что противопоставить этому? По их общему убеждению — твердость. Твердость духа. Твердость руководящей руки.

Тем не менее, когда началась война, Александр продемонстрировал растерянность и нерешительность. Екатерина отчетливо понимала, что армия несет жестокие потери из-за бездарного руководства. Почему война, давно предупреждавшая о себе раскатами грома, застала все-таки врасплох? «...Куда же нас вели, когда все разгромлено и осквернено из-за глупости наших вождей?» — прямо и недвусмысленно обвиняла брата Екатерина. «Наши вожди» — это в первую очередь император. Хочет ли он знать, каково отношение к нему его подданных? Они «презирают своего вождя». Екатерина не скрывала, что разделяет это мнение, как ни горько в этом признаваться. Понимая, какое раздражение ее женское суждение может вызвать у царственного брата, добавляла: «Вам не следует указывать на то, что все это не по моей части, — лучше спасайте вашу честь, подвергающуюся нападкам...»

А где-то на западе дерется Багратион. И голова его полнится теми же мыслями, что и у женщины, портрет которой в золоченом футляре неразлучен с ним.

Его мучает вопрос: что стоит за постоянными приказами отступать? «Ретироваться трудно и пагубно. Лишается человек духу, субординации, и все в расстройку. Армия была прекрасная; все устало, истощилось». Не привык Багратион отступать: «...право, худо и стыдно мундир носить, право, скину его...»

Екатерина Павловна, по ее собственным словам, жалела, что не родилась мужчиной. Это преградило ей дорогу на арену военных действий. Но, будучи человеком не слов, а дела, она внесла свою лепту в организацию сопротивления Наполеону. Была создателем тверского ополчения, взяв на себя и

материальные издержки, и организационные хлопоты. По отзывам современников, «блистательный и резкий ум» Екатерины Павловны выдвинул ее в немногочисленные ряды тех, кто ратовал за партизанскую войну, кто не боялся дать оружие в руки каждому, способному свести счеты с врагом. Траурную черную одежду Екатерина сняла только тогда, когда русские вошли в Париж.

26 августа 1812 года, в день Бородинской битвы, когда был смертельно ранен Петр Иванович Багратион, Екатерина родила второго сына. Мальчика назвали Петром...

Багратион был уже погребен, когда Екатерина получила письмо от императора, где ни словом не было упомянуто о заслугах генерала-героя перед Отечеством. Напротив, Александр I писал о «грубых ошибках» Багратиона, ставших, по его мнению, «отчасти причиной наших неудач».

Неужто прогулки сестры с подозрительным генералом в Павловске не забылись?

Недолгую жизнь — всего тридцать лет — прожила Екатерина Павловна. Жребий ее был не слишком счастлив: вдовство, безрадостное второе супружество с принцем Вюртембергским, жизнь на чужбине, в разлуке с родиной, которую так любила. Похоронили ее в Штутгарте.

За две недели до смерти к ней заехал повидаться брат, Александр I. Это было похоже на последнюю улыбку судьбы. Напоминание о России, юности, надеждах и мечтах, которым не суждено было сбыться. Там оставался Павловск и его аллеи, по которым она бродила с генералом в золотых эполетах, как будто спеша наговориться с ним на всю оставшуюся жизнь.

Три Екатерины не принесли счастья. Они лишь прикоснулись к большой громоподобной судьбе и, словно чего-то испугавшись, поспешили отойти в тень. Как жаль! Как жаль...

Наверное, у этих женщин было особое предназначение: дать возможность «воину Петру» почувствовать себя любящим, а значит, познать мудрость и полноту жизни. Кто же осмелится сказать, что это — малость?

ПОРТРЕТ ИЗ МУЗЕЯ ОРСЭ

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.
Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.

Е.Баратынский

...Я наблюдала: мимо нее не проходил никто. Как и всякая красавица, эта женщина притягивала взгляд, но в отличие от живой — к ней можно было подойти и разглядывать сколько угодно. Так и делали. Вездесущие японцы окружили большой, почти в человеческий рост, портрет, уткнулись в табличку и тем, кто не мог подойти ближе, восхищенно передавали: «Барби, Барби!..»

Я усмехалась про себя, вспоминая резиновую куколку с гнущимися так и сяк ногами-руками, которую любит наша женская малышня. Мне хотелось сказать им: «Никакая она не Барби, а Варвара... Это совсем другое дело». Бог знает, отчего было приятно, что возле Варвары туристический народ со всего мира суетится, головами покачивает, фотографирует и ей здесь, на берегах Сены, не особенно одиноко.

Казалось, что мы с красавицей из музея Орсэ поверх голов заговорщически переглядываемся: мол, знай наших! В конце концов, мы с ней — свои люди. Но уйти просто так, узнав одно лишь имя, я не могла.

Варвара Дмитриевна Римская-Корсакова

В научном отделе мне, правда, сказали уклончиво: нет, ничего особенного о ней не известно, кроме того, что дама эта, по фамилии Римская-Корсакова, была очень оригинальной. В том смысле, что давала пищу для разговоров, коих в Париже о ней ходило во множестве.

* * *

Дома — и это справедливо — мне удалось узнать о музейной незнакомке куда больше.

Девичья фамилия Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой — Мергасова. Это костромской дворянский род. Ничего более конкретного о волжских родственниках парижской красавицы неизвестно. Зато семья, куда она вошла невесткой, в истории русской культуры очень заметна.

Мария Ивановна Римская-Корсакова нам уже знакома. Ее младший сын Сергей женился на двоюродной сестре Александра Сергеевича Грибоедова, Софье Алексеевне. Грибоедов хорошо знал всех Корсаковых. Он списал с них многих героев «Горя от ума», а Софья Алексеевна, по некоторым сведениям, стала прототипом главной героини пьесы — тоже Софьи.

Вот у этой-то четы в 1829 году родился сын Николай, которому назначено было стать супругом нашей красавицы. Супруг — дело серьезное, и о Николае Сергеевиче, стало быть, надо сказать особо.

Был он очень красив — это отличительное свойство мужчин Корсаковых, один из которых был фаворитом Екатерины II. Отсюда титулы, почести, богатство, которое перепало вдоволь и

упомянутой Марии Ивановне. Но когда бабушка увлекается балами, волей-неволей за это расплачиваются внуки. Подраставшему Николаю Сергеевичу плясать до рассвета надо было уже с осторожностью. А этого в нем не наблюдалось. Как писали, «на рубеже новой эпохи в последний раз ярко вспыхнула легкая кровь Марьи Ивановны в ее внуке».

Выпускник Московского университета, гусар, обаятельный, веселый, душа нараспашку, всегда с гурьбой приятелей, отличный танцор, элегантный, гроза московских барышень — таков был Николай. На всю Москву шла слава об особых, костюмированных балах, которые ввел в моду отец юного Николая, Сергей Александрович, приглашая на них московскую молодежь. Каждый здесь мог проявить свою фантазию, а девицы являлись в костюме, который особенно подчеркивал их очарование.

Не из дома ли Корсаковых вынесла Варенька Мергасова пристрастие к маскарадным эффектным одеяниям? Ездила она туда сначала просто гостьей, потом невестой и в конце концов обосновалась там как жена Николая Сергеевича.

Варенька Мергасова считалась завидной партией. Она была очень богата. Но нет ни малейшего подозрения в том, что ее богатство сыграло в этом браке какую-то роль.

Вообще, все, что рассказано о Николае Корсакове, рисует его в симпатичном свете, хотя, как писали, «жизнь его сложилась как-то беспутно». Он окончил Московский университет. В двадцать один год был выбран предводителем вяземского дворянства. Но непоседе на месте не сиделось. Началась война, Николай бросил свое предводительство и пошел в самое пекло, в Севастополь. Здесь князь Горчаков берет его себе в ординарцы, причем просто рядовым, что также примечательно. В скромной этой должности Николай Корсаков получает Георгиевский крест. Он постоянно играет со смертью, его видят в самых опасных местах. Из рядовых его производят в офицеры.

Однажды Корсаков был послан с донесением о какой- то победе к императору Александру II. По традиции, его ждало повышение по службе, и, провожая Николая, товарищи уже поздравляли его. Но в Петербурге вышло то, что и должно было выйти, если учесть прямодушный характер Корсакова.

Государь спросил:

— В чем нуждаются в данное время в Севастополе?

— Да пороху не хватает. Так, глядишь, все там помрем.

— Не может быть! — гневно воскликнул Александр.

— Так точно и есть, ваше императорское величество!

Разумеется, государь был раздосадован. Корсаков сказал то, чего тот не хотел слышать. Но пришлось. Гонца с фронта послали

к военному министру. Тот, получив взбучку от царя, готов был испепелить Корсакова взглядом. Обратно Николай Сергеевич прибыл не только без наград и повышения, но и с бумагой к князю Горчакову, где, между прочим, было рекомендовано впредь таких курьеров не присылать.

Корсакова ничуть не обескуражил такой поворот дела. Он продолжал по-прежнему честно и самоотверженно служить. После Севастопольской кампании перешел в гвардию лейб-гусаров. Старой веселой жизнью пахнуло снова: без Корсакова не обходился ни один бал, он всех знал, и его все знали, он умел зарядить любое общество весельем, дирижировал танцами, ухаживал за хорошенькими женщинами.

***

Свадьба Николая Римского-Корсакова и Варвары Мергасовой состоялась 20 мая 1850 года. Первенец молодоженов, если верить документам, опубликованным в «Пензенском временнике любителей старины» за 1891 год, родился через три месяца после свадьбы, в августе того же года. Николаю тогда минуло двадцать лет, а Варваре было шестнадцать. В 1853 году у супругов родился второй ребенок — сын Николай, через два года — Дмитрий.

Варвара Дмитриевна расцветала нежным цветком, шила себе эффектные наряды — бархат, газ, шелк, украшения, — все это так шло к ее облику, несмотря на частые роды, не терявшему почти девичьей свежести. Она была в моде, как и ее муж.

...«С кем мы не знакомы? Мы с женой как белые волки, нас все знают», — говорил Егорушка Корсунский Анне Карениной, приглашая ее на вальс. Толстой описывает его не без иронии — «лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина». И прибавляет: «Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского...»

Так по воле Льва Толстого Варвара и Николай Римские-Корсаковы под фамилией Корсунских попали в «Анну Каренину».

* * *

Франсуа-Ксавье Винтерхальтер — мало известный в России художник, несмотря на то, что в Эрмитаже хранится не так уж мало его работ. Тем не менее в середине XIX столетия он считался одним из ведущих портретистов Европы. Надо сказать со всей определенностью — кисть художника откровенно отдала себя европейской аристократии. Поэтому его творения — это длинная вереница императоров, императриц, титулованных младенцев, родовитых дам и кавалеров. Легко понять, почему все они так настойчиво хотели быть увековеченными именно Винтерхальтером. Настойчиво — вплоть до слез, обид, обвинений

друг другу в нарушении очереди.

Франсуа-Ксавье талантливо передавал портретное сходство. Если он и льстил, то тактично. Он умел виртуозно писать ткань, мерцание жемчуга, блеск драгоценностей, роскошь кружев и лент, а для какой женщины пустяк то, в чем она села позировать художнику? Винтерхальтеру с его высочайшей техникой легко было передать и шелковистость волос, и блеск глаз.

Разумеется, именно это ему могли поставить, да и ставят в упрек — «слишком натурально», «салонно», «искусство для искусства». Но давайте зададим себе вопрос, хотели бы мы видеть сейчас портрет Варвары Дмитриевны в чьем-нибудь ином исполнении? И захотелось бы нам в этом случае идти по следам ее судьбы?..

Жизнь двоих, счастливая или нет, всегда тайна. Редкая женщина сама точно скажет, с чего, с какого момента что-то случилось, разладилось в таинственной связи с избранником.

Между тем чаще всего измена — это финал, а не увертюра, скорее, итог душевной маеты, разлада, накопленных обид, неосуществленных желаний. И наверное, не стоит гадать о причине разлада между супругами Корсаковыми, тем более что дневников и писем — того, где человек бывает всегда откровеннее — от них не осталось.

Есть, правда, глухое упоминание о том, что у Николая Сергеевича была дуэль из-за жены. Стрелялся он с лейб-гусаром Козловым, в чем-то похожим на него, бонвиваном, любителем весело пожить, которого вся Москва звала на французский манер — «le Prince».

На поединке Козлов тоже чудил. Заметив, что тот медлил подойти к барьеру, Корсаков взорвался: «Да поскорее вы! Подходите!» Козлов хладнокровно отвечал: «Я забыл калоши, боюсь промочить ноги». Когда же Корсаков, рассвирепев, снова закричал на него, тот добавил: «Я готов рисковать жизнью, но не желаю схватить насморк».

Но дуэль есть дуэль. И господа играли со смертью. Козлов выстрелом в грудь ранил Корсакова. Тот упал. Думали, рана смертельна, но пуля, скользнув по ребрам, засела возле позвоночника. Ее вынули простым надрезом ножа.

Корсаков тоже успел сделать выстрел. Козлов был ранен, но неопасно. Оба попали под суд, не слишком, однако, строгий.

И все-таки военная карьера Корсакова оказалась под угрозой. Он счел за лучшее выйти в отставку, где, как говорили, «щеголял уже в штатском платье, лишь изредка надевая придворный мундир, ему пожалованный, со своим Георгиевским крестом».

Видимо, дуэль повлекла за собой и окончательный распад

семьи. Николай Сергеевич из-за своих расстроенных материальных дел от развода многое терял, но это его не остановило. Варвара же Дмитриевна, и прежде навещавшая Францию, теперь перебралась туда окончательно.

* * *

Это было время, когда на французском троне сидел племянник Наполеона Бонапарта — Наполеон III. Он словно задался целью ослепить всю Европу роскошью своего двора, которая у людей с тонким вкусом вызывала раздражение. Все было чересчур, перегруженно, всему изменяло чувство меры. Появились подделки «под мрамор», «под золото».

Женщины явно усердствовали в обилии драгоценностей. Пример подавала сама императрица Евгения Монтихо, отчаянная щеголиха, ревностно относившаяся к впечатлению, которое производила ее красота — действительно замечательная! — на окружающих. Она изобретала одно развлечение за другим, лишь бы была возможность про демонстрировать изысканные, но слишком затейливые туалеты и себя в них. В ней говорило ущемленное самолюбие женщины, муж которой собрал себе целый гарем из актрис и ловил любой момент, когда в обычном костюме можно будет покинуть Тюильри, чтобы как частному лицу отменно повеселиться. Но, поневоле терпя соперниц на стороне, императрица Евгения не могла терпеть, чтобы в собственном дворце оказался кто-то ослепительнее нее. В такой вот ситуации и произошла история, о которой говорил весь Париж.

На один из костюмированных балов зимой 1863 года Римская-Корсакова явилась в костюме жрицы Танит — произведение Флобера «Саламбо» было тогда в большой моде. Весь наряд Варвары Дмитриевны состоял из наброшенной газовой ткани.

Разумеется, ее великолепная фигура предстала перед восхищенными взорами завсегдатаев Тюильри почти что во всей своей первозданности. Гости замерли. Лицо Евгении пошло красными пятнами. Через несколько минут к Корсаковой подошли жандармские чины и предложили ей покинуть дворец.

Скандал вышел на славу. Варвара Дмитриевна удивляла всех своей красотой, теперь удивила своею дерзостью. Тюильри было не единственным местом, где она продемонстрировала милые новшества своих одеяний. На курорте в Биаррице сотни глаз наблюдали, как русская нимфа выглядела так, «как будто только что вышла из ванны». Тут есть, вероятно, доля преувеличения, однако мадам Корсакова действительно своими смелыми костюмами и наготой прекрасного тела противопоставляла себя

претенциозной вычурной моде, которой следовали при наполеоновском дворе.

Что-то буйное, страстное бродило в этой женщине и, не находя выхода, лишь иногда прорывалось наружу причудливым, фантастическим маскарадом. Однажды на балу, состоявшемся в Министерстве морского флота, Варвара Дмитриевна появилась на колеснице, которая была удивительна тем, что возница был наряжен в костюм крокодила. Сама же она стояла наверху, одетая в наряд дикарки. Разноцветные перья и лоскуты ткани, облегавшие ее фигуру, позволяли собравшемуся обществу оценить, как писали, «самые совершенные ноги во всей Европе».

...Варвара Дмитриевна, наверно, была самой дерзкой фигурой, но отнюдь не единственной среди русских женщин при дворе Второй империи. Наравне с ней блистали красотой, изысканной роскошью нарядов и умопомрачительными бриллиантами графиня Толстая, дочь князя С.В.Трубецкого — графиня де Морни. Вокруг них словно образовывалось магнитное поле, которое притягивало поэтов, художников, искателей приключений. Здесь разбивались сердца, совершались безумства, вспыхивали романтические истории, легенды о которых потом передавались из поколения в поколение.

Мудрено не задаться вопросом: почему именно они? Откуда эти замашки владычиц мира у рожденных в рабской стране?

Александр Дюма-сын, сам женившийся на зеленоглазой красавице Нарышкиной, восхищался русскими дамами, которых «Прометей, должно быть, сотворил из найденной им на Кавказе глыбы льда и солнечного луча, похищенного у Юпитера... женщинами, обладающими особой тонкостью и особой интуицией, которыми они обязаны своей двойственной природе азиаток и европеянок, своему космополитическому любопытству и своей привычке к лени».

Он, знаток женщин, их поклонник, друг и беспощадный судья, считал дочерей России «эксцентрическими существами, которые говорят на всех языках, смеются в лицо всякому мужчине, не умеющему подчинить их себе... самками с низким певучим голосом, суеверными и недоверчивыми, нежными и жестокими. Самобытность почвы, которая их взрастила, неизгладима, она не поддается ни анализу, ни подражанию».

Никакая цитата не кажется длинной, если это попытка мужчины понять природу женщины, да еще из такой страны, как Россия.

* * *

Парижский портрет Варвары Дмитриевны написан Винтерхальтером в 1864 году. Белая с голубыми лентами накидка

лишь создает иллюзию платья. И тут же двойственное впечатление: Варвара Дмитриевна кажется и обнаженной, и закутанной одновременно. Нет никаких украшений, кроме капелек-серег в ушах. Эта естественная, отринувшая все мелочные ухищрения красота наводит на мысль о первородном грехе, о погибельном, неумолимом роке, противиться которому бессмысленно и бесполезно...

Между тем легко заметить, что лицо Корсаковой далеко не идеально. Ее называли во Франции «татарской Венерой». Широкие скулы, пухлые щечки, тяжелые, словно припухшие веки — это вовсе не примета богинь. В Корсаковой чувствуется уроженка волжских берегов, из века в век дававших пристанище и славянам, и калмыкам, и булгарам. Но это те недостатки, которые в гармонии с достоинствами создают образ совершенно своеобразный, оригинальный, а потому — незабываемый.

Есть что-то очень современное нынешнему веку в Варваре Дмитриевне. «Я вольна и самостоятельна, — говорит она. — Ошибки — это мои ошибки. Удачи — это мои удачи. Я верю в себя, я иду одна и не печалюсь этим». Возможно, это всего лишь догадка — ни одну из своих тайн Корсакова не пожелала нам оставить. Но человеческое «самостоянье» в ее портрете звучит мощным торжественным аккордом.

Можно лишь предполагать, какой смысл вложен в эпиграф написанной ею книги: «Лишения и печали мне указали Бога, а счастье заставило познать Его».

Книга ее была не пустяк. Вероятно, в библиотечных собраниях Франции она хранится до сих пор. Во всяком случае, те, кто видел в Корсаковой лишь модную, экстравагантную даму, были удивлены, писал князь Д.Д.Оболенский, хорошо знавший Варвару Дмитриевну.

Корсакова любила винтерхальтерский портрет. Он украшал обложку ее книги.

Портрет хранился на «вилле Корсаковых», в роскошном доме в Ницце, приобретенном Варварой Дмитриевной для себя и, по воспоминаниям, хорошо известном каждому русскому, приезжавшему на Ривьеру.

В конце концов сын Корсаковой, живший вместе с ней, Николай Николаевич, вынужден был продать это поместье. После смерти матери финансовые дела стали настолько неважными, что он, выросший во Франции и говоривший по-русски с акцентом, решил вернуться в Россию. Все-таки здесь у Корсаковых оставалась солидная недвижимость. Но барство сходило на нет, постепенно богатство просочилось меж пальцев. Так, заложенное и перезаложенное имение в Саранском уезде, совсем как в

«Вишневом саде», купил у Николая Николаевича купец Федор Умнов.

В России же сын Варвары Дмитриевны женился на Катеньке Араповой. Для нас эта фамилия небезразлична: дочь Натальи Николаевны Пушкиной от ее второго брака с Ланским вышла замуж в семью Корсаковых. Вероятно, в память матери Николай Николаевич Корсаков назвал свою дочь Варварой.

Прощаясь с «виллой Корсаковых» навсегда, Николай Николаевич продал портрет матери Лувру, где тот долго хранился, а затем был передан в музей Орсэ.

* * *

Стоит ли говорить, какой толпой поклонников была окружена Варвара Дмитриевна! Она, по словам Оболенского, умела «вселить сильную страсть». Был человек, имя которого Оболенский обозначил буквой «З». Его любовь к Варваре Дмитриевне не остудила даже ее смерть. А ей был сужден недолгий век. Умерла она сорокапятилетней. Тот человек, что ежедневно приходил к ней, живой, так же ежедневно продолжал бывать на ее могиле.

Так почему же Варвара Дмитриевна, красивая, вольная, смелая, все-таки не захотела устроить свою судьбу? Говорили, что, когда искатели руки особенно настойчиво осаждали ее, она смеялась над ними: «Да у меня муж-красавец, умный, прекрасный, гораздо лучше вас...»

Вот и пойми женское сердце.

КАТЯ ДЕСНИЦКАЯ, ПРИНЦЕССА СИАМА

Мне грустно, на тебя смотря,
Твоя не верится мне радость,
И розами твоя увенчанная младость
Есть дня холодного блестящая заря.
Где в двух сердцах нет тайного сродства,
Поверья общего, сочувствия, понятья,
Там холодны любви права,
Там холодны любви объятья!

П.Вяземский

Пожалуй, все в тот вечер были в нее влюблены: и желтые фонари, освещавшие каток, и снежинки, кружившие в ритме вальса с ностальгическим названием «Невозвратное лето», и старый капельмейстер, забывший про свой оркестр, и гимназисты, с завистью глядевшие на танцевавшего с девушкой счастливца. И сам счастливец, и даже его маленький брат Костик, неотрывно следивший за плавным кружением пары. В самом деле, не мог же этот Костик тогда знать, что много лет спустя он станет известнейшим писателем Константином Паустовским и ему захочется написать об удивительной судьбе юной синеглазой девушки, что танцевала под звуки «Невозвратного лета» на городском катке.

Летом 1897 года король Сиама, нынешнего Таиланда, совершая путешествие по Европе, прибыл в Санкт- Петербург. Здесь его радушно принял Николай II. Аудиенция была лишена официальной холодности. Русский царь с удовольствием вспоминал, как, будучи еще наследником, гостил в Сиаме. Путешествие по странам Востока вышло далеко не безоблачным, но Бангкок тогда ничем не омрачил настроение будущего монарха.

И сейчас в дружеской беседе, желая подчеркнуть свое расположение, Николай II предложил высокому гостю направить одного из сыновей на учебу в Петербург.

Выбор короля пал на второго сына от любимой жены королевы Саовабхи. Весной юный принц Чакрабон прибыл на берега Невы. Он был зачислен в императорский Пажеский корпус, где учились исключительно сыновья российской дворянской элиты. Обучение здесь было поставлено на широкую ногу. Юноши

не только получали солидную военную подготовку, но и выходили из корпуса высокообразованными и отлично воспитанными людьми.

Сиамский принц соединял способность с прилежанием. Блестяще окончив Пажеский корпус, из которого вышел гвардейским гусаром, Чакрабон продолжил учебу в Академии Генерального штаба и получил звание полковника русской армии. Жизнь сиамского принца-гусара ничем не отличалась от жизни петербургской «золотой молодежи». Балы, танцы, маскарады, театральные премьеры. Он с азартом принимал участие в веселой кутерьме богатых жителей столицы. Лишь по воскресеньям Чакрабон отлучался в посольство Сиама. Оно, кстати, располагалось совсем неподалеку от Зимнего дворца, где принц, вверенный попечению царской семьи, имел свои апартаменты.

В 1905 году на одной из молодежных вечеринок принц встретил рыжеволосую девушку, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Ни о ком и ни о чем с той поры наследник сиамского престола уже не мог думать: то была первая любовь, буквально сбившая с ног смуглолицего гусара русской императорской гвардии.

В отличие от Чакрабона Катя Десницкая оказалась в Петербурге не от жизненных щедрот. Ее отец, главный судья в Луцке, умер, когда девочка была совсем маленькой. Мать вместе с Катиным братом Иваном переехала поближе к родственникам, в Киев. Но скоро умерла и она. Брат и сестра заняли немного денег у своего дяди и перебрались в Петербург, надеясь пристроиться в столице. Но время было тревожное — шла русско-японская война. Катя, окончив курсы медсестер, решила ехать на фронт.

Встреча с настоящим, хоть и сиамским принцем не оставила, видимо, ее равнодушной. Но ехать — так ехать. На фронте Катя ухаживала за ранеными, зная, что, воротясь после дежурства в свою комнату, обязательно найдет очередное любовное послание от безутешного выпускника Академии Генштаба. Принц писал просто, наивно, искренне:

«Мне никто не нужен, кроме тебя. Если бы ты была со мной, все было бы прекрасно и ничто не могло бы омрачить моего счастья». Катя читала, и изящная фигура тоскующего принца вставала перед ее глазами. В своих письмах к нему она называла его по-сиамски «Лек», что значит «маленький». Разлука доказала ей, что принц вошел в ее жизнь нешуточно. Лек же только ждал возвращения Кати с фронта, чтобы окончательно соединить их судьбы.

* * *

Чакрабон вполне отдавал себе отчет, что решение жениться на Кате сулит ему большие семейные осложнения. Ведь он бросил вызов многовековой традиции.

В сиамской королевской династии было принято брать себе жен из большой и разветвленной родни. Он же приближал к трону неродовитую иностранку. Кроме того, сиамские владыки имели ровно столько жен, сколько им было угодно. Сам принц был сороковым ребенком своего отца. Брак же с Катей, само собой, мог быть только моногамным. Но кто в пору отчаянной молодой влюбленности может представить кого-то другого на месте своей избранницы?

Принц исповедовал буддизм, Катя была православной. Это весьма существенное препятствие принц устранил с той решимостью, на которую толкает искренняя нерассуждающая страсть: если Кате угодно, он сделает все, чтобы согласно ее вере их брак оказался законным, вечным, скрепленным Господней милостью.

Однако план венчания был разработан влюбленными в глубокой тайне: они опасались непредвиденных помех, устранить которые будет уже не в их власти. О замысле Лека и Кати знали только друг принца, вместе с которым того прислали в Петербург, и брат невесты Иван.

Дабы ничто не сорвалось, заговорщики отправились не куда-нибудь, а в далекий Константинополь. Там, в одной из греческих церквей, их и обвенчали по православному обряду. Медовый месяц молодые провели на Ниле. Далее их путь лежал в Сиам. Леку, опьяненному близостью обожаемой женщины, не портила настроение сулящая мало хорошего скорая встреча с родней. Женщины взрослеют быстрее, и Катя подумывала о грядущем не без смутной тревоги.

«Боюсь, что в Сиаме мне будет ужасно трудно, — писала она вернувшемуся домой брату. — Моя жизнь была слишком простая, чтобы я могла быстро приспособиться к такой ее перемене... Теперь, когда я стала лучше понимать, что мне предстоит, будущее уже не видится мне в розовом свете». Было решено, что, дабы подготовить почву для появления молодой жены перед родителями, принц сначала отправится в Бангкок один. Катя осталась в Сингапуре, где было жарко и душно до испарины, а главное — одиноко. «Мне кажется, что это настоящий ад», — писала Катя, мучительно проживавшая каждый день с надеждой, что завтра появится какая-то ясность.

В это время в Бангкоке тянулись долгие и утомительные торжества по случаю возвращения принца. Ему отвели прекрасный замок Парускаван, неподалеку от королевского

дворца. Шли дни, Лек мучился, понимая Катино положение, но, видимо, ситуация была такая, что он не решался заговорить о ней с родителями.

Тем временем кое-какие слухи достигли сиамской столицы. Инициативу выяснения сердечных дел сына взял на себя король: «Лек, я слышал, что у тебя жена европейка. Это правда?» Разговор оказался тягостным, но карты все-таки были открыты — скоро Катя появилась в Бангкоке.

Сказочные королевские дворцы, буддийские храмы и тропическое солнце, отражающееся в позолоте их кровель... Бангкок начала века был потрясающе экзотичен. Но только что приехавшей жене сиамского принца не удалось познакомиться с его достопримечательностями. На целый год Катя сделалась затворницей замка Парускаван: король с королевой отказались знакомиться с ней. Из этого следовало, что в Бангкоке не было ни единой семьи, ни единого дома, где принц мог бы появиться со своей женой.

Хорошо, что Парускаван был окружен большим садом — Катя разводила здесь цветы. В роскошных апартаментах дворца у нее появились любимые уголки, где она старательно учила тайский язык.

Ее выдержка и деликатность заслуживают высшей оценки: Катя нашла в себе силы отойти в тень, не выказывая раздражения, не претендуя ровным счетом ни на что. Понятно, как нелегко это давалось. К тому же у Кати характер был достаточно твердый, самостоятельный и решительный. Разве все прежнее — жизнь в чужом Петербурге без малейшей опоры, поездка на фронт и даже само необычное замужество — не говорит об этом? Таким натурам нелегко дается компромисс, они обычно стараются переломить обстоятельства, а не подлаживаться под них. Остается предположить единственное — поведением незваной бангкокской гостьи руководило глубокое чувство к мужу, желание упрочить союз с ним.

«Блокада» была прорвана неожиданно. Что удивительно, инициатором этого стал не свекор Кати — мужчинам в таких случаях свойственна бОльшая, чем женщинам, снисходительность, — а свекровь. Быть может, именно безупречное поведение невестки — в том, что в Парускаване у королевы были свои «глаза и уши», не стоит сомневаться, — повлияло на ее решение сблизиться с избранницей сына. Как бы то ни было, но в один прекрасный день Лек услышал от матери, что ей хотелось бы, чтобы невестка носила не европейский наряд, а то, что принято у сиамских женщин, — брюки и блузку.

Катя не преминула воспользоваться шансом «навести мосты»:

«Не будет ли королева столь любезна, чтобы выбрать материю по своему вкусу?» Через несколько недель Парускаван увидел в своих стенах королеву Саовабху, приехавшую навестить жену сына. Это была безусловная Катина победа...

Екатерина Чакрабон-Десницкая с сыном Чулой

На одной из фотографий повзрослевшая Катюша Чакрабон-Десницкая, уже убравшая свои знаменитые косы в высокую «дамскую» прическу, изображена с очаровательным малышом в белом мундирчике с погонами. «Я родился 28 марта 1908 года, в субботу, в 11.58 вечера. Точное время известно потому, что отец весьма тревожился, что я появлюсь на свет в воскресенье. Он, как и его брат Вачиравут, родился в субботу, поэтому оба этой цепочке совпадений придавали некоторое значение. Отец следил по часам. Я весьма доволен, что мой первый поступок на этой земле не расстроил его».

Так вспоминал о своем появлении на свет Чула Чакрабон, что значит «Чакрабон-младший», — сын Кати и Лека. Кто был совершенно без ума от радости, так это королева Саовабха: родился ее первый и единственный внук. Чула, вспоминая безудержную бабушкину любовь, признавался, что стал «самым великим ее фаворитом». Бабка-королева полностью сосредоточилась на внуке, не желая принимать во внимание его родителей. Каждый день она должна была видеть мальчика, а когда тот подрос, брала его на ночь в свою спальню.

Король же оказался крепким орешком. Чуле исполнилось два года, когда тот впервые пожелал познакомиться с любимчиком королевы Саовабхи. Свидание превзошло все ожидания. Король растаял. «Сегодня видел своего внука… — говорил он жене, стараясь скрыть волнение. — Я его сразу полюбил, в конце концов он же моя плоть и кровь и внешне совсем не похож на европейца».

Король отнял у себя много счастливых мгновений, потому что, едва познакомившись с внуком и ни разу не увидев своей русской невестки, вскоре умер. На престол взошел старший брат Лека Вачиравут, который официально признал Катю супругой Лека, а Чулу — королевским принцем. Кроме того, воцарение неженатого бездетного брата давало Леку надежду на трон. Екатерина же Ивановна в этом случае становилась повелительницей Сиама…

Безусловно, рождение Чулы, официальное признание брака принца вдохнули в семейную жизнь супругов новую струю. Екатерина Ивановна заняла заметное положение в столичном обществе. Ее дворец Парускаван как бы соединил традиции Европы и Азии. Еду здесь готовили русские и сиамские повара. По желанию любимой жены Лек оборудовал дворец техническими новинками того времени. Он широко принимал гостей, да супруги и сами не засиживались дома. В 1911 году они совершили путешествие по Европе, их радушно встретили в Петербурге. Катя побывала в Киеве, где получила полное прощение от своего единственного дяди, не одобрявшего экстравагантного брака с восточным чужестранцем. Эти радостные киевские дни дали Екатерине Ивановне почувствовать то, что она старалась заглушить в себе: нет, Сиам не мог заменить ей родины, а роскошь Парускавана давила своей вычурностью и пышностью. По сути, заплети она свои волосы в две рыжие, сводившие с ума гимназистов косы и погляди на себя в зеркало, она бы подумала, что ее «сиамский роман» лишь сон. Даже организм Екатерины Ивановны отторгал новую родину. Записные книжки Лека спустя семь лет после брака начинают полниться пометками о нездоровье жены. Порой это вызывает его досаду: жена уклоняется от путешествий, развлечений, ее словно тяготит образ жизни, который вполне устраивает его. Стоило жене сиамского принца покинуть Киев, где все ее помнили как Катюшу Десницкую, как в городе родилась легенда.

Константин Паустовский, хранивший в сердце прелестный облик синеглазой девушки, в своей повести «Далекие годы» спустя почти полвека писал: «Придворные ненавидели королеву-иностранку. Ее существование нарушало традиции сиамского двора… Они решили отравить королеву, поправшую древние

привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике. На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Десницкая — молодая королева Сиама».

* * *

Екатерине Ивановне не было суждено стать королевой Сиама. Но злодеи придворные и битые электрические лампочки были тут ни при чем. То чувство, которое прежде наперекор всему делало Катю и Лека счастливыми, стало тускнеть и истончаться. Драматичность положения Кати усугублялась тем, что семейные нелады застали ее в чужой стране, с чужим языком, без тех людей рядом, которых принято называть «своими».

Самому ли принцу приглянулась принцесса Чавалит, или придворные решили, воспользовавшись моментом, «заменить» чужестранку — неизвестно.

...Миф о якобы ничего не подозревающих женах наверняка придуман мужчинами, сомневающимися в женской интуиции: запах измены Катя уловила со страниц писем Лека. Они догоняли ее в путешествии, в которое она на сей раз отправилась одна. Муж писал о принцессе Чавалит как об очаровательном ребенке. Жена же обнаружила здесь шифрограмму задетого за живое мужского сердца.

Вернувшись, Катя должна была признать: у нее появилась соперница. Пятнадцатилетняя принцесса Чавалит, похожая на статуэтку, грациозная и веселая, действительно могла увлечь кого угодно. Лек, и раньше ничего не скрывавший от жены, писал ей, что проводит время в молодежной компании, где царствует Чавалит. Теперь же принц признался — он не может не видеть Чавалит. Но и Катю потерять не хочет.

Катя набралась мужества. Она не только не старалась изолировать мужа от Чавалит, но, напротив, прилагала все усилия, чтобы девушка была у него перед глазами. Катя приглашала ее в гости, они вместе отправлялись в кино, на прогулки верхом. Ей хотелось определенности. Лек должен решить, кто из двух женщин нужен ему. Она, Катя, не может быть ни первой, ни второй женой, а только единственной. «Я хочу всего-навсего сказать, что, как ни стараюсь, не могу понять твоих чувств единовременно к принцессе и ко мне. Где правда?.. Да, конечно, я тебя измучила в последнее время всеми этими вопросами, но и ты должен понять меня. В прошлом мы жили

действительно как один человек, разделяя и мысли, и чувства друг друга. У меня разрывается сердце, как подумаю, что ты хочешь жить иначе... Думай обо мне как о больном человеке, что ты единственное его лекарство... Лек, ты так мучаешь меня всем этим...»

Так писала Катя мужу, уединившись в загородном доме, где дожидалась решения своего будущего. Наконец, устав ждать, она вернулась в Бангкок. Здесь произошло последнее объяснение.

...Стояло лето 1919 года. Позади было двенадцать лет супружеской жизни и еще год мучительных раздумий, после которых июньским утром Катя сама поставила точку. Она исчезла из Бангкока, не попрощавшись даже с сыном. Через месяц принц Чакрабон подписал бумаги о разводе.

* * *

Несомненно, не случись революции, Катя вернулась бы в Россию. Ехать же туда сейчас было бы безумием.

Она поселилась в Шанхае, где включилась в работу по оказанию помощи беженцам из Совдепии. Здесь же Катя получила телеграмму о смерти Лека.

...Парускаван сделался прибежищем другой хозяйки — Чавалит. Ее признавали гражданской женой Лека, но брат короля отказался дать разрешение на брак. Леку пришлось пережить и потерю матери, королевы Саовабхи. В июне 1920 года он предпринял с Чавалит и Чулой переход на яхте в Сингапур. В море принц сильно простудился. У Лека сделалось воспаление легких, и, проболев две недели, он умер.

Уже на похоронах Лека Катя поняла, что Бангкок ее терпит с плохо скрываемым раздражением. Чулу, наследника трона, ей не отдадут. Во дворце так и заявили: здесь есть кому о нем позаботиться. Оставив двенадцатилетнего сына в Сиаме, Катя вернулась в Шанхай. Вскоре она вышла замуж за американского инженера по имени Гарри Клинтон Стоун и с ним перебралась в Париж.

Сын Кати так и не стал королем Сиама. После смерти отца его послали на учебу в Англию. Там Чула пристрастился к мотоспорту и в конце концов стал участвовать в гонках как профессионал. Его и его русскую маму, несмотря ни на что, соединяли чувства, в которых были и тепло, и нежность. Они постоянно переписывались. В своих письмах Екатерина Ивановна просила прощения у сына за его вынужденное сиротство и старалась объяснить ему, какие силы помешали им быть вместе. Об отце Чулы она вспоминала с неизменной любовью и уважением. Чула женился на англичанке, которая родила ему единственную дочь Наризу. Когда девочка выросла, то, бывая, а

иногда живя в Таиланде подолгу в загородном доме своих деда Лека и бабушки Кати, находила сундуки со старыми бумагами. Они проливали свет на семейные предания. В Англии вышла книга, где Нариза Чакрабон рассказала о необыкновенном романе сиамского принца и киевской гимназистки.

В прошлом году отмечалось столетие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В центральной газете «Бангкок-пост» появилась большая статья о принце Чакрабоне и его русской жене. Впрочем, какие книги, какие статьи могут соперничать с тем, что так мило, тонко и глубоко, так понятно для русского сердца и души написал чуть не полвека назад Константин Паустовский, вспомнив Катюшу Десницкую в городском саду заснеженного Киева.

НИМФЫ КОРОЛЯ ЛЮДВИГА

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.
Капризы ваши, шеи, губы, щеки,
смесь чудного коварства и проказ —
я вас воспела! Мы теперь в расчете!
Последний раз благословляю вас!
Б.Ахмадулина

Его величество ходил в потертом сюртуке, укорял слуг, что они слишком прожорливы, а в любовницах воспитывал бескорыстие, даря вместо дорогих побрякушек высокопарные оды. Да-с, все обстояло именно так, но король Баварский Людвиг I вовсе не был скрягой. Напротив, если бы в его руках сосредоточилось все золото мира, он щедрыми пригоршнями сыпал бы его, только не на такие глупости, как модные тряпки для жены-королевы и игрушки для наследников. Как слуг и любовниц, Людвиг их держал в черном теле, и королеве Терезии надо было помнить о семи детях и обладать врожденным терпением, чтобы не сбежать от сумасброда-мужа, который вызывал насмешки и раздражение по всей Баварии.

Равнодушный к заботам политическим и экономическим, Людвиг молился другим богам. Его привлекала красота в любом ее проявлении. Эта неуемная всепоглощающая страсть в конце концов лишила его короны, но, быть может, куда больше дала. Он знал счастье, недоступное многим монархам, — это несомненно.

Когда-то в юности влюбившись в античность, он щедро сыпал деньги на возведение в Мюнхене зданий, напоминавших архитектурные шедевры Эллады и Древнего Рима. И вот вместо маленьких уютных средневековых улочек появляются огромные площади и роскошные палаццо. Королевская же резиденция уподобляется знаменитому обиталищу итальянских владык — флорентийскому палаццо Питти. Пусть на новой площади Одеон гуляет отнюдь не средиземноморский ветерок, а Людвигштрассе с новыми зданиями а-ля Италия слишком широка и длинна для маленького Мюнхена, король в восторге от своих преобразований. По его мнению, искусство следует рассматривать не в качестве роскоши: «Оно выражается во всем, оно переходит в жизнь».

Идея короля — превратить Мюнхен в музей под открытым

небом, конечно, стоит налогоплательщикам немалых денег, но, экономя на личных расходах, король предполагает, что и его подданные с энтузиазмом готовы оплачивать раскопки в Греции и Италии, создание музеев и коллекций. Придет время, когда он поймет, сколь глубоко было его заблуждение. Но Людвиг, родившийся в 1786 году, смотрел на мир глазами древнего грека, вырезавшего на подошве сандалии узор, дабы его след радовал глаз другого прохожего.

Свое поклонение красоте сам Людвиг считал бы однобоким, если в нем не присутствовал бы женский элемент. Разумеется, это свойственно многим мужчинам, но баварский король решил воплотить свое представление о прекрасном в галерее женских портретов, на создание которой он потратил почти три десятилетия.

Нет, король не брал в руки кисть. Он очень тщательно выбирал художника среди немецких мэтров. Только тот, чья живописная манера исповедует классическую ясность и неукоснительно добивается абсолютного сходства с образцом, мог вместе с королем разделить лавры создателя галереи красавиц. Из всех кандидатур Людвиг предпочел Йозефа Штиллера. Этот художник обладал не только мастеровитой, хоть и несколько бесстрастной кистью, но и адским терпением.

Его величество был кошмарным заказчиком. Он превратил Штиллера в своего раба, стоя у него над душой и диктуя все — от «а» до «я». Король сам выбирал позу красавицы, решая, во что ей нарядиться, какие украшения надеть, какие снять, какую прическу сделать, какого цвета должна быть косынка или цветок в руке.

Можно только представить, какие муки претерпевал Штиллер, чувствуя затылком дыхание короля, цепко следившего за каждым мазком кисти. Поправкам и переделкам не было конца. Уже готовые портреты не раз отвергались. Можно сколь угодно критиковать художественные достоинства галереи красавиц, но одно нельзя поставить под сомнение: все портреты, как в зеркале, повторяли лица тех, кому пбсчастливилось стать избранницей короля. Абсолютное сходство с оригиналом от первой до последней работы было главным и неукоснительным требованием коронованного заказчика.

Разумеется, это диктовало особые требования и моделям: выдержка, спокойствие и умение на долгие сеансы уподобиться мраморному изваянию. От желающих быть увековеченными между тем не было отбоя. Все крайние места в театрах и в концертных залах раскупались сразу же: дамы знали, что король, заядлый театрал, в первую очередь заметит тех, кто сидит ближе

к проходу.

Отбор был исключительно строгим. Никакие доводы, ничьи просьбы и увещевания со стороны не действовали на короля. Он руководствовался исключительно собственными критериями: увековечивались созданья юные, свежие, пышногрудые, с правильными чертами лица.

Распространенное и столько раз нашедшее подтверждение в истории мнение, что о красоте женщины можно судить не по пропорциональности ее тела, а по эффекту, производимому ею, у баварского короля не находило поддержки. Вероятно, именно поэтому не попала в его коллекцию фрау фон Дубельт, дочь русского поэта Пушкина, хотя кандидатура ее обсуждалась. Как известно, Наталья Александровна, стоило ей появиться в обществе, буквально притягивала взгляды, но ее оригинальная, своеобразная прелесть состояла отнюдь не в идеальных чертах. Приходится лишь сожалеть, что кукольным лицам король часто отдавал предпочтение.

Правда, его отличала известная широта взглядов: ни таланты или их полное отсутствие, ни национальность, ни социальное положение значения не имели. В его коллекцию угодили девушки из семей торговца, сапожника, портного, были здесь и актрисы, а ангелоподобная красотка, дочь палача, соседствовала с принцессой крови, невесткой самого Людвига.

* * *

Неизбежен вопрос: а в каких же отношениях находился любитель прекрасного со своими нимфами?

Король умел дружить. Три тысячи писем, написанные им графине Марианне Флоренце, доказывают это.

Они познакомились на римском карнавале. Марианне исполнилось девятнадцать лет. Она только что вышла замуж. Людвиг еще ходил в наследных принцах. У них впереди была пропасть времени, но, кажется, они так и не успели наговориться. Разделенные пространством, Марианна и Людвиг не только изливали свою душу в письмах, но и вели оживленный обмен мнениями по самым разным вопросам.

Марианна Марчезе Флоренца

Людвиг не мог надивиться своей «Марианнине». Чудные локоны цвета южной ночи украшали весьма умную головку. Графиня переводила на итальянский язык труды немецких философов, сама писала и публиковала философские статьи. Ее весьма занимала политика, и очень чуткая к малейшим изменениям в общественной жизни очаровательная синьора в 1850 году поделилась с публикой «некоторыми размышлениями по поводу социализма и коммунизма».

Иногда в переписке графини и короля проскальзывали раздраженные нотки. Людвиг очень ревниво отнесся к решению овдовевшей Марианны еще раз выйти замуж. Она же весьма болезненно восприняла историю с испанской танцовщицей, окрутившей «ее короля».

Но если оставить в стороне временные размолвки, нежные отношения, растянувшиеся на десятилетия, представляются замечательными. Как знать, может быть, залогом их долговременности и было расстояние, разделявшее Марианну и короля?

Каждый год в королевскую резиденцию приходил из Италии трогательный подарок — собственноручно вышитые графиней ночные туфли для Людвига. Верный себе, он дарил прекрасной синьоре оды: «Видишь, любимая, бесконечное море, перед глазами лежащее… Такова же и наша преданность».

Король всегда клялся и божился, что не выходит за рамки чисто платонических чувств. У его терпеливой жены Терезии было свое мнение на этот счет. Один из современников назвал

красавиц Людвига «написанным маслом гаремом». Интересно, что та из увековеченных, о бурном романе которой с королем чирикали все мюнхенские воробьи, не моргнув глазом заявляла: «Он поклоняется красоте, подобно трубадуру, и его галантность связана с этой любовью к искусству».

Вполне возможно, что король-эстет отождествлял любовь к искусству и любовь к красавицам. Но, надо сказать, от тех, кому король отдавал свое сердце, требовалось многое. Женщины, которых связала с ним страсть или дружба, а иногда и то и другое вместе, отличались не только пригожими личиками. Это были самобытные натуры, и роль натурщиц многострадального Штиллера была отнюдь не главной в их жизни.

* * *

Поначалу расскажем об одной юной особе, имя которой, быть может, многим и незнакомо, зато всем известны стихи, обращенные к ней...

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Бесценные строки Федора Ивановича Тютчева... Едва ли есть человек, который хоть однажды в минуту тоски или радости не повторял этих простых слов. Сколько всего написано про «науку страсти нежной»! Наверное, целый Монблан можно сложить из усердных попыток человечества передать словами все то, что делает с ним любовь: приходит ли она или уходит, живет или умирает. Тютчеву же хватило двадцати коротких строк. Они посвящены Амалии Крюденер.

Амалия Крюденер

...Амалии на портрете двадцать лет. Вот уже три года она замужем. Ее свадьба вызвала безграничное отчаяние Федора Тютчева.

То было действительно «время золотое» в его жизни — ему не исполнилось еще и девятнадцати. Весну 1822 года он встречает в Мюнхене в качестве атташе при русской дипломатической миссии.

Настоящая же весна врывается в его жизнь со знакомства с юной Амалией Лерхенфельд. Она похожа на распустившийся цветок — именно такими бывают дети страстной любви.

Амалия — незаконнорожденная. Ее родители граф Максимилиан фон Лерхенфельд и княгиня Тереза фон Турн, сестра королевы Пруссии Луизы. Поначалу Амалия носила фамилию Штарнгард. Сестра графа удочерила ее. Ставши барышней, графиня Амалия познала силу божественного дара — своей красоты. Пятнадцатилетняя, она считалась первой красавицей Мюнхена.

Наступает 1823 год, для Федора Тютчева знаменательный. Быть может, в первый раз он, увидев Амалию, понял, что же такое Красота. «Как древнеязыческий жрец, созидающий храм, населяющий его Богами и затем всю жизнь свою служащий им и их боготворящий, так и Федор Иванович в сердце своем воздвиг великолепный поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фимиам своему Божеству — женщине, — писал сын поэта. — ...Чуть ли не первое и во всяком случае лучшее юношеское стихотворение Федора Ивановича было посвящено женщине».

...Посвящено Амалии. Первая любовь всегда мнит себя и

последней. Он никогда никого не полюбит, кроме нее. Она ни с кем не будет счастлива так, как с ним. Ни до, ни после них никому не доведется испытать такого несказанного чувства. Двое влюбленных полудетей бродят по Мюнхену и полны самых смелых, самых радужных надежд.

На верность друг другу Амалия и Федор обмениваются вещицами, хранящими тепло их молодых тел, — шейными цепочками. Дядька Тютчева отписывает, между прочим, в Москву барыне Екатерине Львовне, что Феденька «вместо своей золотой получил в обмен только шелковую».

Месяц летит за месяцем. Обожание Тютчева своей «молодой феи» беспредельно. Он просит руки Амалии и получает отказ. Нет, не от Амалии. Это ее родственники сочли, что брак с нетитулованным и еще очень молодым человеком едва ли украсит будущее шестнадцатилетней красавицы графини.

Тютчев в отчаянии. Он даже думает стреляться с кем-то из родственников Амалии, подозревая, что на девушку было оказано давление и она страдает так же, как и он.

Сии сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет...

Амалия была послушной дочерью, а может быть, доводы родственников показались ей убедительными — в 1825 году она выходит замуж за русского дипломата барона Александра Сергеевича Крюденера.

...Молодая баронесса иногда видится с Тютчевым. То сияющее чувство, которое некогда объединяло их, изрядно поугасло. Тютчев «любил любить», молодое сердце полнокровно стучало только тогда, когда переполнялось любовным восторгом. Новые привязанности потеснили образ милой Амалии. Теперь она скорее светская знакомая, встреча с которой всегда приятна, хотя бы потому, что видишь перед собой образец женской красоты.

Уезжая с мужем в Петербург, именно Амалия Максимилиановна отвезла Пушкину стихи Тютчева, и тот напечатал их в журнале «Современник».

* * *

Красота Амалии Максимилиановны покорила и Петербург. За ней многие ухаживали. Царь дает понять, что она ему нравится, Пушкин любуется ею. Но Тютчева среди ее знакомых не видно. Жизнь развела их очень надолго. Амалия Максимилиановна овдовела, вышла замуж второй раз за друга юности Николая I, его

адъютанта, генерала Адлерберга.

У Тютчева была вторая семья, и он метался между своей законной женой и той, которая пожертвовала для него всем, стала матерью троим его детям.

Но поэты знают все лучше нас: действительно, «бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною...». Бессмертные строчки, обращенные к подруге юности, пробивая толщу невзгод, усталости, разочарований, душевного непокоя, как луч солнца сквозь тучу, вдруг пробились строчками, прекраснее которых мало найдется среди всей мировой поэзии:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Помнил ли Тютчев, что его музе пошел седьмой десяток? Или приснилась она ему во сне такой, какой была в ту мюнхенскую весну? Этого никто не знает. Стихи помечены 1870 годом.

И все-таки Амалия пришла к нему наяву. Узнала, что он очень плох. В изнуренном жизнью человеке с растрепанными прядками редких седых волос, с глубокими трагическими морщинами вокруг рта легко ли было узнать почтенной графине того двадцатилетнего юнца, который не давал ей проходу когда-то в Мюнхене? Да и она уже была в том возрасте, когда начинаешь забывать свое молодое лицо, и это спасает от отчаяния.

Поздняя встреча, которая могла обернуться отчуждением и едва скрываемым разочарованием, вдруг стала тем подарком судьбы, который она ни за что ни про что умеет приберечь напоследок. На следующий день поэт писал дочери: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй».

Его добрая Амалия умерла глубокой старушкой. Но разве думаешь об этом, глядя на единственный доживший до нас портрет прелестной музы великого русского поэта?

* * *

«Я обыграю жизнь, мужчин и даже время», — пообещала себе белокурая англичанка, родившаяся в начале прошлого века. Похоже, так оно и вышло: леди Джейн нужно признать абсолютной чемпионкой в борьбе за личное счастье. Увы, ее

огромный опыт пропал втуне. Она гнала прочь репортеров, не давала интервью.

Ей не раз предлагали написать книгу воспоминаний, и всякий раз она отказывалась. «Список моих мужей и любовников будет читаться как испорченное издание Готского альманаха». Леди недвусмысленно намекала, что дипломатический и статистический ежегодник, издававшийся в немецком городе Готе, не намного длиннее перечня ее интимных друзей. И уж точно — менее захватывающ. Из них можно было составить сборную европейскую команду. Тут были немцы, французы, австрийцы, англичане, греки, итальянцы. Поговаривали, что на родине бессмертного Данте Джейн как-то особенно везло на мужей и их насчитывалось то ли три, то ли пять.

Дипломаты, художники, ученые, путешественники, короли, просто красавцы, просто мужчины, приятные во всех отношениях и, уж разумеется, не без романтической жилки, буквально сыпались в ее копилку.

Нельзя сказать, что все они поступали с Джейн по-джентльменски. Точнее сказать, истинных джентльменов было из рук вон мало. Но неувядаемая внешность Джейн, которой она отличалась даже в весьма преклонном возрасте, свидетельствовала о том, что неизбежные в жизни каждой женщины любовные переживания она переносила без слез, съедающих краски лица. В противном случае, учитывая «готский список» неутомимой леди, к зениту жизни она должна была походить на печеное яблоко.

«Да ни за что!» — говорила Джейн, отлично понимавшая, что красота — единственное оружие, которое не дает осечки. Но это не значит, что из этого оружия надо палить по воробьям или бросать его куда ни попадя, не чистя и не смазывая.

Забота о своей внешности намертво переплелась в ее сознании с убеждением, что лучшее косметическое средство — это любящий мужчина рядом. Она держалась так, словно родилась королевой и только незрячим в этом позволительно сомневаться.

Леди Джейн Элленборо

«Все смогу и все себе добуду», — говорила леди Джейн, но делала это не с постным лицом мученицы, а с озорным нахальством прирожденной победительницы. Старость, эта преисподняя для женщин, не знала, как подступиться к Джейн Элленборо, если вокруг нее бушевали и не утихали страсти.

Шейх Фарес пытался увезти Джейн от мужа, когда той исполнился пятьдесят один год. Она дала ему понять, что он переоценивает свои силы. Ей было шестьдесят семь лет, когда путешествующий англичанин написал о ней: «В комнату вошла высокая женщина, поразившая меня своей красотой». Когда Джейн перевалило за семьдесят, ее безуспешно совращал молокосос-переводчик. Она до самой смерти избегала новых знакомств с мужчинами, зная, чем это обычно кончается, и не желая лишний раз огорчать своего мужа.

Наконец леди Джейн исполнилось семьдесят три года. «Вот уже месяц и двадцать дней, как Миджваль в последний раз спал со мной! Что может быть причиной этого?» — недоумевала она.

* * *

Весна — пора сердцебиений и решительных поступков. Вхождение леди Джейн в историю началось как раз весенним британским вечером 1829 года. Еще теплая от объятий князя Шварценберга, она объявила своему мужу, лорду Элленборо, что беременна и он, муж, к этому не имеет ни малейшего отношения. Последние слова были явно лишними. Как писал один из людей, восхищавшихся Джейн: «В одно прекрасное утро она забралась на крышу и прокричала на все Соединенное Королевство: «Я любовница князя Шварценберга!» Это надо понимать, разумеется,

фигурально, но подобное было вполне в духе Джейн, никогда не унижавшейся до скрытности.

...Замуж мисс Джейн Дигби выдали шестнадцатилетней. Солидный вдовец, хранитель королевской печати, лорд Элленборо не очень-то старался расположить к себе неопытную девушку. Их медовый месяц был «полнейшей неудачей». Странно, что после этого Джейн не стала мужененавистницей и не вздрагивала при виде постели. Лорд же не докучал ей. Вокруг было сколько угодно хорошеньких женщин, и он вовсю использовал это обстоятельство.

Нельзя сказать, что Джейн не была обескуражена подобным ходом вещей, но супруг корректно давал ей понять, что за ее молодость и красоту он хорошо заплатил и вправе распорядиться женой по своему усмотрению.

В свете на Джейн смотрели как на дурочку, которая хранит верность старому юбочнику. Ее соблазняли два года, но безуспешно. Первым, благодаря кому хранитель королевской печати обзавелся рогами, был не дворцовый шаркун, а рядовой сотрудник Британского музея. Браво, наука! Интеллектуал, правда, недолго упивался своим счастьем. У Джейн же дело пошло дальше энергичнее и веселее. И дошло в конце концов до самого очаровательного франта двора его величества Феликса Шварценберга. Князь был атташе при австрийском после в Великобритании и мечтой всех лондонских красавиц, ни одну из которых он, кажется, не обидел вниманием.

Надо было появиться Джейн, чтобы избалованный господин притормозил свой галоп. Ему было двадцать восемь, леди Элленборо — двадцать один. Он был высокий красавец брюнет. Ее называли нимфой за белокурые волосы и прекрасные голубые глаза. Первый раз они прильнули друг к другу под мелодии дворцового оркестра. Это положило начало страсти, созерцал которую весь Лондон.

...Скандал разразился грандиозный. Несмотря на чистосердечное признание Джейн, в палате лордов шло разбирательство, невообразимое по бесстыдству. Были опрошены свидетели.

— Вы видели леди в гостиной на первом этаже в обществе князя Шварценберга?

— Часто.

— А замечали ли вы что-нибудь особенное в их поведении?

— Да.

— Что это было?

— Однажды я видел, как князь Шварценберг расшнуровывал ей корсет.

Казалось бы, что там расследовать? Заседатели же действовали в полном соответствии с современным анекдотом о муже, который подглядывал в замочную скважину, как его жена уединилась с другом дома в спальне и улеглась в постель. Брюки, повешенные на ручку двери, скрыли от него дальнейшее, и он, давно подозревавший жену, в сердцах сказал: «Черт возьми! Опять полная неясность».

Для полной ясности палата лордов добилась от слуг свидетельства о «звуке поцелуя», подслушанном в апартаментах князя. К тому же они подтвердили, что однажды леди, ехавшая в карете, на ходу прыгнула в карету Шварценберга, когда он поравнялся с нею. Пикантные подробности будоражили лондонских обывателей. Газеты опубликовали портрет Джейн с обнаженной грудью. Ее родня была морально раздавлена происшедшим. Джейн, получив развод, боялась показаться где-либо и скрывалась у матери. Князя от греха подальше убрали в Париж. Само собой, Джейн собрала чемоданы и ринулась за ним, нисколько не сомневаясь, что теперь ничто не омрачит их семейного счастья. Ведь князь был холост!

...Все-таки, оказывается, есть большая разница в том, спешите вы к любовнице или любовница спешит к вам. Почему-то первое для мужчин предпочтительнее. Во всяком случае, встреча, оказанная Джейн князем Шварценбергом, мало напоминала их лондонское безумие. Далее пошло еще хуже: прекрасный атташе порхал по балам, а растолстевшая Джейн сидела одна. В конце концов она родила дочь и потеряла любовника. Удар был тем сильнее, что Шварценберг, желая порвать прискучившую связь, сплел интригу, согласно которой Джейн сама ему изменила.

И вот, радуясь, что необходимость женитьбы на женщине со скандальной репутацией — а это могло стоить ему карьеры — отпала, Шварценберг уехал из Франции. Леди Джейн тяжело отходила от пережитого. Но, наткнувшись на мужское коварство, она не утратила врожденной склонности не уступать никаким печальным обстоятельствам. Справедливости ради надо сказать, что по разводу лорд Элленборо должен был ежегодно выплачивать Джейн совсем немаленькую сумму. Стоит ли говорить, насколько это упрощало жизнь одинокой леди! Во всяком случае, мысль прыгнуть в Сену вовсе не закрадывалась ей в голову...

* * *

Есть женщины, которые не любят тесной одежды, длинных семейных застолий, не читают пухлых романов, не имеют ни подруг, ни кудрявых собачек. Имеет ли это отношение к нашей героине?

«Эта прекрасная леди, такая гибкая, такая легкая, эта бледная женщина с молочной кожей, такая томная и хрупкая, с точеным лбом, увенчанным облаком тонких рыжих волос, это воздушное существо, словно излучающее фосфорическое сияние, обладает железной силой. Нет такой строптивой лошади, которую не усмирила бы ее нервная рука, такая, казалось бы, нежная ручка, которая не знает усталости».

Кто-то узнает в этих словах портрет самой эротичной и мятежной героини Бальзака Арабеллы Дадли из его «Лилии в долине». Но Арабелла — это Джейн.

Двухмесячный роман обессилил Оноре — леди не мирилась с тем, что своим книжным героиням этот великий толстяк уделяет внимания больше, чем живым. Писатель, корпевший по двенадцать часов за письменным столом, не годился для нее. Она унеслась от Бальзака, оставя его дожевывать стынувший роман с флегматичной пани Ганской.

Однако леди Джейн еще до Бальзака стала героиней трех книг, написанных женщинами. Но едва ли она их читала, предпочитая книжным романам свои собственные, реальные.

«Как хорошо в объятиях существ другого пола. Вот настоящая грамматика — мужской род сливается с женским», — поется во французской песенке, которую Джейн не знала, но которая наверняка пришлась бы ей по душе. Ее метания от одного мужчины к другому многими принимались за распущенность. Между тем это было лишь исправление ошибок в грамматике, которую не так-то легко постичь.

Джейн искала «своего» мужчину. У нее в достатке было энтузиазма, здоровья и настойчивости, чтобы отправиться за ним даже на край света. На этот раз, однако, не пришлось предпринимать такое далекое путешествие — она заинтересовалась человеком, который жил в самом центре Европы, носил корону, служил источником забавных рассказов и донкихотствовал в Мюнхене, стараясь привить скучным до зевоты бюргерам высокий творческий дух древних эллинов. Это ему плохо удавалось. Людвиг — понятно, что речь идет о нем, — чувствовал себя непонятым и недооцененным. В этом смысле Джейн явилась для короля сущей находкой.

Их встреча относится к лету 1831 года. Королю стукнуло сорок пять, он был полон энтузиазма, и, взглянув на Джейн, ему стало ясно, что на этот раз слухи о красоте прибывшей из Парижа леди ни на йоту не преувеличены.

Трудяга Штиллер срочно был усажен за мольберт. Судя по бурной жизни Джейн, похожей на нескончаемое приключение, на портрете она получилась излишне бесстрастной. Людвигом, как

всегда, овладела мысль получить безукоризненный внешний отпечаток. Джейн в смятении, Джейн на лошади, Джейн, обдуваемая морскими ветрами, Джейн, неистовствующая по поводу очередной измены или умиротворенная в объятиях новой страсти, — как это не вяжется с хладнокровной дамой на холсте с ее безукоризненными локонами. Однако портрет, а вернее, Джейн действительно неправдоподобно хороша, и понимаешь одного из ее любовников, Александра Валевского, внебрачного сына Наполеона, который, будучи большим знатоком прекрасного пола, говорил, что никогда не встречал более красивой женщины, чем леди Элленборо.

Сеансы у Штиллера не исключали, а вернее, подразумевали новый этап в интимной жизни и короля, и Джейн. К своей несказанной радости, Людвиг обнаружил в сближении с красавицей англичанкой не только удовлетворение эстетического чувства, но и обрел единомышленницу. Джейн была умна, начитанна, а главное, как и король, считала, что миром правят гармония и красота. Она ругала плохие стихи Людвига, зато была в восторге от его познаний в области живописи, архитектуры и древней истории. Именно король заставил ее заочно полюбить Грецию. Отныне в каждом греке Джейн подозревала прямого потомка Аполлона. В недалеком будущем это сыграет в ее жизни свою роль.

Но сейчас Джейн и король по всем правилам куртуазного искусства разыгрывали свой роман. Он был на радость легок и безоблачен. Совершенно неожиданно для всех он окончился свадьбой леди Элленборо. Но не с королем, разумеется — как грозный призрак за спиной Людвига маячила унылая фигура жены, — а с бароном Карлом Веннингеном. Спешить со свадьбой любовницы у короля были веские основания.

Судя по всему, высокий рыжий барон был действительно предан королю — через шесть недель после свадьбы Джейн родила сына. Все устроилось великолепно. Король пристроил дитя в надежные руки. Джейн получила мужа. Барон — жену, которую в скором времени заставил родить еще одного ребенка, теперь уже своего.

Супруги, как это ни странно, умудрялись ладить друг с другом. Возможно, Джейн и окончательно бросила бы якорь возле своего рыжего верзилы, но, на свою беду, барон возмечтал превратить жену в стопроцентную «хаусфрау». Джейн и так нелегко дались три года безукоризненной жизни с бароном.

Ее манило на простор, где можно было пронестись бешеным галопом на своей кобылице. Сделать же это в Мюнхене, не разворотяего аккуратных камней, было невозможно.

Избавление явилось в образе молодого грека, приехавшего в Баварию изучать немецкую военную технику. Джейн, разумеется, стоила любой гаубицы, и черноволосый граф Теотоки умолял ее бежать с ним на остров в Эгейском море. Джейн согласилась, но на самой границе их догнал барон.

Состоялась дуэль. Грек упал с простреленной грудью. Возле него рыдала Джейн. Умирающий протянул руку, прошептав, что, кроме чистой дружбы, между ним и баронессой ничего не было. Мужу ничего не оставалось, как отвезти того умирать в постель. Так вся троица оказалась под одной крышей в имении барона — оказалась, потому что грек выздоровел. И вся карусель закрутилась снова.

Джейн наконец уговорила барона отпустить ее. Что было делать? До старости они оставались друзьями и писали друг другу нежные письма. Через пять лет, приняв православие, тридцатичетырехлетняя Джейн окольцевала грека и стала графиней Теотоки.

Десять лет своей жизни Джейн посвятила этой любви. Она родила сына, которого назвала Леонидом. Мальчик был белокур в нее и кроток — неизвестно в кого. Мать любила его до самозабвения, но случилось несчастье. Сын съезжал по перилам со второго этажа, упал на мраморный пол и разбился насмерть. Тяжело пережившая эту трагедию Джейн пыталась забыться в хозяйственных делах. Ей вообще было свойственно менять и переиначивать все вокруг. Греция, с ее каменистой почвой и безводьем, в этом смысле была для Джейн идеальным местом. Она занималась землеустройством, сажала деревья и, конечно, как всегда и везде, возилась с любимыми лошадьми.

Что касается отношений с графом, то от Джейн не укрылось: муженька мало-помалу стало тянуть на сторону. Джейн не страдала избытком романтизма. Ее взгляд на чувства скорее совпадал с принятым у мужчин: любовь не вечна. Она, как человек, рождается, живет и умирает. Конечно, никто не возражает против долгожительства, но это удел немногих. Джейн, при всем ее самомнении, не относила себя к числу богоизбранных. У мужчины свои законы...

— Посмотри, дорогой, как неутомим этот конь! Он то и дело вспрыгивает на кобылу, — игриво говорила жена мужу.

— Однако заметь, дорогая, никогда на одну и ту же.

Джейн, пожалуй, была согласна с грубоватой английской шуткой. Но, будучи женщиной в наивысшей степени, никогда не могла примириться с тем, что царит в сердце мужчины не единовластно. Она развелась с Теотоки.

Очень скоро в Афинах заметили, что белокурая красавица

прописалась в королевском дворце, где король Оттон, сын того самого Людвига I, который превратил Джейн в нимфу на потолке, смотрел на нее обожающими глазами.

В отличие от жены баварского короля, махнувшей рукой на неистощимое любвеобилие супруга, у Оттона жена была властная и из-за бесплодия — уязвленная. Можно представить, какое раздражение у королевы Амалии вызывала легко рожающая, легко танцующая, легко влюбляющая в себя леди-баронесса — графиня Джейн. Придет час, когда королева отомстит ненавистной сопернице...

Король же Оттон не был глубокой привязанностью Джейн. Она по-прежнему искала того, кого тело и душа безоговорочно признали бы единственным владыкой. Все, что ее окружало, казалось мелким, вялым, неинтересным. Не в правилах Джейн было сидеть и ждать, пока ее найдет прекрасный рыцарь. Зная, как в большинстве своем медлительны и неинициативны мужчины, она сама поехала навстречу... быть может, очередному своему заблуждению.

«Честные женщины безутешны из-за ошибок, которых они не совершали». Эта фраза, сказанная одним знаменитым и легкомысленным французом, возмутительна лишь на первый взгляд. На второй — ощущаешь легкое беспокойство. На третий — приходишь к мысли, что в этом абсурде присутствует зерно истины. Наше счастье состоит в неведении того, сколько раз мы прошли мимо своей судьбы, боясь поиска и риска.

Само собой, леди Джейн в этом отношении не могла себя упрекнуть.

* * *

Путешествие Джейн по Турции, Швейцарии и Италии оставило целый шлейф слухов, ни один из которых нельзя считать достоверным. Тем не менее пылкие итальянские кавалеры должным образом отреагировали на появление в их краях белокурой амазонки. Двое офицеров договорились стреляться до тех пор, пока кто-то из них не падет бездыханным. Счастливец, оставшийся в живых, поведет Джейн к алтарю.

Пока один поклонник убивал другого, Джейн приглянулся молодой дипломат. Он явился как бы правопреемником незабвенного Шварценберга, который где-то по-прежнему скрипел перьями, трудясь над дипломатическими депешами.

Джейн готова была пойти к алтарю, но совсем не к тому, куда звал оставшийся в живых офицер. В ярости от забывчивости Джейн он вызвал дипломата драться на саблях. Дипломат получил удар в лицо, но зато проткнул соперника насквозь. Разумеется, едва рана затянулась, он потребовал руки Джейн. И

вот тут, кажется, Джейн расплатилась за все мужские обманы, выпадающие на долю слабому полу, — она наотрез отказалась выйти за дипломата замуж, и бедняга, говорят, покончил с собой.

Однако, подустав от итальянских страстей, Джейн вернулась в Грецию, ситуация в которой в ее отсутствие стала нестабильной, а значит, Джейн здесь было гораздо интереснее.

Дело в том, что всегда страдавшая от посягательства Турции Греция решила упрочить свою независимость. В горах создавались вооруженные отряды, куда стекались люди разного толка. Одни называли их «паликарами», то есть храбрецами, другие считали бандитами. Тем не менее это была реальная сила, и королевский дворец был заинтересован держать ее под контролем. Королева Амалия, оттеснив супруга на троне, старалась прибрать к рукам главаря горцев, который пользовался среди них исключительным авторитетом и правил как единоличный монарх. Так Хаджи-Петрос получил генеральский чин и губернаторский пост в одной из провинций.

Хаджи-Петрос был личностью легендарной. Высокий семидесятилетний старик, ни в чем не уступавший юношам, он был красив дикой горской красотой — с обветренным, словно из меди выкованным лицом, орлиным взором и осанкой монарха. Красная шапка оттеняла начинавшие седеть волосы. Белая плиссированная юбка с золотой курточкой — тут было на чем остановить взгляд.

К тому же Джейн увидела, как он сидит на лошади, — и завзятая наездница была покорена. Ей стоило невероятных усилий познакомиться с героем, «не терпевшим баб». С тех пор как у Хаджи-Петроса умерла жена, его сердцем владел исключительно сын.

Разумеется, все эти сведения, собранные о герое, лишь распалили Джейн. Крепость оказалась не такой уж неприступной. А может быть, подобной осады выдержать было невозможно?

Итак, Джейн ушла с Петросом в горы на правах любовницы, боевой подруги, друга-оруженосца — как угодно. По ночам, пристроившись на кисло пахнущих шкурах возле крепкого тела Петроса, Джейн смотрела на звезды, такие близкие в горах, и умирала от счастья. Она жарила мясо на костре, пила красное вино из бурдюков, научилась стрелять навскидку, как заправский паликар. Королева горных робингудов пользовалась исключительной популярностью. Когда она проходила по лагерю, те били в барабаны, палили из ружей — стоит ли говорить, как льстило это Джейн!

Слухи о даме сердца неустрашимого Петроса достигли королевского дворца. Королеве Амалии даже не надо было

дознаваться, как ее зовут. Ненавистная соперница, изрядно попортившая ей кровь, словно насмехаясь над бесплодной, засохнувшей королевой, и на склонах каменистых гор купается в любви и обожании. Амалия дрожала от нетерпения подсыпать горчицы в это торжество. Она подписала приказ, где Петрос обвинялся в поведении, порочащем доблестную армию. Королеве этого показалось мало: она временно сместила его с должности главнокомандующего и губернатора.

Дальше произошло то, чего наверняка не ожидала сама Амалия. Петрос написал покаянное письмо, где признался, что его связь с белокурой бестией держится лишь на материальном расчете: «Она богата, а я беден. Я должен поддерживать свое положение и дать образование сыну».

Петрос весьма ловко отводил от себя удар: что лучше успокаивает женщину, не знающую любви, чем известие о том, что у другой дела еще хуже? Позиция Петроса, конечно же, очень уязвима и в любом случае не прибавляет ему лавров рыцаря. Но он не мог и представить, как воспользуется его письмом королева. Вот уж действительно, «самый большой иезуит в тысячу раз меньше иезуит, чем самая малая иезуитка», — Амалия приказала напечатать письмо Петроса в газетах.

Расчет королевы был прост, и осечка тут исключалась. Как поступают все женщины, так поступит и Джейн, оскорбленная в своих лучших чувствах. Конечно же, она покинет своего предателя, спустится с гор, а тут ее спросят, в какую сумму ей обошлись горячие ночи с народным защитником.

Но Амалия торжествовала рано: Джейн была не та рыбка, которая так просто попала бы на крючок королевы, и она как раз из тех женщин, которые никогда не поступают так, как все остальные. Возможно, когда-нибудь она и оставит Петроса, но не по королевской немилости, а лишь тогда, когда ей этого захочется самой.

Джейн сказала генералу, что отлично понимает его: заморочить голову комплексующей неврастеничке королеве совсем не грешно. Пусть думает, ежась на холодных простынях, что Джейн залила слезами все горные ущелья. От их с Петросом любви не убудет, не правда ли? Чтоб королева воочию могла в этом убедиться, Джейн уговорила генерала вернуться в Афины вместе. Здесь она купила два дома с большой территорией вокруг, где разместился лагерь паликаров. В доме была громадная, похожая на тронный зал спальня Джейн. Волей-неволей королеве пришлось смириться, что «королева греческой независимости» занимается любовью уже в непосредственной близости от нее.

Расстались Джейн с генералом именно тогда, когда ее неуемное сердце подсказало ей — пора. Спустившийся с гор главарь повстанцев утратил героический образ. Недостатки его воспитания все сильнее раздражали Джейн: от генерала несло чесноком, он стал по-стариковски занудлив и даже поколачивал ее.

Такие моменты заставляют женщин предаваться воспоминаниям о прежних любовниках: время награждает их несуществовавшими добродетелями. Джейн вспоминала баварского короля Людвига, которого никакими силами нельзя было своротить с разговоров о прекрасном. От него Джейн узнала, что где-то есть загадочная, бесподобная Пальмира — оазис среди пустыни. Там, говорил Людвиг, небеса такой же яркой голубизны, как и глаза у Джейн.

Джейн стукнуло сорок шесть лет. Она считала, что ее май достиг апогея. И этим надо воспользоваться. Ведь ничто так не содействует цветению женщины, как жаркий мужской взгляд. К тому же, размышляла Джейн, ее афинские кобылы успели потерять резвость. На Востоке же она может купить других — тех, кто в большей степени отвечает ее характеру и темпераменту.

Одним словом, не говоря никому ни о чем, даже толком не собравшись, Джейн Элленборо взошла на палубу парохода и отплыла из Пирея в восточном направлении.

Она была уверена, что самая удивительная страница ее жизни только раскрывается. А если в это не верить, то зачем куда-то плыть?

* * *

Опять же в мае — что за месяц, право! — но в мае 1853 года Джейн в сопровождении целого нанятого ею эскорта ехала по реке Иордан, направляясь в Иерусалим и Пальмиру.

На одной из стоянок в табуне, пасшемся неподалеку, она увидела молодую лошадь, от которой не могла отвести глаз.

Джейн нашла хозяина. Им оказался шейх Салех — молодой, с бархатными глазами, изящными манерами — настоящий восточный принц.

— Лошадь не продается. Я ценю ее дороже своих трех жен.

— Но дай хотя бы сесть на нее. Или опасаешься, что я на ней ускачу?

Салех рассмеялся и ответил:

— Эту лошадь боятся даже те, кто ее вырастил. Если хочешь — попробуй.

Час, а может быть и больше, люди смотрели на белую женщину, которая играла с огнем. Лошадь то вставала на дыбы, то пускалась вскачь, то, хрипя, пятилась назад. Но Джейн словно

вросла в седло.

А Салеха уже мало занимала лошадь. Он смотрел на Джейн. Когда она спешилась с присмиревшего животного, Салех, нервно перебирая четки, сказал ей:

— Если хочешь, можешь купить эту лошадь. Только не за деньги.

— Я не стану с тобой торговаться. Но знай, что я войду в твой шатер лишь тогда, когда ты отошлешь свой гарем.

— По нашему закону каждый имеет столько жен, сколько хочет. Здесь никто не живет с одной женщиной. Надо мной стали бы смеяться.

— Ну, как знаешь!

Джейн приказала спутникам собираться. Когда они были уже готовы двинуться в путь, неожиданно показался шейх Салех. Видно было, что он спешил, его рука сжимала плетку, а конь хрипел.

— Женщина, я сделал то, что ты пожелала. Войди в мой шатер.

Путешествие Джейн приостановилось — восточная любовь поглощала месяц за месяцем. Она даже решила вернуться в Афины, чтобы, уладив свои дела, совсем перебраться к Салеху. Но, упрямо доводившая все начинания до конца, все-таки захотела взглянуть на Пальмиру, которую баварский король рисовал ей раем.

— Куда? Через пустыню?! — Английский консул пришел в ужас от этой затеи. — Десять дней верхом на лошади по раскаленным пескам? Да вы знаете, что там бандитов больше, чем тарантулов? Выбросьте из головы эту затею.

Но Джейн от своей мысли не отказалась. Она нашла знающих людей. Да, сказали ей, в пустыне небезопасно. Ее контролируют два могущественных клана. Надо войти в контакт с влиятельными лицами. Если удастся расположить их к себе, то, пожалуй, за деньги они дадут верных и опытных провожатых. Так Джейн познакомилась с Миджвалем, главой рода Мизраб в сотню шатров.

Небольшого роста, сильно обросший, с кожей, значительно темнее, чем у большинства арабов, он не произвел никакого впечатления на Джейн. Если бы ей сказали, что она проживет с этим человеком двадцать шесть лет, ревнуя и боясь потерять, Джейн рассмеялась бы. В первую встречу она лишь предложила ему определенную сумму за услугу и даже не заинтересовалась, почему Миджваль, нарушая традиции Востока, не стал торговаться.

Более того, Джейн подробно описывала Миджвалю историю

своего знакомства с Салехом. Миджваль в свою очередь рассказывал о жене и двух сыновьях. Они беседовали обо всем на свете, и Джейн не могла не подивиться разнообразию знаний и оригинальности мышления нового знакомого. Она благодарила судьбу, что Миджваль, аристократ пустыни, отпрыск одного из четырех самых почитаемых здесь семей, взялся сам проводить ее до Пальмиры. Он не только прекрасно знал пустыню, но и умел рассказывать об этом загадочном мире так, что Джейн была очарована.

Но все мимолетные впечатления о Миджвале, осевшие в памяти Джейн, дадут всходы значительно позже, когда она в привычной для себя безоглядной манере порвет с Салехом.

Причина была проста и даже извинительна для восточного человека — он вернул в отсутствие Джейн прежних жен. Застав волооких красавиц, воркующих возле своего властелина, разгневанная Джейн тотчас покинула черный шатер шейха.

Нет худа без добра и нет лучшего способа лечить сердечные неприятности, покинув то место, где они вас прихватили. Джейн, все более влюблявшаяся в Восток, снова отправилась путешествовать. Длинные дороги — друзья воспоминаний. Джейн уже без улыбки вспоминала о конце путешествия в Пальмиру, где перед прощанием Миджваль все-таки объяснился ей в любви. Лицо его было серьезно и грустно. Если она захочет, он разведется с женой и женится на ней. Джейн — ее мысли были с Салехом — тогда только посмеялась.

Но теперь она постоянно думала о Миджвале. Все встречавшиеся ей мужчины были завоевателями. Они требовали своего с эгоизмом детей, привлеченных красивой игрушкой. Наигравшись вволю, они уже не боялись обнаружить то, что раньше опасливо прятали: эгоизм, дурные привычки, безволие, неверность, бахвальство. В Миджвале ничего не было напоказ. Опытная, хорошо знающая мужчин Джейн чувствовала это. Почему же она упустила его? И Джейн принялась за поиски.

Велика пустыня, но не настолько, чтобы слухи о белой женщине, которая ищет главу рода Мизраб, не обошли ее от края до края. В один прекрасный день перед Джейн совершенно неожиданно, как из-под земли, вырос Миджваль. Он сказал, что пришел подарить ей молодую арабскую кобылицу, ведь она хотела такую — верно? Миджваль признался, что вернул жену ее семье вместе с приданым, оставив сыновей себе. В любом случае теперь он будет ждать, когда Джейн согласится выйти за него замуж.

Ждать? Это было слово, которое Джейн ненавидела. И ей, и Миджвалю пришлось вволю повоевать. Английский консул грозил

Джейн, что объявит ее сумасшедшей. Леди хочет выйти замуж за бедуина! Семья Миджваля тоже встала на дыбы: Джейн — неверная. Это позор для всего уважаемого рода.

Но двое влюбленных объединили свое упорство. В 1855 году леди Элленборо исчезла, а вместо нее появилась Джейн Дигби аль-Мизраб. Невесте было сорок восемь лет, жениху — сорок пять.

С самого начала супруги договорились так: полгода они живут на вилле Джейн в Дамаске, полгода — в шатре Миджваля в пустыне. Это «семейное расписание» было заведено один раз и сохранялось все двадцать шесть лет их супружества.

Дом в Дамаске был обставлен в арабском стиле. Исключение составляли комнаты Джейн с французской мебелью, европейской библиотекой и картинами, нарисованными Джейн во время ее путешествий. Вокруг был сад, который взращивала хозяйка, и конюшни с любимыми лошадьми. Этот мирный уголок являлся полной противоположностью шатру Миджваля.

Шатер же был символом постоянной опасности. Стычки племен из-за пастбищ, караванных путей и колодцев следовали одна за другой. Школа генерала Петроса оказалась как нельзя кстати: Джейн наравне со всеми вступала в схватки.

Во время одного внезапного нападения соратники Миджваля растерялись. Видя врагов, наступающих на шатры племени, Джейн метким выстрелом свалила их предводителя. Ее прозвали «белым дьяволом».

Впрочем, теперь лишь голубые глаза да кожа, не потерявшая нежного оттенка, выдавали в Джейн ее происхождение. Как только она услышала, что ее светлые волосы здесь вызывают суеверные чувства, она выкрасила их в черный цвет.

В шатре, как и полагалось по традиции, она мыла мужу руки, лицо и ноги, не садилась, когда Миджваль ел. Разумеется, европейцы, посещавшие ее в Дамаске, выказывали свое удивление, но Джейн недоумевала в свою очередь: если любишь мужа, о таких мелочах просто не думаешь.

Легко решили супруги и проблему вероисповедания, предоставив друг другу полную свободу. Миджваль, как мусульманин, пять раз в день обращал лицо в сторону Мекки. Джейн смолоду была равнодушна к религии, в которой воспитывалась. Но в 1860 году по Сирии прокатился кровавый вал: фанатики-мусульмане громили европейские кварталы Дамаска, улицы были усеяны трупами христиан. Миджваль запретил Джейн покидать дом и стоял у дверей, готовый уложить всякого, кто посягнет на его жену. Эти события потрясли Джейн. Словно в знак протеста против фанатизма, против духовной

несвободы человека она стала каждое воскресенье посещать протестантскую церковь.

Был момент, когда крепость привязанности Джейн к мужу подверглась экзамену. В декабре 1856 года Джейн Дигби аль-Мизраб ступила на землю Англии, которую покинула в 1829 году, сбежав от своего хранителя королевской печати к коварному Шварценбергу. Арабская родня не узнала бы жену Миджваля в даме, одетой по последней парижской моде. В сущности, «восточная одиссея» не изменила Джейн. По словам людей, ее хорошо знавших, она оставалась тонко чувствовавшей женщиной, прекрасно знавшей литературу, искусство, говорившей на девяти языках, в том числе и на русском. Изысканность этой женщины в сочетании с ее красотой производила неотразимое впечатление. И обладательнице столь сказочных богатств похоронить себя в пустыне? Наверное, много было заключено пари — вернется леди Джейн в пустыню или нет.

Она отметила свое пятидесятилетие и начала складывать чемоданы. В Париже купила краски, пианино и книги. Как ни любила она этот город, простилась с ним легко. Впереди был Дамаск. «Я приехала с бьющимся сердцем, — рассказывала Джейн. — А затем прибыл он, Миджваль, мой дорогой, обожаемый, и в этот счастливый момент я забыла обо всем».

...И даже об изменах, столь свойственных неугомонной Джейн.

В нее по-прежнему очертя голову влюблялись, но теперь она более всего страшилась неверности Миджваля. Когда умер его младший брат и осталась молоденькая вдова, Джейн безумно боялась, что она приглянется мужу. Иногда в моменты отлучек Миджваля наваливалась тоска: ей твердили, что невозможно сохранять верность одной женщине. Где-то в пустыне шейх Миджваль прячет «другую». Но «другой» не было. Это доказывает тот факт, что избранник Джейн не женился даже после ее смерти.

...Неугомонная леди, так до конца и не истратив своей жизненной энергии, умерла в августе 1881 года. Надо отдать должное ее старому другу-монарху: безупречные черты Джейн остались не только на портрете Иозефа Штиллера, но и на потолке одного из мюнхенских дворцов, расписанных по приказанию Людвига I. Вероятно, даже и сегодня в одной из нимф, окруживших Нептуна, можно узнать голубоглазую подругу баварского короля.

* * *

Согласитесь, чуть ли не тридцать лет кряду пополнять свою галерею, то бишь возиться с красавицами, и не поскользнуться, не сломать себе шею, не полететь вверх тормашками — такое бывает

только в сказках. Сюжет же жизни короля Людвига развивался по устоявшимся законам. А стало быть, в какой-то момент должна была открыться дверь и на дворцовом пороге появиться некая дама: «А вот и я, ваше величество!..»

Все точно так и произошло. Мы вернемся к этой сцене, сыгравшей в жизненном сценарии коронованного любителя искусств поистине роковую роль. Хорошо еще, что выход незнакомки состоялся не в первом акте, а, так сказать, под занавес. Король Людвиг уже успел украсить свою резиденцию портретами тридцати шести красавиц. Самому ему шел шестьдесят первый год, но его лицо хранило лукавую мину студента, объегорившего на экзамене профессора. Их величество по-прежнему был необыкновенно подвижен и искрил взглядом, отыскивая достойную кандидатуру для тридцать седьмого портрета...

Лола Монтес

Ко всему, что написано и рассказано о даме, называвшей себя Лолой Монтес, надо относиться с сомнением. Это вовсе не вина нерадивых биографов. Источником дезинформации была сама дама. Говорят, она даже оставила свои воспоминания. Если вам каким-либо образом они попадутся в руки, то слова «Я, Лола Монтес, родилась в Андалузии, в Севилье, в 1823 году» следует читать так: «Я, Элиза Жильберт, родилась в Ирландии в 1818 году». Первое, согласитесь, во всех отношениях звучит элегантнее. Такие маленькие погрешности, надо думать, не скажутся на увлекательности чтения. И все-таки чего бы там ни насочиняла сеньора Лола про себя, даже истинно имевшего

место, хватит на три приключенческих романа.

Совсем маленькой девочкой родители увезли Элизу в Индию, куда в колониальные войска был переведен ее отец, лейтенант королевской гвардии. Эпидемия холеры оставила девочку сиротой. Когда она подросла, приемные родители отослали ее в Париж, чтобы дать миловидной голубоглазой дочери хорошее воспитание.

Вернувшаяся Элиза потрясла общество приобретенными на берегах Сены изящными манерами, умением носить туалеты и смелостью, с которой молоденькая мисс принимала мужские восторги.

Было решено поскорее выдать Элизу замуж. Первое же свидание с претендентом на ее руку заставило метать голубые глаза молнии. Элиза заявила, что окажется в спальне судьи высшей индийской судебной палаты только в том случае, если ее туда внесут мертвой. Сэр ретировался, уступив место бравому офицеру колониальных войск Томасу Джеймсу.

Жизнь молодоженов сразу не заладилась. По одним сведениям, сам Джеймс покинул жену, по другим, которым как-то больше веришь, устав от тропической жары, будущая испанка отплыла в Лондон.

Это мужчине, как черепахе ее панцирь, не надоедает свое «я». Женщина же всегда готова начать новую жизнь. И процесс этот может начаться с чего угодно: с покупки туфель, шляпки, удачной окраски волос, неожиданного знакомства на углу вон той самой улицы. Мужчина боится перемен. Женщину они не пугают. Географическая смена места жительства имеет для женщины просто революционное значение. Она как бы ставит крест на себе прежней и выстраивает новую версию собственной жизни.

Разумеется, Элиза подвергла себя морской качке не для того, чтобы пресно называться миссис Джеймс, которых хоть пруд пруди в Лондоне. Мелодичный перезвон Биг Бэна навел ее на дельную мысль объявить себя вдовой.

Элиза решила перевернуть свою жизнь основательно. Начала обучаться танцевальному искусству и испанскому языку. Ее темперамент обгонял физические и интеллектуальные возможности. Ей больше нравилось наслаждаться жизнью, а не учиться. Еще явно не хватало танцевальной подготовки, а Элиза уже устремилась на сцену. У нее было чудовищное произношение, но она поспешила объявить, что «родом из Андалузии». А все вместе это дало такой результат: летом 1843 года лондонцы покупали билеты на выступление «испанской танцовщицы Лолы Монтес».

Лола так Лола. Будем теперь называть ее так.

...Театр негодовал. Особенно старались знатоки фламенко, пришедшие насладиться испанской экзотикой: надувательства они не потерпят! Нахалке кричали: «Вон!» Лола закончила свой танец под свист и хохот. Ах так? Ну получайте вместо поклона! Лола снимает туфли и что есть силы запускает ими в партер. Занавес. Администрация в шоке. Разъяренной тигрицей Лола покидает театр. А потом и Англию. Что могут понимать грубые англосаксы в ее искусстве? Путь сеньоры Монтес лежит в «более цивилизованные» города Европы.

Но и там Лола проваливается с не меньшим треском, чем на Британских островах. Однако если возникают недоумения по поводу мастерства гастролерши, то всех потрясают невероятные амбиции и истинно испанский темперамент танцовщицы.

Лола вела себя как примадонна. Капризам не было конца. Она то и дело опаздывала на выступления. Публика не выдерживала. Зал накалялся. Однажды взбешенный директор театра влетел к Лоле в уборную: «Вы еще не готовы?» Та отвесила ему оплеуху: «Кто вам позволил без разрешения входить к даме?» Скандал следовал за скандалом. Слухи о вздорной особе и бесталанной артистке опережали появление Лолы в столицах Европы. Однако стоило ей прибыть, как ангажемент в лучшие театры оказывался у нее в кармане.

Между тем заполучить его всегда было делом непростым! Артист должен показать товар лицом. Прежде чем заплатить деньги, театральные дельцы удостоверялись, что останутся с прибылью. Как добивалась этого Лола, порхая из государства в государство, из города в город, никем не сопровождаемая, без влиятельных знакомых, с сомнительными документами? Можно только предположить, какого рода спектакли вне досягаемости почтеннейшей публики разыгрывала она в дирекции театров. Но то, что эти спектакли были сыграны мастерски, — вне всякого сомнения. Для своего дебюта в Польше, например, Лола Монтес получила ангажемент ни больше и ни меньше чем в Варшавской опере.

Это, правда, не избавило ее от очередного провала. Однако совершенно неожиданно, в пику освиставшим Лолу русским офицерам, радикально настроенная молодежь стала бурно выражать свою поддержку неудачливой гастролерше.

Командующему нашим корпусом в Польше генерал-фельдмаршалу Паскевичу доносили, что на концертах испанской танцовщицы устраиваются беспорядки с оскорбительными выкриками в адрес русских властей.

Тот, недолго мешкая, приказал выдворить Монтес за пределы Польши, входившей тогда в состав Российской империи. В

качестве сопровождающего с ней отправили офицера, которому удалось без лишнего шума уговорить танцовщицу покинуть Варшаву.

Такт и рыцарское отношение своего спутника Лола оценила с первых же часов незапланированного путешествия. Неожиданное происшествие и вовсе сблизило молодых людей. Ночуя в придорожной харчевне, Лола, расположившись в специально отведенной комнате, к несчастью, угорела. Утром ее нашли едва живой, и конец был бы неминуем, если бы не расторопность молодого офицера.

В ближайшей округе на медицинскую скорую помощь рассчитывать не приходилось. С огромными усилиями, в пургу, по бездорожью, офицер привез-таки к погибающей Лоле врача, достав его именно из-под земли.

Через два дня Лоле стало чуть полегче. Ее спутник, как заботливая нянька, ухаживал за ней. Она просила, чтобы он не убирал руку с ее лба. «Так голова меньше болит», — слышал молодой человек слабый голос. В бледной, со следами пережитых страданий красавице не было ничего, что напоминало бы особу, о дерзких выходках которой сплетничали на всех углах. Поправляясь, она тихо играла с дочерью хозяина харчевни и сама напоминала ребенка.

«Красота страшна» — вам скажут:
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.
«Красота проста» — вам скажут —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу...

Что же такое Лола? От дьявола или от Бога была ее красота? Об этом можно думать что угодно. Но когда думаешь — не любишь. Для того, кто вез Лолу по бескрайним снегам, чтобы расстаться, она наверняка была лучшим, что существовало на земле.

...Бывают в жизни дни и даже часы, которые стоят многих лет. Они становятся теми чистыми, спасительными воспоминаниями, которые человек достает из закромов памяти в самые скверные, тоскливые моменты, когда, кажется, и позади, и впереди черным-черно. И, попав в водоворот иных страстей, иных желаний, да и совсем другой жизни, прожив годы и десятилетия, бережем, не деля ни с кем это маленькое невесомое сокровище

своей души.

...Они прощались жарко, и Лола заливалась слезами, словно предугадывая, что в ее жизни ничего похожего на эти несколько дней уже не произойдет. Она подарила русскому кольцо, обещав написать. Случившееся с ними выглядело сельской пасторалью. Оба знали, что все это ни к чему не приведет и кончится, как только они потеряют друг друга из вида. Но года через три офицер, уже живя в Петербурге, получил от Лолы письмо. Знал ли он о попытке своей знакомой приехать на берега Невы? Однако женщину со слишком скандальной репутацией не пустили дальше городской заставы.

Впрочем, желание Лолы Монтес попытать счастье в Петербурге могло и не иметь никакого отношения к короткому дорожному роману.

Год спустя после варшавских гастролей ее стали видеть в обществе Ференца Листа — великого Листа!

Он уже был одним из известнейших людей Европы. Музыкант-виртуоз, словно триумфатор, переезжал из страны в страну, вызывая, по выражению Гейне, «настоящее сумасшествие, неслыханный в летописях фурор». Лист утопал в волнах славы, в восторгах толпы. Прекрасные женщины искали его любви.

Появление его рядом с Лолой означало ее следующую сокрушительную победу. Как приятно ловить на себе завистливые взгляды и верить в дарованное небом женское всемогущество. Вот в таком великолепном настроении, под руку с великим маэстро Лола прибыла в Париж, тот самый Париж, который видел ее юной провинциалкой из колониального захолустья. Но сказать по правде, промчавшееся в одночасье время было довольно безрассудно отдано ею на потеху бурному темпераменту. Ни артистического имени, ни приличного состояния, ни надежного покровителя у нее не было. А молодость и красота — это как раз тот капитал, который с каждым годом имеет свойство таять.

Лола пораскинула мозгами и пришла к выводу, что эффектные выходы с музыкальным полубогом в будущем ничего не обещают. Женщины увлекали его, и конца этому не предвиделось. Впрочем, даже если бы ей удалось крепко прибрать его к рукам, то ничего хорошего из этого не вышло бы! Гений в роли законного супруга тотчас превращается в Божье наказанье.

Выбор Лолы падает на «короля прессы» мсье Дюжарье. Тот в восторге от женщины, сочетающей в себе манеры титулованной особы и смелость опытной куртизанки. Он уверен, что рядом с ней ему никогда не придется встретиться с напастью, приканчивающей самые пылкие отношения. Истории похождений новой подруги, да и многое, откровенно рассказанное ею самой,

не только не коробят слух, но и воспламеняют презирающего всякие условности Дюжарье. Он уверен, что кому-кому, а уж ему-то вполне по силам подчинить себе эту женщину навсегда.

Следует обручение. Весной 1846 года к своей испанской фамилии несравненная Лола, официально именуемая Марией Долорес, должна была присовокупить еще одну — Дюжарье. Разговоры о предстоящей свадьбе одной из самых модных женщин Парижа и «короля прессы» носились по всему городу.

В этот момент происходит одна встряска за другой, не оставившая камня на камне от великолепно задуманного здания во славу жизненного благополучия. Приревновав невесту к кому-то из армии не терявших надежд поклонников, Фламенго Дюжарье вызывает соперника на поединок, итог которого заставил вздрогнуть Париж: «король прессы» убит.

За кровавой развязкой, похоронившей надежды прекрасной Долорес на супружеское счастье, следует новая неприятность: совсем некстати подал свой голос Томас Джеймс, которого дитя знойной Испании успело не только похоронить, но и прочно забыть.

Под угрозой судебного дознания Мария Долорес Монтес скрывается из Парижа. Багаж, который она увозит с собой, невелик, если не считать устойчивой репутации отпетой авантюристки. Без денег, без родных, порастеряв друзей, напуганных ее скандалами, Лола раскидывает свой шатер в Баварии.

* * *

Здесь, как говорится, ее не ждали. Одна за другой отклоняются просьбы об ангажементе в придворном театре: Европа слишком мала, чтобы в одном углу аукнулось, а в другом не отозвалось. С особой сомнительных сценических дарований и несомненной предосудительности поведения никто не хочет связываться. Осенние дожди, обивавшие золотую листву мюнхенских парков, где испанской танцовщице приходилось коротать свои досуги, подвигали ее к мысли, что надо действовать. И действовать побыстрее.

Воистину ничего не потеряно, если не потеряна вера в себя. Лола махнула рукой на чиновников, стерегущих бюргерские нравы. Черт с ними — надо начинать с короля! По сведениям, которые она смогла получить, король-то как раз был свой парень: с фантазиями, с артистической жилкой и с дурацкой, по мнению большинства, склонностью тратить деньги не на то, что надо.

Представьте, какие аргументы надо было найти полностью скомпрометировавшей себя женщине, чтобы добиться аудиенции в резиденции его величества. Не исключено, что вескими

доводами, как везде и всюду, оказалось последнее золото из весьма тощего кошелька незваной гастролерши. Но самый последний и убедительный аргумент приберегался для короля. Едва перешагнув порог его роскошного кабинета, Лола разорвала на себе корсаж и обнажила грудь: «А вот и я, ваше величество!»

Король пал, не выказав ни малейшего желания сопротивляться. Лола явилась вовремя. В конце концов он, как там ни петушись, находился в том возрасте, когда надо признаться: боевое время прошло. Лола же вернула королю уверенность, что он еще о-го-го! Радость бытия переполняла Людвига. Он походил на счастливца, выпившего эликсир жизни. За это стоило расплатиться истинно по-королевски.

Во-первых, Лола выходит на сцену театра, царит там и становится полновластным диктатором. Во-вторых, в ее распоряжении — это ли не знак высшего благоволения? — карета короля. Разумеется, никто не знает, когда в карете едет его величество, а когда фрау с кастаньетами, и Лоле отдаются королевские почести. В-третьих, монарх дарит своей нимфе особняк в самом фешенебельном районе Мюнхена, и, зная, каково влияние Лолы, высокопоставленные лица спешат расположить к себе некоронованную королеву. В-четвертых, Людвиг заставляет свой кабинет министров утвердить за исполнительницей испанских танцев титул графини Ландсфельд.

Весну 1847 года графиня Мария фон Ландсфельд, она же Лола, встречает в трудах праведных: позирует Иозефу Штиллеру.

Когда-то въедливый поклонник прекрасного выдвигал к претенденткам быть увековеченными два требования: красота и благочестие. Более того, он считал, что недобродетельная женщина не может иметь прекрасное лицо. Предосудительное поведение непременно должно себя проявить каким-нибудь внешним дефектом. Набрасывая принципы создания своей галереи, король записал: «Только красавицы хорошего поведения попадут в собрание».

Хелене Зедельмайер, дочери сапожника с непорочным взором ангела, король обещал тысячу гульденов, если она свою невинность донесет до алтаря. Иначе, вздыхал он, портрет, которым король так дорожил, несомненно что-то потеряет в своем совершенстве.

Анна Хильмайер, дочь мюнхенского торговца, с кукольным личиком, запечатлена с Библией в руках — лишнее напоминание о ее благочестии.

Пример же с Лолой доказывает лишний раз непреложную истину — влюбленный видит то, что хочет видеть. Поборник женской скромности словно забыл, какая оригинальная визитная

карточка в виде разорванного корсажа, обнажившего все прелести, была ему предъявлена на памятной аудиенции. Все равно — нимб святости засиял над головой новоиспеченной графини. Единственное, чего король добился, это чтобы любовница позировала в темном платье с красивым белым воротничком, на сей раз глухо прикрывающем обольстительные формы.

...Портрет Лолы, выставленный летом того же года на обозрение, наделал шуму. Тот, кто разбирался в искусстве, мог заметить, что на сей раз кисть Иозефа Штиллера превзошла самое себя. Куда делась ее сухость и привычка педантично, но бесстрастно переносить увиденное на полотно? Художник явно подпал под обаяние своей модели. Он не только пишет, но еще и любуется. Острота или улыбка вот-вот сорвется с алых губ Лолы, и художник спешит запечатлеть последний миг покоя. Одним словом, Штиллер отнесся к Лоле как мужчина, умеющий загораться.

Но хуже всего то, рассуждали подданные Людвига, что пылает сам король, пылает страстью безрассудной. Мало того что эта испанская нахалка направо и налево бахвалится тем, что их повелитель у нее под каблуком, но и его величество, забыв всякие приличия, не спешит с опровержением.

У Людвига всегда были недоброжелатели. Бюргерский здравый смысл никак не мог смириться с тем, чем занимался сумасбродный монарх. Теперь же он бросал вызов морали.

События начинают разворачиваться. Оппозиция шлет жалобу на короля епископу. Тот призывает короля вернуться на путь истинный. Людвиг в ответе епископу выражает недоумение: его отношения с графиней фон Ландсфельд чисто платонические. В это никто не верит. Следующее предупреждение заупрямившемуся королю приходит уже из Ватикана: как добрый католик, пишет Папа Пий IX, тот должен вырваться из объятий порока.

Не тут-то было! Людвиг требует от своего правительства предоставить фаворитке баварское гражданство. Министры как один отказываются это сделать. В результате король распускает правительство. Новое назначается с подачи королевской подруги и в народе именуется «правительством Лолы».

Весеннее солнце и желание подпортить настроение влюбленной парочке выгоняют на улицу студентов. Король мечет громы и молнии против профессоров, распустивших молокососов. Следуют увольнения. Студенчество получает лишний козырь затеять уже серьезные беспорядки.

Тем временем к королю приходит письмо от старинной

подруги графини Марианны. Она взывает к разуму монарха, на которого возложена ответственность за государство. Людвиг пишет неприлично краткий ответ с просьбой не вмешиваться в его дела. Следующее письмо графини Марианны пылает гневом. До нее дошли слухи, что в галерее красавиц ее добродетельный портрет соседствует с «известной вам особой». Королю уже некогда отвечать: в Мюнхене начинается настоящее восстание.

Дом ненавистной фаворитки осаждается студентами, вооруженными палками. Лола поливает их сверху шампанским из бутылок. Король готов сам с оружием в руках защищать обитель своей возлюбленной.

Острота момента требует, чтобы Монтес сидела за крепко запертыми дверьми. Однако она продолжает дразнить толпу, разъезжая в королевской карете. Чистая случайность помогла танцовщице спастись от града камней: ей пришлось укрыться в церкви.

Тем временем депутация именитых горожан, стремясь добиться компромисса, просит короля принять их. Тот заявляет, что скорее потеряет корону, чем даст скрутить себе руки, и дает делегации от ворот поворот.

Город похож на разворошенный муравейник. Возмущенные поведением короля, мирные горожане присоединяются к студентам. Речь идет уже о штурме королевской резиденции. Вот-вот прольется кровь. И король уступает: графиня Мария фон Ландсфельд, Лола Монтес, покидает Мюнхен.

Увы, вслед за любовницей король теряет и корону. Баварская революция, спровоцированная дерзкой «испанской танцовщицей», заканчивается отречением Людвига от престола в пользу своего сына Максимилиана.

...Через десять лет неугомонный экс-король встретил при дворе своей дочери Матильды в Гессене юную придворную даму Карлотту Фрайин фон Брайдбах-Бюрресхайм.

Он изменил бы себе, если б не уговорил ее усесться перед художником. Все пошло по-прежнему: кисть ласкала полотно, а Людвиг наблюдал, чтобы портретное сходство было абсолютным.

Карлотта и вправду напоминала изваяния Фидия, столь же изумительные, сколь и бесстрастные. Она позировала с отменной невозмутимостью. Если бы пушка выстрелила над ее ухом, пожалуй, и тогда ее изящно вскинутая бровь не дрогнула бы.

Людвиг, однако, чувствовал смутное беспокойство. Нет хуже, чем на старости лет засомневаться в своих убеждениях. Что есть красота? Идеальное лицо, исполненное природой без малейшего промаха? Сейчас он уже не смог бы со всей определенностью ответить на этот вопрос. Людвиг вспоминал своих прекрасных

нимф. Почему-то в голову приходили в первую очередь те, которых, усадив перед художником, труднее всего было удержать в кресле. Леди Джейн, смутьянка Лола, стоившая ему короны... Где они? Что с ними? Наверное, постарели. Но несомненно одно: они где-то в пути и на ходу сочиняют очередной сюжет своей жизни. Какой? Ну уж во всяком случае, не скучный...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Иногда мне кажется, что красавицы смотрят со своих портретов не без тайной мысли: «Знаете ли вы, живущие ныне, как непросто заслужить интерес потомков? Сколько у нас было подруг: тысячи, миллионы! Где они? Кто о них помнит? А мы!.. Мы за эту память заплатили сполна. За заблужденья и слабости — слезами, за роковые страсти — погибелью».

Действительно, покой и счастье разделенной любви, триумфы красоты и молодости — долго ли они длились? Но все, что случилось с героинями этой книги, — случилось в действительности. Они — были. Их могильные камни тому порукой.

В жизни любой женщины есть свои сокровенные тайны, есть недосказанности. Что же говорить о героинях этой книги, чьи судьбы никак не отнесешь к обыкновенным? Далеко не все мы о них знаем.

В архивных серых папках еще лежат непрочитанные стихи в их честь. И любовная переписка, которую не хватило сил предать огню. И подписанные им смертные приговоры. Когда-нибудь кто-то снова возьмет в руки перо, чтобы изложить по-своему версию судеб красавиц, которые не умирают.

И женщины новых поколений будут удивляться им и вглядываться в старые портреты...